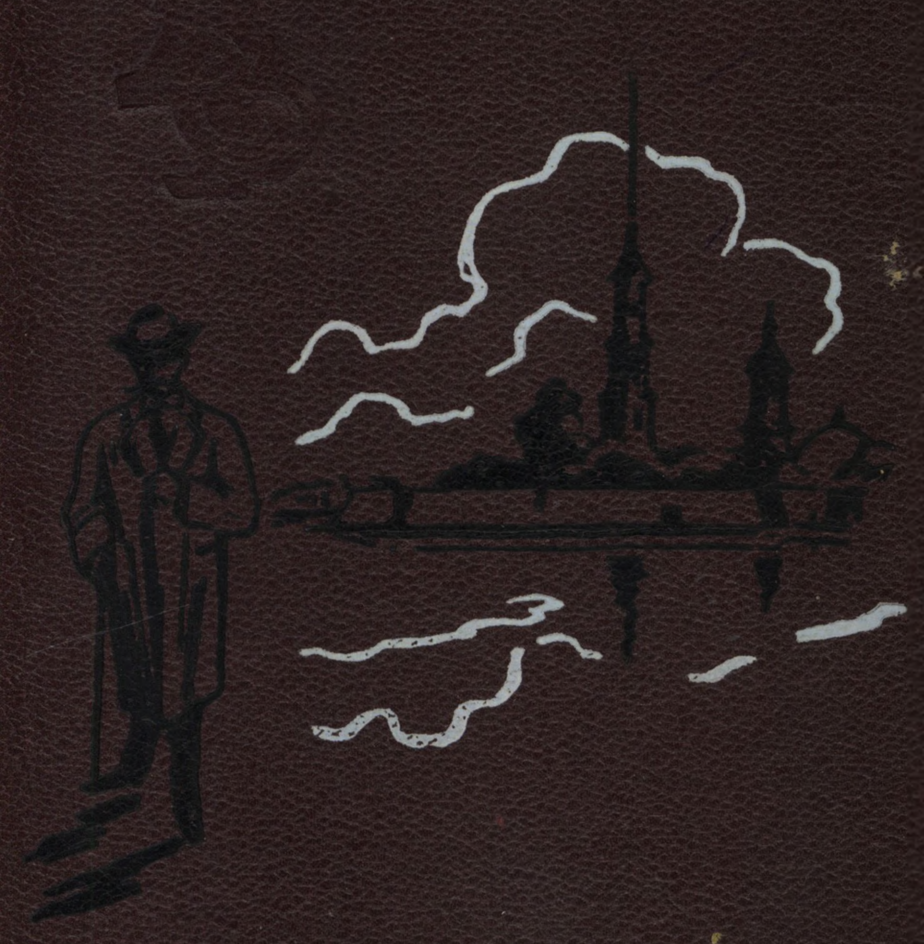


Н. КУЩЕВСКИЙ

НИКОЛАЙ НЕГОРЕВ

Новосибирское
КНИЖНОЕ
Издательство

БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО РОМАНА

ТОМ



И. КУЩЕВСКИЙ

НИКОЛАЙ НЕГОРЕВ,

или

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РОССИЯНИН

1959



И. А. КУЩЕВСКИЙ

И. А. Кущевский вошел в русскую литературу в начале 70-х годов прошлого века. События, происходящие в его романе «Николай Негорев, или Благополучный россиянин», опубликованном в 1871 году, развертываются в основном в период конца 50-х — начала 60-х годов. Многие из этих событий и фактов исторически достоверны: студенческие волнения 1861 года, организация прогрессивной интеллигенцией школ для народа, распространение первых революционных прокламаций, деятельность «ветвей» тайной революционной организации «Земля и воля» (1861—1863) в провинции, крестьянские восстания после опубликования реформы 19 февраля 1861 года и другие. Но постановка основных проблем, изображение ведущих героев романа и их деятельности — все это было чрезвычайно злободневно для начала 70-х годов, рисовалось автором именно с точки зрения общественной борьбы этого времени.

Конец 50-х — начало 60-х годов были переломным периодом, в течение которого произошли решающие социально-экономические сдвиги в России, подготовившие смену «одной формы общества другой»[1], то есть крепостничества — капитализмом. Первая революционная ситуация, сложившаяся в России в конце 50-х годов, ускорила проведение крестьянской реформы, что в свою очередь послужило толчком к оживлению всей экономической и политической жизни страны. Пролетаризация миллионов ограбленных, безземельных крестьян положила начало формированию русского рабочего класса.

В 60-е годы начинается новый этап освободительного движения в России — этап буржуазно-демократический, или разночинский. В литературе этого периода, как и в общественной жизни, идет процесс бурного политического размежевания: с одной стороны выступает большая группа писателей демократического направления во главе с идеологами революционной демократии Чернышевским и

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 439.

Добролюбовым, с другой — происходит объединение сил реакционного лагеря, куда переходят и либералы, которые вынуждены к этому времени сбросить маску «защитников народа». Политическая реакция, вновь поднявшая голову в середине 60-х годов, во многом способствовала «отрезвлению» либералов. Борьба с дворянским либерализмом, как идеологией антинародной, враждебной подлинной демократии, становится в центре многих произведений демократической литературы этих лет. Особенно резкие формы она принимает в сатирах Щедрина, произведениях Чернышевского, Помяловского, Слепцова и других.

Демократическая литература 60-х годов, которая вплотную подошла к изображению жизни простого народа, поставила перед собой задачу создания подлинно положительного героя, борца за новый социальный строй. Весьма актуальной становится в связи с этим проблема воспитания нового поколения. Как известно, наиболее яркое воплощение образы новых людей и их деятельность в 60-е годы получили в романах Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов», Чернышевского «Что делать?», Слепцова «Трудное время».

В 70-е годы особенности развития критического реализма русской литературы определены прежде всего социальной обстановкой, которая сложилась в этот период: бурная капитализация России, последовавшая за проведением крестьянской реформы, и формирование народнического учения.

Начало 70-х годов, когда на литературную арену выступил Кущевский, ознаменовано нарастанием революционной волны (крестьянские восстания, особенно в Поволжье, в связи со страшным голодом 1870 г., студенческие «беспорядки» 1869 г. и др.). объединением прогрессивных сил России, возникновением многочисленных политических обществ, деятельность которых была направлена на организацию «хождения в народ». «То были времена всеобщего хаотического брожения, предшествовавшего массовому социалистическому движению 1873—1874 годов, когда назревшие силы только еще искали бессознательного выхода»,— писал видный деятель революционного народничества Степняк-Кравчинский[1].

Неотложным, основным вопросом этих лет в еще большей степени, чем в предыдущие годы, стал вопрос о судьбе народа, многомиллионных масс русского крестьянства, оставшегося «и после отмены крепостного права в прежней, безысходной кабале»[2], о пу-

---

[1] С. М. Степняк-Кравчинский, Собр. соч., Спб. 1907, т. 2. стр. 243.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 65.

тях дальнейшего развития России. Решение этих вопросов в самодержавно-крепостнической стране, где пролетариат не представлял собой организованной политической силы, было необычайно сложным делом. Не случайно именно этот период характеризуется многообразием форм и методов борьбы передовой интеллигенции, множеством течений в самом народничестве. Отмечая ошибочность, идеалистический характер теории народников, Ленин высоко ценил их героическую революционную практику, попытку *«поднять крестьянство* на социалистическую революцию *против основ современного общества»*[1].

Социально-экономические сдвиги в России и общественное движение 70-х годов нашли свое яркое художественное отражение не только в поэзии Некрасова и гениальных сатирах Салтыкова-Щедрина, но и в творчестве обширного лагеря беллетристов демократического направления, выходцев, как правило, из среды трудовой интеллигенции или мелкого чиновничества. К этой группе можно отнести Кущевского, Омулевского (Федорова), Станюковича, Шеллера-Михайлова и других. В воспитании и формировании молодых литературных сил русской демократической литературы, группировавшихся главным образом вокруг журнала «Отечественные записки», огромную роль сыграли Некрасов и Щедрин. Дарование многих писателей этой группы нельзя считать выдающимся, но они обладали знанием жизни, горячей любовью к угнетенному народу.

Знакомство с их творчеством, как и с творчеством писателей-народников, помогает во всей широте представить себе характер сдвигов, происходивших в литературе того времени, особенности ее реализма.

Писатели-демократы 70-х годов продолжали на новом историческом этапе развитие основной линии реалистической литературы, вдохновлявшейся идеями революционной демократии 60—70-х годов. Центральными вопросами их творчества, как и творчества шестидесятников, были поиски путей социального преобразования действительности, проблема формирования нового человека, воспитания нового революционного поколения, критика буржуазного либерализма, обличение реакционных, охранительных сил.

Образы новых людей, нарисованные писателями-шестидесятниками, имеют много общего с образами, созданными писателями последующего десятилетия. Вместе с тем облик положительного героя в литературе 70-х годов приобрел новые очертания. Это представитель трудовой русской интеллигенции или даже непосредственно народных низов. Все мысли, действия и надежды этого героя свя-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 246—247.

заны с народом. Если большинство героев-шестидесятников только готовило себя к борьбе за дело народа, вырабатывало программу действий, то в литературе 70-х годов уже в действии познает герой радость борьбы и часто в жестоких столкновениях с реальной действительностью приходит к тяжелому сознанию своей неспособности одолеть враждебный лагерь хозяев жизни. Герой этот имеет свои суждения о социальном строе, пусть еще нечеткие, во многом наивные, но имеющие программный характер. Как правило, он активный участник политической борьбы.

Образы отважной молодежи, идущей в народ, стояли в центре произведений не только народнических писателей, но и писателей всего демократического лагеря русской литературы.

Однако в изображении положительного героя в демократической беллетристике 70-х годов есть существенные недостатки.

М. Е. Салтыков-Щедрин в статьях о произведениях Омулевского, Мордовцева, Шеллера-Михайлова и других, касаясь в основном приемов типизации и отмечая, что литература 70-х годов «приняла и сохранила» демократические традиции предшественников, что она ставит актуальные проблемы современности, вместе с тем пишет о трудностях изображения «практических проявлений» новых идей. Новые типы в силу общественных и политических условий не имеют возможности раскрыть себя во всей полноте. Черты их только еще формируются, и писать о них в условиях самодержавно-крепостнической России весьма сложно. Однако их «необходимо вызвать из мрака, в котором они ютятся, необходимо очистить от случайных наносов для того, чтобы разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают»[1]. Необходимым условием успеха Щедрин считал ясное представление о путях борьбы и страстную убежденность в победе. Такой убежденностью, по мнению Щедрина, обладал Чернышевский, создавая «Что делать?»

Герои многих демократических романов семидесятников несли на себе черты схематизма и некоторой стандартности, их деятельность рисовалась подчас недостаточно убедительно. Художественное изображение становления героя, показ его конкретной борьбы подменялись во многих романах общими фразами, длинными рассуждениями. Особенно резко критикуя романы Мордовцева, Щедрин напоминает автору о том, что читатель знает о новых людях из самой жизни, знает «об увлечениях не книжных только, а действительных, о безвременно-погубленных силах, о принесенных жертвах». И далее, как бы подсказывая писателям, создающим типы новых людей, программу действий, Щедрин писал: «Где же жертвы, где встреча

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин, Полн собр. соч. в 20 томах, Гослитиздат, т. 8, стр. 58.

молодого и страстного убеждения с самоуверенною и ни на что не дающею ответа действительностью? Или и в самом деле арена борьбы ограничивается стенами какого-нибудь домика на Петербургской стороне?»[1].

Однако широкое и всестороннее изображение классовой борьбы и ее правильное осмысление не могли дать в те годы не только Мордовцев (наиболее умеренный по своим демократическим воззрениям писатель), но и другие литераторы этого лагеря, прежде всего потому, что этого четкого осмысления не имели и их герои-народники. У них не было ясной политической программы построения нового общества, представления о путях изменения социального строя России, особенно в начале 70-х годов, когда был написан роман И. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин».

В социальном, «тенденциозном» романе семидесятников, который стал создаваться с начала 70-х годов и получил особенное развитие в период активной деятельности революционного народничества, по-иному ставится и проблема отцов и детей.

Если в предыдущее десятилетие положительный герой противостоял реакционно настроенным отцам, то герой революционного народничества 70-х годов продолжал деятельность своих отцов-шестидесятников, начавших до него борьбу за народное дело. И конфликт, столкновение между детьми и отцами, чаще всего возникал тогда, когда дети становились предателями великих идеалов отцов, отступниками. Отступники выходили не только из среды помещичье-дворянской, но и из среды разночинцев. Время решительных действий проверяло на практике прогрессивность убеждений, общественных деятелей, их веру в революционные силы народа, их способность отдать жизнь за его будущее. Убедительной иллюстрацией может служить жизненный путь А. С. Суворина, который, по выражению В. И. Ленина, «отразил и выразил очень интересный период в истории всего русского буржуазного общества». «Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути», т. е. в 50—60-е годы, «Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими»[2]. Путь Суворина В. И. Ленин считал типичным для многих представителей буржуазной интеллигенции второго и третьего демократического периода общественного движения в России. Поэтому обличение предателей, отступников, возвращающихся в обывательское болото,

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин, Полн. собр. соч. в 20 томах, Гослитиздат, т. 8, стр. 400.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 250 и 251.

предпочитающих мир собственников и стяжателей борьбе за новый общественный строй, является большой заслугой демократической беллетристики 70-х годов.

Беллетристы-демократы 70-х годов вслед за писателями революционной демократии продолжили их линию и в показе капитализации России, и в обличении дворянского либерализма.

И. А. Кущевский внес серьезный вклад в дело борьбы с либерализмом и отступничеством, нарисовав в романе «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» процесс «превращения человека в лакея» (Горький).

Иван Афанасьевич Кущевский прожил короткую жизнь (1847—1876). Писательский путь его исчисляется всего пятью годами. И жизнь, и смерть Кущевского, и характер его мировоззрения типичны для разночинной интеллигенции 60—70-х годов. В его судьбе много общего с судьбой Помяловского, Слепцова, Левитова, Каронина, Осиповича-Новодворского и многих других. «Писателем-пролетарием» называла его критика того времени (статья Горленко «Писатель-пролетарий», «Московское обозрение», 1877 г., № 41, 42). В своей автобиографии, которую Кущевский написал в больнице незадолго до смерти, он сам также называет себя «писателем-разночинцем», «литературным пролетарием». «Писатель-пролетарий, работающий ради куска хлеба,— пишет Кущевский,— продукт переходного времени... моей автобиографией я хочу сказать, что это был за человек. Не я один был таким». В своем творчестве Кущевский развивает лучшие традиции демократической литературы 60—70-х годов, ставит ее основные проблемы с бо̀льшим талантом и остротой, чем многие его современники.

Родился Кущевский в Сибири (последние биографические источники называют город Барнаул), в семье мелкого чиновника. Приехав в Петербург после окончания Томской гимназии, семнадцатилетним юношей, мечтающим об учебе в университете, о деятельности на благо родины, Кущевский сразу же столкнулся с ужасающей, бесправной жизнью трудовых низов столицы царской России. Одна за другой исчезают иллюзии юного провинциала по поводу райской жизни на берегах «медовой реки Невы», и обнажается уродливое лицо подлинной социальной действительности. Этот трудный процесс вступления в жизнь, процесс познания ее непримиримых социальных противоречий, гибели светлых надежд хорошо изображен впоследствии Кущевским в ряде его рассказов, особенно в рассказе «В Петербург (на медовую реку Неву)!», носящем автобиографический характер: «Я работал на патронном заводе, был котлов-

щиком на чугунолитейном заводе, служил матросом на пароходе, торговал апельсинами, работал на бирже... Все это, конечно, было не кряду, а с промежутками: иногда приходилось оставаться по целой неделе без работы... В университет поступить было нельзя»[1].

Много раз Кущевский был на краю голодной смерти, многие сотни таких же, как он, бедняков трагически погибали на его глазах. Поэтому такой любовью и сочувствием к народу пронизаны рассказы и очерки Кущевского, так правдиво и ярко рисуют они каторжную жизнь городской бедноты. Печальная вереница образов проходит перед читателем этих рассказов, написанных и до появления романа и после него. Все это — беднота различных профессий и сословий, тщетно ищущая работу и место в жизни, стремящаяся подняться со «дна» («Тяжелая жертва», «Бедная Лиза», «Наши дети», «На покосе», «Зимний вечер в больнице» и др.). Этих людей автор многократно встречал в действительности. Они родные ему по духу, по социальному положению, по чувствам и мыслям.

О начале литературной деятельности Кущевского мы также узнаем из рассказа «В Петербург!»: «Работал я как-то на Калашниковской пристани; была ранняя навигация; холод, вода не выше одного градуса тепла; уж я приноровился таскать кули и работал не хуже других... Так вот-с, как-то, идя по трапу, уже подле борта, я как-то оплошал и свалился вместе с кулем в воду — точно в кипяток... Ночью со мной сделался тиф, и я попал в больницу». В больнице Кущевский встретил журналиста, который посоветовал ему писать и одобрил его очерк, напечатанный впоследствии в журнале «Искра».

Начав литературную деятельность с очерков, которые он помещает в различных газетах и листках, Кущевский мечтает о большом произведении, где можно было бы обобщить виденное, «отвести душу», нарисовать читателям не отдельные образы, увиденные в жизни, а целую систему их, раскрыть характер общественной борьбы начала 70-х годов. Эти мечты долгое время остаются неосуществимыми: все время и все силы забирала тяжелая, отупляющая работа ради куска хлеба. Вновь помогло несчастье. Попав опять в больницу, Кущевский с июля по ноябрь 1870 года закончил роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». О том, в каких условиях был написан роман, свидетельствует письмо автора в литературный фонд: «...увлекшись романом «Негоревым» и бросив вся-

---

[1] И. Кущевский, Маленькие рассказы, очерки, картинки и легкие наброски, Спб., 1875, стр. 31.

кую другую работу, я остался без куска хлеба, и на свое счастье я пошел в больницу (Загородную). Здесь я продаю больничные порции, чтоб покупать свечи, часто сижу голодным и работаю. Но дело подвигается вперед слишком медленно,— вечера темные, денег не хватает на свечи»[1].

Торопливость и чрезмерное обилие материала сказались в какой-то степени на художественной форме романа, определив некоторую схематичность в передаче событий, в раскрытии отдельных образов. Но страстная увлеченность работой дала и свои положительные результаты: роман действительно написан как бы одним дыханием. И главное — роман злободневен в самом хорошем смысле этого слова. В нем верно и смело передана общественная борьба 60-х годов, расстановка прогрессивных сил, нарисованы образы врагов, главным образом тех, которые стремились разложить демократический лагерь изнутри. В передовых общественных и литературных кругах России роман Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» вызвал всеобщее одобрение. «Его роман был для своего времени выдающимся явлением»,— пишет биограф Кущевского Горнфельд[2].

«Ему удалось написать произведение, о котором нельзя будет умолчать историку новейшей литературы»,— отметил критик «Пчелы».

Видный деятель революционного народничества П. Ткачев (писал под псевдонимом Н. Никитин), в прекрасном, глубоком анализе отмечал, что «в романе «Николай Негорев» вы встречаетесь с несомненными проблесками весьма недюжинного беллетристического таланта»[3].

Отношение Некрасова и Щедрина к роману проявилось уже в том, что они открыли им первый номер «Отечественных записок» за 1871 год, поместив его вместе с поэмой Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», «Помпадурами и помпадуршами» Щедрина и другими крупнейшими произведениями видных писателей. Впоследствии в письме к Кущевскому Некрасов сообщил: «М. Е. (Щедрин.— *М. Г.*) одобрил и принял ваш первый роман». Кроме того, из позднейших автобиографических рассказов Кущевского мы узнаем о дружеском, внимательном отношении к нему Некрасова в то время, когда автор «Николая Негорева» находился в тяжелом положении: «Он сам, он — тот гений, сочинения которого я знаю наизусть, которого я боготворю... сам он, собственноручно пишет ко мне, жалкому, убо-

---

[1] «Пчела», 1877, № 15.

[2] А. Горнфельд, «Забытый писатель», «Русское богатство», 1895, № 12.

[3] «Дело», 1875, № 3.

гому, ничтожному! Меня просто трясла лихорадка»[1]. Некрасов, по-видимому, даже приезжал в больницу к Кущевскому.

Позднее, в 1881 году, автор одной из библиографических заметок «Отечественных записок», возвращаясь к оценке романа и утверждая, что «забыть его трудно», основное достоинство романа видит в том, что «он выставлял к позорному столбу тип «благополучных» карьеристов, дельцов и всякого рода акул, который в то время являлся в некотором ореоле»[2].

«Николай Негорев, или Благополучный россиянин» по своему жанру — роман-хроника. Он продолжает традиции семейных хроник демократической литературы 60-х годов. Его тема, как и тема хроник Помяловского, Левитова, Воронова, Слепцова, Г. Успенского, а впоследствии и семейной хроники Щедрина,— воспитание нового поколения и поиски путей борьбы за справедливый общественный строй.

В центре романа «Николай Негорев» стоит молодое поколение разорившейся мелкопоместной семьи Негоревых. Кущевский рисует формирование характеров двух братьев Негоревых, Николая и Андрея, их сестры Лизы, а также и других детей, воспитывавшихся в гимназии и в семинарии.

«Детство и воспитание должно определять характер героя»,— писал Помяловский, работая над романом «Брат и сестра». Именно эту мысль проводит в своем романе и Кущевский.

Народу были нужны общественные деятели, способные бороться за его интересы, люди, воодушевленные высокими идеалами. А школы и университеты, как показывает Кущевский, находились в руках реакционеров или невежественных либеральных болтунов, которые калечили души детей и молодежи, всеми способами стремились отвлечь от общественной борьбы.

Провинциальная гимназия 50-х годов, призванная воспитывать детей «благородных» дворян, в сущности готовила рабов — человеконенавистников, людей без знаний, без запросов: «Терпя преследование старших и надзирателей, мы... подвергались всем ужасам капризов пьяных учителей и в этом случае являли собой подобие волов, с которых сдирали по нескольку шкур. Собственно, учителей у нас не было, а были унтер-офицеры, наблюдавшие за порядком обучения, которым льстили слишком много, называя их учителями»,— говорит герой романа.

---

[1] И. Кущевский, Маленькие рассказы, очерки, картинки, легкие наброски. Спб., 1875, стр. 34.

[2] «Отечественные записки», 1881, № 14.

Изображая воспитание братьев Негоревых в гимназии и кадетском корпусе, Кущевский во многом идет вслед за «Очерками бурсы» Помяловского. Те же невежественные пьяные учителя, та же жестокость гимназического начальства, те же бурсацкие нравы во взаимоотношениях воспитанников между собой. Гимназисты Сколков, Сенечка и некоторые другие почти ничем не отличаются от героев Помяловского. Жизнь и учеба семинаристов-бурсаков, нарисованных в романе (крестьянский сын Новицкий и его товарищи), проходят в еще более дикой обстановке, чем у дворянских детей — гимназистов. Картины гимназической и бурсацкой жизни в романе вполне достоверны. Автор не только наблюдал эти нравы, но и сам был их жертвой в период учения в Томской гимназии, которую он окончил в 1864 году.

Бессодержательность и абстрактность университетской науки тех лет, особенно гуманитарной, остроумно осмеивается Кущевским в главе «Святилище науки». Со злой, сатирической иронией характеризуются различные типы «профессоров» университета: поп, читающий историю религии, юрист — щеголеватый и развязный болтун, превративший свои лекции в ряд глупых анекдотов, историк литературы — выживший из ума старик, профессор политэкономии, чье имя, «как автора безобразнейшего руководства, сделалось уже давно оскорбительным ругательством в литературе». Все это не только невежды, но и люди глубоко реакционные.

И все же вопреки официальной школьной и университетской науке Оверин, Андрей и их товарищи приобретали необходимые знания, готовили себя к борьбе и практической деятельности среди народа.

Главным достоинством романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» является раскрытие духовного роста и формирования, с одной стороны, демократической молодежи, идущей в народ, и с другой — продажных либералов, «благополучных» и благонамеренных россиян, врагов всего нового, прогрессивного.

В художественных приемах Кущевского. есть общее с трилогией Л. Толстого «Детство, отрочество, юность». Несмотря на различную художественную глубину раскрытия духовного облика героя в романе-хронике Кущевского и в трилогии Л. Толстого, и тот и другой автор вскрывает процесс развития определенных черт характера ребенка. Как в маленьком Николеньке Иртеньеве Л. Толстой уже намечает некоторые черты будущего обличителя своего класса, человека, глубоко сочувствующего простому народу, так и в детях, нарисованных Кущевским, видны качества, которые затем, развиваясь в соответствующих благоприятных условиях, станут определяющими.

Маленький Николай Негорев, болезненный, предоставленный самому себе, с детства мечтает устроить свою судьбу лучше других, всем завидует и никого не любит. Он хитер и расчетлив: лицемерно угождает тётке и отцу, старается жить в мире с братом, хотя ненавидит его. К деревенским мальчишкам он, барич, «чувствует страх и отвращение». И это умение прятать свои чувства, угождать и всегда помнить о своих интересах, презрение ко всем стоящим ниже его на общественной лестнице остаются у Николая Негорева на всю жизнь.

Гимназия и университет способствовали развитию этих черт и возникновению новых, которые в целом и определили характер Николая. Из него вырастает благонамеренный крупный чиновник, человек с холодным сердцем, враг всякого свободомыслия, защитник основ самодержавия.

Искусство Кущевского, его яркий сильный талант особенно проявляются в приемах изображения этого реакционного обывателя, врага революции. Николай на большей части романа дается отнюдь не как законченный отрицательный тип. В нем есть и привлекательные черты: он умен, исходя из общепринятых представлений об этике, помогает товарищам, держит слово. Он умеет понравиться. Не случайно в него влюбляется подлинно новый человек — идейный, чистый и самоотверженный — Софья Лохова. Николай сидел даже в тюрьме по подозрению в связях с революционно настроенной молодежью и вел себя на допросах «порядочно». Но все это не является определяющим в его характере и, чем дальше, тем явственнее отходит на задний план. Кущевский все время подчеркивает незаинтересованность героя во всем, кроме своей судьбы, его мертвенное равнодушие к людям и событиям, его скептицизм. Даже легкомысленная институтка Аннинька, влюбленная в Николая, в ответ на его заверения в любви говорит: «Нет, ты не можешь никого любить. У тебя нет души». Ее слова подтверждаются впоследствии и поведением Николая с Софьей Лоховой в период его жениховства: «Я хорошо обдумал, как нужно вести себя... Мы поцеловались, если можно так сказать, рассудительным поцелуем... Во время чая я серьезно заговорил о том, что она должна отказаться от недозволенных начальством затей, так как семейное счастье немыслимо, если одному из супругов будет угрожать опасность...» Как видим, даже рисуя казалось бы благородное поведение Николая — его решение жениться на бедной девушке, дочери арестованного мошенника-купца, автор в сущности представляет этот поступок отнюдь не в благородном свете. И поэтому никак нельзя согласиться с биографом Кущевского А. Горнфельдом, который сетует на Кущевского за то, что тот «не дал в Негореве цельного образа. Избегая

обличительного шаблона, он усложнил его... Он впал в шарж»[1]. Критик явно не понял идейной глубины этого образа и его больших художественных достоинств.

Кущевский неуклонно ведет героя к логическому завершению своей судьбы — к ренегатству, предательству идей демократии.

По мере своего возмужания Николай все больше укрепляется в мысли о неизбежности разрыва с друзьями, мечтающими о революции. Сначала он вышучивает страстные мечты своих приятелей и упрекает их в бездеятельности, затем прямо отказывается участвовать в революционном движении по мотивам вполне практическим. «Я уже осознал, что гораздо выгоднее быть благонамеренным гражданином», — признается он.

Аресты его товарищей, разгром революционной молодежной группы способствовали тому, что процесс падения, предательства пошел более открыто и быстро: «Я давно уже перестал увлекаться мечтами и неосуществимыми планами и рассудительно обдумал, по какой жизненной дороге следует идти к благополучию. Благонамеренным ученым и всеми презираемым профессором я быть не хотел, так же как далек был от желания сделаться добросовестным тружеником и попасть под надзор полиции». И Негорев, «заморозив все цветы в своем сердце», окончательно обнаруживает свое подлинное лицо. Приехав в Петербург, он при помощи шантажа проникает в семью одного влиятельного лица и женится на его дочери без любви, только ради карьеры. Вслед за этим Николай рвет старые дружеские связи. Так закончился процесс формирования благонамеренного и «благополучного россиянина». И показ этого процесса — большая историческая заслуга Кущевского. «Хорошие повести Помяловского о том, как революционер превращается в благополучного мещанина, недооценены, так же, как недооценены роман Кущевского о «благополучном россиянине» и повесть Слепцова о «трудном времени», а эти авторы проницательно изобразили процесс превращения героя в лакея»,— писал М. Горький[2].

Горький не случайно сближает романы Помяловского и Слепцова с романом Кущевского, хотя они принадлежат к разным историческим периодам. Кущевский продолжал разрабатывать те же проблемы и образы, показывая их дальнейшее развитие. Лакейство и предательство Николая Негорева, как мы видим, носят в конце 60-х годов иной характер, чем лакейство Молотова (правда, Горький несколько односторонне трактует образ Молотова, преувеличивая

---

[1] А. Горнфельд, «Забытый писатель», «Русское богатство», 1895, № 12.

[2] М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, М., 1953, т. 25, стр. 249.

его революционность). Николай Негорев сознательно и цинично идет на это лакейство, не брезгуя даже преступлениями ради достижения собственного благополучия. Близок к нему дворянский либерал Щетинин у Слепцова. И Николай Негорев, разночинец, пошел дальше Щетинина в своем предательстве. Так резко разграничились политические лагери, обнаружилась подлинная политическая сущность людей в период решительных действий начала 70-х годов.

Герои романов Помяловского и Слепцова и особенно образ Николая Негорева Кущевского интересовали Горького как весьма характерное социальное явление. Николай Негорев — враг революции, и процесс его идейного и морального формирования типичен для определенных классовых групп. Впоследствии Горький показал этот процесс на более широком общественном и временном фоне, нарисовав Клима Самгина — предателя и контрреволюционера. Изображая идейное становление Самгина, Горький несомненно шел и от образа Николая Негорева Кущевского, доводил до логического конца его свойства и поступки уже в новой исторической обстановке. Если Негорев предал идеи демократии, купив себе этим предательством карьеру и благополучие, то Самгин идет дальше в наступление на новый становящийся мир, связывая себя с международной империалистической реакцией.

По-иному показывает Кущевский в романе процесс идейного формирования демократической молодежи.

Противоположностью Николаю является с самого детства его старший брат — Андрей. Это человек непосредственный, честный, искренний, неудержимо страстный в проявлении своих чувств. У него нет середины ни в чем: или он любит, или ненавидит. С детства он с простым народом, без колебаний встает на защиту обиженных, делится последним куском хлеба с голодным. Приемы типизации, которыми Кущевский создает портреты Николая и Андрея, совершенно различны. Николай, от имени которого ведется повествование, все время размышляет, резонирует по тому или иному поводу и на самого себя смотрит как бы со стороны. Он сам осознает полное несходство характеров брата и своего: «Вообще Андрей никогда не сдерживал своих порывов, и между тем, как меня всегда останавливала мысль — понравится ли другому бурное излияние моих чувств, брат, если ему это хотелось, кидался на него, не справляясь о последствиях».

Процесс духовного роста Андрея, формирование его характера даны в романе несколько более статично, чем формирование характера Николая. Андрей, в сущности, мало изменяется. Как в детстве он со страстью бросался навстречу опасностям, презирая всякую расчетливость, так и юношей он остро реагирует на всякую неспра-

ведливость и в малом и в большом: будь то оскорбление Шрамом Софьи Васильевны или судьба бесправного, ограбленного самодержавием русского народа. В целом, образ Андрея Негорева несомненная удача Кущевского. В русской демократической литературе того времени мало таких обаятельных, живых образов революционной молодежи, как Андрей Негорев. Этот человек — олицетворение молодости, дерзания. Не случайно он объединяет вокруг себя все прогрессивное. И хотя благонамеренный рассказчик — Николай Негорев — скупо, с презрительной насмешкой говорит о революционной деятельности Андрея, считая все это детской игрой, озорством, читатель все же чувствует глубокую убежденность Андрея, серьезность его намерений и действий, Андрей создал в своем городе «ветвь» революционной петербургской организации, он пишет и печатает брошюры и листовки. Уехав от преследований полиции за границу, он и там продолжает революционную работу. «Я пошел и пойду до конца... Это вопрос решенный»,— твердо говорит он Николаю, когда тот пытается разубедить его.

Но как сами герои, так и автор романа смутно представляли себе программу революционной деятельности. Если многих писателей-демократов, современников Кущевского, упрекали в том, что их герои только проповедуют идеи, но мало делают, то героев романа Кущевского можно, пожалуй, упрекнуть в том, что они слишком мало говорят о своих идеях. Глубоко сочувствуя борьбе революционной молодежи, Кущевский не видит реальной силы, способной поддержать ее. Поэтому революционная деятельность Андрея Негорева и Оверина не показана широко. Андрей и его друзья ведут свою работу неумело, во многом наивно, чувствуется, что не только благонамеренный рассказчик, но и сам автор видит комические стороны их поступков, не всегда верит в успех дела. Народ в романе как действующая сила отсутствует.

В большей степени, чем в образе Андрея, Кущевский раскрыл самый процесс формирования качеств человека нового общества в Сергее Оверине. Образ этот также несомненно один из самых удачных не только в романе, но и в демократической литературе XIX века. По замыслу — это рыцарь революции. В юноше Оверине есть многое от Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?»: фанатическая убежденность, полное самоотречение от личной жизни, подчинение всего себя идее борьбы за светлое будущее народа, сознательная подготовка к борьбе и лишениям.

Еще в гимназии он мечтает о подвигах во имя справедливости, зовет Николая Негорева уйти в лес от окружающей отвратительной действительности, приучает себя к голоду. Мечта об иной, прекрасной жизни вдохновляет Оверина и в юности. Но в этот период уже

определилось его мировоззрение, и на смену детскому стремлению спасти душу приходит твердое решение бороться за «законные права» угнетенного народа. Оверин талантлив, он готовит научное открытие в области математики, но как только представляется возможность действовать, помочь народу в борьбе, он бросает все. Из деревни в деревню, босой и голодный, с котомкой за плечами, шел Оверин, неся в народ страстное слово. Вскоре его имя прогремело по всей губернии как вожака и организатора многих крестьянских восстаний.

Повествователь — Николай Негорев — рисует Оверина как чудака и фанатика, человека не от мира сего. Даже и Андрей находит, что Оверин «имеет большое сходство с Дон-Кихотом». И это действительно так. У Оверина не было четкой программы действий, продуманного плана, которые были у Рахметова Чернышевского. Его протест, как и других молодых людей, начинавших период хождения в народ, был во многом стихиен. И тем не менее крестьяне чувствовали правду Оверина, и хотя «мало понимали, но горячность оверинского убеждения заставляла верить ему».

О том, что образ Рахметова и его создателя Чернышевского стоял перед Кущевским во время написания романа, свидетельствуют не только многие черты характера Оверина, но и его трагическая судьба. Сцена гражданской казни Оверина, букет цветов, брошенный ему из толпы,— исторически точно воспроизводят сцену гражданской казни Чернышевского. Сам факт воспроизведения этой сцены в то время, когда вождь революционной демократии был в ссылке и имя его находилось под запретом, свидетельствует об идейной близости Кущевского к лагерю революционной демократии.

И не случайно, спустя много лет после опубликования, роман Кущевского продолжал волновать сердца передовых людей России. Биограф Кущевского А. Горнфельд, трактовавший этот роман в духе типично либерального литературоведения, тем не менее писал: «Нам случалось видеть пожилых уже людей, которые оживлялись и молодели, вспоминая имя Оверина,— удивительно своеобразного героя в этом романе, точно это имя приносило им волну каких-то дорогих и невозвратных воспоминаний».

Очень привлекательны и исторически правдивы женские образы романа Кущевского: революционерка Софья Лохова, Лиза Негорева. В тот период, когда создавался роман Кущевского, в русской демократической литературе уже был известен ряд образов женщин, вступивших на революционный путь. Прежде всего, конечно, следует упомянуть Веру Павловну из романа Чернышевского «Что делать?» как классический образ революционерки начала 60-х годов.

Образы женщин-демократок рисовали в 60—80-е годы и другие

писатели демократического направления. И все же образы женщин в романе Кущевского художественно сильнее, реалистичнее, чем в романах многих демократических писателей. Это — живые люди, с сложным внутренним содержанием, а не схематичные проповедники идеи.

Софья Лохова не ищет практической деятельности ради того только, чтобы добиться эмансипации. Жизнь поставила ее в такие условия, что без труда она просто не может существовать. С утра до ночи все время Софьи заполнено учебой и работой ради куска хлеба. Основной чертой ее характера, как и у Оверина, является стремление всеми силами готовить себя для борьбы за дело народа. Как и Оверин, она ведет аскетический образ жизни. «Я боюсь привыкнуть ко всему, что не могу себе доставить ежедневно»,— говорит Софья, почти дословно повторяя слова Рахметова в романе Чернышевского. Вообще Оверин и Лохова — образы, нарисованные в одном плане. Разница только в том, что Софья смотрит на действительность более трезвыми глазами. Лучшее в Софье напоминает Веру Павловну Чернышевского: непоколебимая убежденность, трезвая практичность, подлинный демократизм, сильная воля, умение руководить своими чувствами.

Софья первая угадывает подлую сущность Николая и, умирая, говорит Лизе о его «безнравственных мыслях». Как и Оверин, Софья стала одним из организаторов революционного кружка. И только смерть спасла ее от судьбы, подобной судьбе Оверина, путь ее шел в том же направлении.

Обаятелен и предельно естествен образ Лизы Негоревой — подруги Софьи. Как и многие передовые девушки того времени, Лиза стремилась учиться, участвовала в общественной деятельности. Смелая, искренняя, Лиза сразу полюбила Оверина и пошла бы за ним в ссылку, если бы не предусмотрительность «разумного» брата Николая и «святая отвлеченность» Оверина от всего личного. Лиза — человек сильной воли. Оверин угадал ее характер, говоря, что Лиза из тех, кто за свое убеждение умеет «умирать без слез». Но судьба Лизы в конечном счете сложилась так же, как судьба многих девушек, сочувствовавших в то время демократическому движению: убедившись в тщетности своих усилий, она выходит замуж за скромного, честного Малинина и замыкается в кругу семьи, хотя и не становится мещанкой, не предает своих идеалов. Благородство ее характера подчеркивает уж тот факт, что Лиза так и не смогла простить Николаю его ренегатства. Такой же принципиальности требует она и от мужа, заставляя его выйти в отставку, но не уступить губернатору.

К достоинствам романа «Николай Негорев» надо отнести рез-

кую критику дворянского либерализма. Эта критика идет в том же русле, что разоблачение либерализма в эти и последующие годы писателями революционной демократии,— Некрасовым, Щедриным, Г. Успенским и другими.

Наиболее ярко, как мы видели, раскрытие реакционной сущности либерализма, его неизбежной эволюции к явно охранительным позициям дано в образе самого Николая Негорева. С большим разнообразием художественных средств раскрыта либеральная «маскировка» и у других героев романа: молодого барона Шрама, его родственницы Ольги Ротаревой, студента Стульцева. Здесь автор прибегает к прямому сатирическому обличению.

Вообще весь роман пронизан юмором — и это очень симпатичная черта таланта Кущевского, особенность его художественного мастерства и, видимо, характера. По свидетельству рабочих, среди которых жил Кущевский, «он всегда был добродушен, весел и большой руки проказник», «смеяться он горазд» был [1]. До конца своих дней Кушевский не падал духом, даже в самые тяжелые моменты.

Хотя в романе события ведутся от лица персонажа отрицательного, читатель чувствует, что подлинный юмор и сатира в романе — авторские. Необычайно весело и любовно рисует Кущевский смешные стороны Оверина, его рассеянность и комические положения, в которые он из-за этого попадает, его увлечение наукой и связанные с этим практические «мероприятия» в быту, его комически небрежный костюм, объяснение в любви с Лизой, сцены с пьяным сапожником, даже его поведение на суде, когда он за вычислениями не слышал приговора о своей ссылке, и прочие трогательные, наивные черты этого человека. Юмор помогает здесь Кущевскому нарисовать оригинальный, неповторимый тип увлеченного человека, которого современная автору демократическая критика называла «человеком идеала». В такие же светлые и теплые тона окрашен юмор Кущевского, когда он рисует черты характера и поступки Андрея, Лизы, юноши Малинина. Нельзя без смеха читать о проказах Андрея в детстве и в юности, о его страстном и неожиданном комическом реагировании на многие события. Кроме того, через восприятие Андрея автор также осмеивает ряд событий и персонажей.

Совершенно иные средства применяет Кущевский в зарисовке отрицательных типов дворянских либералов.

Презрение автора к определенным персонажам сказывается уже, начиная с зарисовки портрета, который дается совсем в ином плане, чем портреты положительных героев. Впервые встретившись с лгуном и подлецом Стульцевым, герой романа видит перед собой

---

[1] «Пчела», 1887, № 15.

«дряблое, бесхарактерное лицо, украшенное жиденькой бородкой, в которой он царапался своими длинными, модными ногтями».

Еще менее привлекательно выглядит либералка Ольга Ротарева, живущая у Шрамов: «Сухая и неуклюжая, как щепка, с пестрым лицом и рыжими волосами, она еще, к довершению всего, согласно тогдашней моде, не носила юбок и стригла волосы в кружок, что делало ее очень похожей на фигуру одного из тех турок, на которых прежде, во время масленицы и пасхи, пробовали силу, ударяя кулаком по голове». И даже красивый, холеный молодой барон Шрам в таком презрительно-насмешливом тоне показан автором, что вся его фигура отталкивает читателя. В нем все искусственно: и напыщенный тон, и усмешка свысока, и «широкий пиджак дикого серого цвета, модные широкие брюки и длинные волосы: ко всему этому он иногда прибавлял синие очки и мягкую пуховую шляпу, прозванную в гимназии *анафемской* — до того она была либеральна».

В резко сатирических, презрительных тонах рисует Кущевский и поведение либералов. Стульцев — это просто животное, нечистоплотное, подлое и трусливое, что особенно откровенно, даже натуралистически показано автором в сцене «несчастия», которое случилось со Стульцевым после того, как Андрей пригрозил ему револьвером за беспрерывную ложь. Кончает он вполне логично: предает группу революционно настроенной молодежи, оклеветав людей даже непричастных.

Несмотря, казалось бы, на разницу в общественном положении Стульцева и молодого барона Шрама, они рисуются Кущевским почти в одном плане: Стульцев — лгун, человек, способный на любую подлость; Шрам корчит из себя аристократа духа, но он, как и Стульцев, способен оскорбить и оклеветать женщину, он трус, ничтожество. В испуге он так же гадок, как и Стульцев: вопит от ничтожной раны, не стесняясь окружающих. Игра в революцию завела его довольно далеко, он стал членом революционного общества, за что был приговорен к каторге. Все это вышло крайне неожиданно для Шрама, так как он предполагал лишь ограничиться «вырезыванием символических печатей и устройством какого-то масонского обряда». Простые люди, сидящие в тюрьме вместе с Овериным и Шрамом, разгадали сущность того и другого: «Господин Оверин не имеют при себе денег, но мы уж все равно приняли его: видно благородного человека! Это не господин барон Шрам, что переехал сюда с бархатными кушетками да козетками... А Оверин — это, что дитя думчивое: об себе не заботится...»

Ольга Ротарева, в противоположность настоящим «новым женщинам» Софье и Лизе, таким естественным и простым, искусственна и лжива. Как и другие либералы, она «играет» в швейные мастер-

ские, в школы для бедных, в науку, а также отчасти и в революцию. По выражению Андрея, «у ней была всегдашняя зубная боль», «постоянное беспокойство о том, что бы из себя такое сделать»: «Взявшись за одно дело, она тотчас же находила, что гораздо полезнее заниматься другой работой, и бросала первую. Она училась попеременно: живописи, музыке, химии, математике, посвятив каждой науке именно столько времени, сколько нужно для охлаждения первого пыла. Ее комната представляла из себя какую-то лабораторию сумасшедшего».

В тоне резкой сатирической иронии описываются Кущевским и сборища либералов, их хаотическая болтовня: «Прислушиваясь к стрекотанию неопытных молодых людей, к хлесткому бряканью солидных мужчин и к веским золотым речам авторитетов, я мог схватить только отдельные русские и французские фразы, и в голове моей ходил какой-то хаос».

Интересен прием использования Кущевским в качестве ведущего повествователя человека идейно враждебного. В этот период Щедрин пишет «Дневник провинциала в Петербурге», где прибегает к такому же приему. Прием очень трудный, но он дает возможность глубже и убедительнее раскрыть душу рассказчика-врага, показать эволюцию его мировоззрения. Устами рассказчика автор характеризует людей и события, чуждые ему, подчеркивая их подлинную идейную сущность оценками представителя враждебного лагеря.

Оригинально построение романа: короткие главы с сатирическими и юмористическими заголовками, вскрывающими их социальный смысл и вместе с тем интригующими: «Я приобретаю либеральные убеждения», «Святилище наук», «Ольга ждет сильного человека», «Я знакомлюсь с Овериным, который хочет удалиться в пустыню» и т. п. Глава, как правило, обрывается автором в самый напряженный момент действия.

Язык романа «Николай Негорев» необычайно образный, пронизанный тонким юмором. Он лишен какого-либо подобия риторики, общих фраз, которые были свойственны многим произведениям демократической группы писателей тех лет. Несколькими точными эпитетами Кущевский умеет передать картину, полную глубокого общественного смысла, дать человека во весь рост. «...в класс, среди всеобщей тишины, вошла целая процессия. Впереди шел губернатор, сухощавый мужчина, с седой, плешивой головой, заткнутой, точно пробка в бутылку, в высочайший красный воротник; густые золотые эполеты обвисли слишком низко на его узких костлявых плечах».

Современная Кущевскому критика, даже и демократическая, отмечая недюжинный талант автора «Николая Негорева, или Благопо-

лучного россиянина», недооценивала его художественного мастерства. Так, автор большой статьи «Беллетристы-фотографы», напечатанной в «Отечественных записках» (без подписи) в № 11—12 за 1873 год, писал, что роман Кущевского «отличается всеми достоинствами хорошей фотографии и всеми ее недостатками», и далее пояснял: «От фотографов не должно требовать того, что может дать художник».

Подобное суждение о романе Кущевского явно несправедливо И не случайно другой рецензент «Отечественных записок» в 1881 году, говоря о достоинствах романа, писал: «В литературном отношении роман Кущевского отличался такой типичностью характеров и таким богатством неподдельного юмора — качества столь у нас редкого,— что решительно выходит вон из ряду».

И. А. Кущевский вошел в историю русской литературы как автор одной книги. Но ряд его последующих рассказов и очерков (а также и написанный ранее роман). представляет собой несомненную художественную ценность и забыт незаслуженно. Они вышли двумя книгами «Маленькие рассказы, очерки, картинки и мелкие наброски» (1875 г.) и «Неизданные рассказы» (1881 г.) и больше не переиздавались. Их тема — изображение жизни городской бедноты, обличение либерализма и мещанства. Большинство их печаталось в различных петербургских газетах.

Во многих рассказах Кущевский продолжает линию сатирического обличения либерализма. Особенно интересны рассказы: «Земский деятель», «Сеятель пустыни», которые не нравились либералам 80—90-х годов именно за сатирическую резкость тона. Многое в них навеяно сатирами Щедрина: название земских деятелей «сеятелями», употребление клички, которую дал земцам Щедрин. Щедрин не раскрыл сущность их дел, направленных на «чищение плевательниц» в больницах, и споров, «не стоящих выеденного яйца». «Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей?» — спрашивает Щедрин еще в цикле сатирических очерков «Признаки времени» — и отвечает: «Вопрос о снабжении друг друга фондами Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый вопль, первое движение». Именно эту картину антинародной деятельности земских «сеятелей» и нарисовал Кущевский в рассказах.

Герой рассказа «Земский деятель» — чиновник-либерал показывает своему приятелю плоды деятельности земства, решив похвалиться достижениями. И везде, куда бы его ни водил: в больницу для бедных, в деревенскую школу, на осмотр новой дороги,— всюду, к глубокому удивлению наивного чиновника, обнаруживается обман, воровство, комедия вместо дела. «Сеятели» оказались просто мо-

шенниками, и крестьяне это знают, поэтому не идут лечиться в их больницу, не пускают детей в их школу, не ездят по их разрушенным дорогам и обманным мостам. «Сеятель», заставивший извозчика ехать через земский мост, полетел вместе с мостом в речку. По сатирической резкости и художественной яркости обличения дворянского либерализма этот рассказ Кущевского можно поставить в один ряд с сатирами Щедрина.

А в рассказе «Сеятель пустыни» показана тщетность усилий наивного либерала, который пытается бороться за справедливость при помощи городской думы и надеется на пробуждение совести у губернатора, предводителя дворянства и прочих властей. Обличительную речь этого «борца за правду» члены думы встречают смехом, а самого оратора считают сумасшедшим. Кущевский раскрывает игру в «демократию», которую ведут представители дворянства. Крестьяне и рабочие, долженствовавшие представлять в думе народ, даже не допускаются за стол, и городской голова называет их «кабацкой сволочью».

Та же картина нарисована и в рассказе «Наши гласные».

В рассказе «Два нигилиста» проблема отцов и детей решается в духе, характерном именно для демократической литературы 70-х годов. Честному, борющемуся со всяческими злоупотреблениями, глубоко сочувствующему народному горю — отцу противопоставлен холодный, равнодушный бюрократ-чиновник — сын, презирающий народ и высокие идеалы своего отца.

В рассказе «Труженицы» оригинально поставлена проблема женской эмансипации. Кущевский осмеивает обеспеченных дворянских женщин, подобно Ольге Роторевой из романа «Николай Негорев», играющих в общественную деятельность, в науку. Много ярких образов содержат и другие рассказы Кущевского

После опубликования романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» Кущевский стал думать о новом большом произведении и даже начал уже работать над ним. Первую часть он посылал в «Отечественные записки», о ней, по свидетельству Н. А. Некрасова, «снисходительно отозвался» Щедрин,[1] но продолжения не было. Оставшийся вновь без средств автор стал работать главным образом в качестве журналиста. «Он перешел на фельетон, писал критические очерки, мелкие рассказы и юмористические обозрения текущей жизни, писал по три-четыре больших фельетона в неделю. Он работал в «Будильнике», в «Деле», в «Сыне отечества», в «Новостях»,— сообщает биограф Кущевского А. Горнфельд. Эта литературная по-

---

[1] Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, М., 1952, т. 11, стр. 225.

деншина ради куска хлеба, конечно, вредно отражалась и на качестве написанного.

И. А. Кущевский тяжело заболел (водянкой) и умер в 1876 году в возрасте двадцати девяти лет. Умер в той же больнице, где написал свой знаменитый роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин».

Творчество И. А. Кушевского представляет несомненный интерес для советского читателя. Этот писатель — один из талантливых представителей демократического лагеря русской литературы, активно боровшегося за приближение нового социального строя в России.

М. Горячкина

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

АНДРЕЙ ПРОСВЕРЛИЛ ГВОЗДЕМ ТЕТКИНУ КИПАРИСНУЮ ЛОЖКУ

Раз мой старший брат Андрей совершил в один день три довольно тяжелые преступления. Утром, качаясь с маленькой сестрой Лизой на качели, он нечаянно уронил ее и чуть не расшиб ей голову; перед завтраком похитил из кладовой отцовское ружье и сделал из него, к великому ужасу тетушки, два выстрела холостыми зарядами. Но ужас и негодование тетки достигли крайних пределов только за обедом, когда открылось третье преступление Андрея. Как ни привыкли все в доме хладнокровно смотреть на разнообразные шалости брата, но последняя его каверза не могла остаться без внимания, так как тут было оскорблено главное лицо семейства — тетушка. В голове моей даже появилась нелепая мысль, что отец рассердится и велит высечь Андрея. Я часа два весело проходил в своей комнате из угла в угол, злорадно соображая, как кучер Ефим, короткий приятель брата, принужден будет тащить его на конюшню (я был убежден, что сечь можно только на конюшне), как брат будет бесполезно сопротивляться, кричать и браниться. Я не то, чтобы совсем ненавидел Андрея, но нельзя сказать, чтобы я его и любил, как следует любить брата. Он был старше меня всего одним годом, но гораздо вы-

ше ростом, ловче и сильнее. В простоте души я думал, что он никого не боится, и очень завидовал ему.

Между тем, как я, бессильный, слабый и часто больной, сидел по целым дням в детской с книгами и картинками, брат, встававший всегда очень рано, с утра и до ночи возился с деревенскими мальчишками, к которым я чувствовал страх и отвращение, какое чувствую теперь к крысам и моськам. В сообществе этих грязных, полунагих животных, с коричневым телом и блестящими зубами, он не только разорял гнезда, травил деревенских собак и катался на жеребятах, но не брезгал играть в городки и бабки.

Раз он привел даже в нашу комнату одного из своих коричневых приятелей, и я удивлялся, глядя, как Андрей без всякой осторожности хватался за грязные, растрескавшиеся руки мальчишки, который робко смотрел в землю, окончательно потерявшись в незнакомой обстановке. Мне казалось, что от прикосновения к грубой коричневой коже на руках Андрея должны появиться чесоточные прыщи и всякие злокачественные коросты, поэтому я пришел в окончательный ужас, когда мальчишка, по приказанию брата, хотел сесть на стул. Впрочем, бедняк, кажется, боялся меня больше, чем я его, и при первом моем крике бросился бежать в совершенном беспамятстве. Из-за этого у нас с братом произошла бурная сцена, в которой в сотый раз мы подтвердили условие о разделении комнаты на две части и полном невмешательстве в территорию друг друга. В этот раз, как и вообще после каждой ссоры, Андрей отчерчивал мелом на полу свою половину комнаты, и, таким образом, я лишался возможности прохаживаться (переступать демаркационную линию было нельзя), но зато выигрывал чистоту и опрятность около своей кровати, так как Андрей, строго исполняя условия, мог строгать и сорить только в своей половине.

Вспоминая теперь нашу жизнь в одной комнате и наши беспрестанные ссоры, я никак не могу объяснить одного обстоятельства: почему брат ни разу не покушался поколотить меня. В этом ему никто не мог помешать, и покуда прибежала бы из соседней комнаты Лизина нянька Федосья, Андрей мог оттузить меня весьма порядочно. В полной безнаказанности за это он мог быть уверен. Правда, тетушка пришла бы в негодова-

ние и заговорила бы о приличиях высшего московского общества, но Андрей на ее выговоры не обращал никакого внимания. Что касается до отца, то он никому из нас, никогда в жизни, не делал никаких выговоров, отвечая добродушным смехом на все жалобы тетушки, направленные, конечно, по большей части против Андрея, о котором она всегда сокрушалась как о человеке, невозвратно погибшем. Находясь в полном повиновении у тетушки и некоей Авдотьи Николаевны — нашей гувернантки, поминутно вздыхавшей без всяких видимых причин, точно она только что отошла от постели умирающего друга,— я очень завидовал независимости Андрея, но никогда не покушался завоевать себе хоть половину той свободы, какой он пользовался. Читая Плутарха и находя, что почти все великие люди в моем возрасте чуждались детских игр, я гасил свою зависть, соображая, что создан великим человеком и что взамен физических совершенств имею большое преимущество перед братом в умственном отношении. Но это преимущество не мешало мне, впрочем, больше любить игру в дурачки с Федосьей или просто шатанье в лесу, нежели чтение вслух, по приказу тетушки, каких-то стародавних книг, напечатанных на мягкой толстой бумаге, от которой пахло клопами, кожей и жасмином. Я помню мучительные вечера, когда тетушка, поставив перед своим носом свечу и кропотливо нанизывая петли своего вязанья, томила меня над повестями госпожи Жанлис или благочестивыми размышлениями госпожи Ген, в которых я понимал очень мало и еще меньше находил занимательности. Читая, я впадал в самые разнородные тоны, начиная от умилительного пафоса до самого жалобного, минорного тона. То душил меня кашель, то чесалось в носу, то хотелось пить; но ничто не помогало; все эти хитрости были только паллиативными мерами, и, напившись воды или высморкавшись, я принужден был снова приниматься за невыносимое рассуждение о вреде и пользе какого-нибудь *любочестия*. Тетка как будто не обращала внимания на мое нетерпение и скуку: она спокойно сидела, наклонившись над вязаньем, и, по временам взглядывая на нее, я видел только белый чепчик и две косички прилизанных седых волос. Нетерпение мое выходило из всяких пределов, я перевертывал сразу пять или десять страниц, и тем же

ровным голосом, как будто ни в чем не бывало, продолжал чтение, наивно воображая, что тетка ничего не замечает. Но и этот маневр не удавался. «Ну, что ты?» — холодно спрашивала она, брала у меня книгу, отыскивала страницу и клала ее передо мной с спокойствием инквизитора, не чувствующего чужой боли под пыткою. Безучастно выговаривая семиколенные периоды, я уносился далеко мыслями к деревьям, на которые, может быть, лазит теперь брат, к огороду; где он, может быть, запрягает теперь собак в маленькую тележку, и только запах клопов или жасмина при перевертывании страницы выводил меня из задумчивости. Даже воображая брата лишенным своих коричневых друзей, я во время исполнения моих читальщицких обязанностей находил, что он в тысячу раз счастливее меня и вовсе не скучает, играя с нянькой в карты или слушая ее воспоминания о двенадцатом годе, когда она была еще маленькой девчонкой и конвоировала вместе с другими пленных французов, коченевших от холода. Но и без старухи Федосьи он мог быть счастлив, толкаясь на кухне и забавляясь сальными шутками кучера Ефима, который пользовался, как сказано выше, его особым расположением.

Ефим устраивал брату самострелы и своими огромными черными пальцами показывал, как следует пользоваться этим оружием на погибель воробьев и цыплят. По утрам, когда отец возвращался верхом со своей прогулки, совершаемой им во всякую погоду для моциона, Ефим сажал брата в седло и позволял ему кататься по двору. Летом они ловили рыбу в нашем пруду; зимой Ефим устраивал при помощи мальчишек снежную гору, и в нашем дворе по целым дням стоял шум и гвалт, так как никто не хотел тратить драгоценное время исключительно на катанье, а старался смешивать это увеселение с возней и дракой. Одним словом, Ефим был другом и покровителем брата, точно так же как нянька Федосья была моим. Впрочем, отношения мои к Федосье вовсе не были похожи на отношения брата к кучеру Ефиму. Федосья относилась ко мне как к младшему — делала выговоры и поучала меня; Ефим говорил с братом как с равным. Федосья могла сказать мне: «Опять утираешь нос рукавом; разве нет платка?». Ефим говорил брату: «Не лазайте, барич, по крышам: тетенька увидит, за-

бранит». Брат любил Ефима и защищал его; я любил Федосью, но не имел повода защищать ее: она была сильнее меня во всех отношениях. Когда Ефим, по врожденной своей лености, без должной аккуратности выгребал навоз из конюшен и это навлекало на него гнев управляющего, старика Михеича, Андрей являлся к крыльцу флигеля и своими упрашиваниями отвращал от Ефима упреки, брань и угрозы. Федосья была лицо, почти равное управляющему, лицо, совершенно свободно разговаривающее с тетушкой, и мне не перед кем было заступиться за своего друга. Даже во время передобеденных сшибок с отцовским лакеем Савельем по поводу пшеничного хлеба, которого якобы он, Савелий, жалел для нее, я не мог пристать на ее сторону открытым союзником, а должен был только ограничиваться мысленным ниспосыланием на голову Савелья всяких бед — «труса, потопа, огня и меча». Савелий, всегда гладко выбритый, вел себя очень тихо и благопристойно; он с такими спокойными манерами вправлял свечи в подсвечники, с какими добрый отец благословляет своего сына в дальнюю дорогу; наконец, он с такой сосредоточенной серьезностью подавал — не подавал, а преподносил — кушанье, что я должен был чувствовать к нему невольное почтение и естественным образом побаивался вступить с ним в неприязненные отношения, хотя бы и для нежно любимой Федосьи.

Мы жили в селе Негоре, прозванном так, вероятно, за свое красивое местоположение. Действительно, с горы, где прежде стоял барский дом, видна была кругом обширная зеленая долина, на которой пестрели вдали желтые и черные краски деревень и блестела река, точно хорошо вычищенный столовый ножик. Имение это принадлежало прежде нам, но отец продал все, исключая трех или четырех семей, считавшихся дворовыми. Оставшись без крепостных, он жил процентами с капитала и подсмеивался над своим положением помещика без поместья. Впрочем, отец смеялся над всем, и я ни разу не видал, чтобы он рассуждал о чем-нибудь серьезно. У него не было мефистофелевского смеха, а был юмор толстяка, которым он решительно убивал тетушку, подсмеиваясь над ее волнениями из-за всяких пустяков. Тетушка относилась к нему, как к больному, капризов которого она не может понять, но считает себя обя-

занной снисходить к ним. Отец учился в школе колонновожатых[1] и мог иметь довольно блестящую карьеру; тетушка решительно не понимала, по какой причине он не дождался нескольких месяцев производства в генералы и вышел в отставку, как только умерла наша мать, после родов Лизы, оставив меня всего двух лет, а Андрея — трех. Может быть, выходя в отставку, отец хотел заняться нашим воспитанием, но если и было это намерение, он сразу оставил его и ничем не заявил своего желания давать нам отеческие наставления и советы кроме того, что смеялся над тетушкой, если она была недовольна Андреем. Словом, нам была предоставлена полнейшая свобода делать что угодно; даже приготовление уроков зависело исключительно от нашего расположения. Нас обучала чрезвычайно тощая Авдотья Николаевна, с сильным жасминным запахом, и очень побаивалась, кажется, Андрея, который обращался с ней нисколько не лучше того, как обращался Митрофан с Цифиркиным.

— Душенька, Андрюшенька, сегодня будешь учиться? — нерешительно спрашивала Авдотья Николаевна за утренним чаем.

— Душенька, Авдотья Николавна, сегодня праздник,— объявлял Андрей.

— Голубчик, Андрюшенька, ведь вчера был праздник,— уговаривала Авдотья Николаевна.— Какой же сегодня праздник?

— Если не праздник — все равно, я когда-нибудь в праздник буду учиться, а сегодня мне никак нельзя.

Тем и кончалось объяснение, так как продолжать его со стороны Авдотьи Николаевны было бы безрассудным риском наслушаться от Андрея всяких дерзостей, а наша воспитательница была такая благовоспитанная девица, что стыдилась даже при других признаться, что она имеет гнусную привычку пить и есть, и, следовательно, при усиленных нападках Андрея была бы поставлена в печальную необходимость разыграть припадок истерики, что, как известно, не всегда легко и удобно. Выдерживая характер невинного мотылька, безвредно порхающего с ветки на листок, с листка на цветок, Авдотья Ни-

[1] Школа, или училище, колонновожатых готовила офицеров генерального штаба.

колаевна не только оставляла в покое Андрея, но даже принуждена была сестре Лизе вырезывать ножницами из сахарной бумаги разной величины камчадалов и камчадалок, смотря по тому, слегка или сильно капризничала Лиза, отказываясь упражнять свой почерк на грифельной доске. Один я никогда не терзал непокорством ее незлобивого девственного сердца и по ее призыву,— «Николинька, душенька, просклоняй *маленький столик»,*— готов был склонять или спрягать какое угодно слово. Намучившись с нами в течение дня, бедненькая Авдотья Николаевна садилась за фортепьяно и отводила душу в таких унылых звуках, что галки в саду начинали беспокойно перепрыгивать с дерева на дерево и отчаянно выкрикивать свое крр, крр. Я в это время старался как можно дальше уйти от жасминного запаха, который всегда наводил на меня ужасную скуку, и от томительных звуков фортепьяно, как-то раздражавших своей легковесной тоской. Я уходил на гору или в рощу, которая спускалась к берегу реки и тонула ветвями последних своих дерев в воде. Там я ложился в тени кустов на траву и, обдуваемый влажным холодком с реки, по целым часам смотрел на высокое голубое небо, отдавшись далеким думам. Еще в пеленках лишившись матери и предоставленный самому себе с самого раннего возраста, я не чувствовал никогда лишним мыслить о своих поступках, не полагаясь слепо, как глупый цыпленок, на благодетельную опеку материнского крыла. Мне беспрестанно приходилось думать, понравится ли другим тот или другой образ моих действий, постоянно быть настороже в своих отношениях к другим, не уповая, что, дурно или хорошо поступлю я, мать с одинаковой любовью приласкает и согреет меня под своим крылом. Много дней, лежа на траве и глядя на высокое голубое небо, я думал о бесшабашном Андрее, об Авдотье Николаевне, сушившей цветы в книгах и потом вздыхавшей над этими цветами, о тетушке Фелисаде, смотревшей во все углы, отыскивая предлога сделать какое-нибудь сухое и строгое замечание, например относительно того, что откидываться на спинку кресла неприлично или что смеяться, когда смеются старшие, дерзко и проч. Но больше всего я думал об отце, казавшемся мне каким-то высшим, недосягаемым существом, которому совершенно недоступны волнующие нас

мелкие страсти. Хотя я его ни разу в жизни не видал сердитым или сколько-нибудь недовольным, но всегда не без некоторого страха, отворив дверь кабинета, останавливался утром на пороге, с нерешимостью глядя на тучную фигуру отца, сидевшего в кресле, прежде чем подходил поздравить его с добрым утром и поцеловать его огромную мясистую руку. В горестных обстоятельствах, когда, например, Андрей, несмотря на мое положительное несогласие променять свое «Путешествие Гулливера» на его барабан, насильно отнимал у меня книгу, жаловаться отцу на хищничество брата было совершенно бесполезно.

— А ты сам отнял бы у него «Путешествие» да надрал бы ему хорошенько уши,— спокойно решал отец, как будто мне стоило только подняться с места, чтобы надрать Андрею уши и отнять у него «Путешествие».

Вообще во всех неприятностях, то по поводу барабана, которым Андрей злоупотреблял до того, что даже по ночам бил иногда тревогу, то по поводу моего нежелания играть с ним в дураки на мои книги, карандаши и картинки, я не находил у старших никакой защиты от его самовольства, и мне подолгу приходилось обдумывать разные средства к ограждению своих прав и преимуществ. В детстве брат отличался очень чувствительным, подвижным характером, и ему стоило только как можно ласковее сказать: «Андрюша, ради бога, оставь свою дудку — видишь, я читаю», чтобы он немедленно разнежился и предложил свою дудку в подарок. Я прежде всего употреблял это средство, но если оно не помогало, приходилось прибегать к упрекам и насмешкам, а чтобы они имели больше силы, я сочинял их заранее. Если у брата являлся, например, каприз говорить рифмами и он не переставал надоедать мне обращениями в таком роде: «Я замечаю две недели, что ты лежишь на постели, и я тебе дам колотушку, если ты не оставишь подушку»,— то мне приходилось образумливать его, придумав несколько насмешек и острот в доказательство того, что говорить рифмами очень глупо. Если и это не действовало, я сам начинал говорить рифмами, которые с большими трудностями подбирал заранее, и надоедал брату так же, как он мне. Это почти всегда имело свое действие, и мы заключали конвенцию не говорить никогда рифмами. Скольких трудов, волнений и

хлопот стоило мне приучить Андрея к мысли, что для нашего общего удобства необходимы маленькие уступки.

Летом, когда Андрей, встававший раньше меня, пропадал на целые дни, не являясь даже обедать, наши препирательства были не столь значительны, как зимой, когда мы наглухо закупоривались в теплых комнатах и брат со своим беспокойным характером очень затруднялся в выборе развлечений. Зимой у нас почти никто не бывал, исключая двух-трех бедных помещиц, пивших чай вприкуску и сносивших за это самое презрительное обращение со стороны тетушки. К нам они относились с самой подхалюзистой услужливостью, то обтирая Андрею своими платками запачканные «сапожки», то рассыпаясь в уверениях, что я не по летам серьезен и умен. Тетушка, бредившая высшим московским обществом, не сажала их с собой за стол, и бедные гостьи обедали с нами, несколько раньше тетки, отца и Авдотьи Николаевны. Андрей жестоко смеялся над ними и раз, отставив стул, на который хотела сесть гостья, очень больно ушиб старуху; она с усилием поднялась, набожно перекрестилась и со слезами сказала Андрею: «Не дай тебе бог дожить до этого». Брат расчувствовался при этом до того, что, извиняясь перед нею, поцеловал у старухи желтую морщинистую руку, и такое унижение перед Анной Парфеновной (имя старухи) открыло мне обширную область насмешек, которые очень раздражали Андрея.

Мужчин у нас почти совсем не бывало в доме, а если и бывал кто-нибудь по делам, то приезжал не к отцу, а к тетушке или управляющему. Между такими гостьями, которые пили чай не вприкуску и обедали вместе с теткой, я особенно отличал одну старушку, нашу дальнюю родственницу, ездившую к нам с своими двумя внучками — Олей и Аннушкой. Оля была рыжая и грызла себе ногти, и, чтобы отвадить ее от этой привычки, брат както начал бить ее линейкой по рукам, из-за чего произошел очень изрядный скандал. Аннушка была такая беленькая, хорошенькая девочка, с такими белыми волосами, что Федосья называла ее девушкой-снегурушкой. Чтобы позабавить девочек, с которыми, впрочем, брат обращался запросто, немного вежливее, чем с деревенскими мальчишками, мы устраивали игру в прятки. Я

помню, как мы становились в круг и Аннушка, указывая своим розовым пальчиком, частила: «Ченчик, бренчик, бубенчик» — до тех пор, пока до кого-нибудь не доходили слова: «вон пошел». Я очень охотно брал себе этот жребий и, приготовляясь отыскивать прячущихся, смотрел только, куда спрячется беленькая Аннушка.

— Что ты все меня ищешь,— шептала она,— ищи других; Андрюша залез в бочку, ищи его.

Я соглашался на эту маленькую фальшь и без труда находил моего любезного братца, перепачканным с ног до головы, в бочке из-под постного масла. Скоро, впрочем, Аннушку отправили куда-то в институт, и бабушка стала приезжать к нам с одной своей рыжей внучкой, которую я очень не любил, а брат просто терпеть не мог, и мы не вступали с ней ни в какие игры. Ольга, кажется, отвечала нам такими же чувствами.

В тот день, когда Андрей, неизвестно с какой целью, просверлил гвоздем теткину кипарисную ложку, у нас в гостях была Ольга со своей бабушкой. Ложка, сделавшаяся жертвой преступления, была вывезена из Иерусалима или с Афона и отличалась многочисленными симпатическими свойствами, так что, кушая ею, тетушка нимало не опасалась ни отравы, ни расстройства желудка. Словом, просверлить эту ложку было большим преступлением, и за обедом, когда шалость Андрея открылась, тетушка побледнела от досады; она не положила даже ложки и держала ее в руке до тех пор, пока в дыру не вылился весь зачерпнутый суп на скатерть. Андрей покраснел и начал озираться кругом, очевидно, намереваясь убежать от грозы.

— Это он,— он все портит,— смеясь, указала на него Ольга.

— Я знаю,— с угрозой пробормотала тетушка, поднимаясь со стула.— Это тебе даром не пройдет!

Но Андрей, не слушая ее, убежал из комнаты.

— Какой он мужик! — объявила Ольга.

— Он, может быть, нечаянно,— заметила бабушка.

— Нет, он скверный, злой мальчишка! — запальчиво вскричала тетушка и отправилась к отцу с жалобой.

Но через минуту она воротилась назад еще с большей злобой, не вынеся из объяснения с отцом ничего утешительного, кроме серебряной ложки, которую тетка

тут же в сердцах бросила на окно и чуть не разбила стекла.

— Это ему не пройдет,— пробормотала она, садясь снова за стол.

— Успокойтесь, душенька Фелисада Андревна,— со вздохом сказала Авдотья Николаевна, подавая тетке стакан воды с самой сокрушенной физиономией.

— Его высекут,— сказала ни с того, ни с сего Ольга.

После этой сцены тетушка дулась весь обед и ничего почти не ела. За вечерним чаем отец вышел к нам из своего кабинета, что случалось очень редко, в особенности при гостях.

— Ну, приятель,— сказал он, ласково ероша Андрею волосы своими толстыми пальцами,— ну, как ты просверлил святую ложку?

— Просверлил,— мрачно пробормотал брат.

— Ну, так вот, мы через неделю отправимся в город, в корпус — там будет много ложек к твоим услугам. А ты, Коля, хочешь в гимназию? — обратился ко мне отец.

— Мне все равно.

— И отлично. Пора уж за науку приниматься.

И действительно было пора: мне было двенадцать лет, а брату — тринадцать.

II

ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕИЗБЕЖНЫЙ ВО ВСЯКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПОВЕСТИ СЕМИНАРИСТ

Брат давно уже бредил корпусом и, как только узнал, что скоро наденет военный мундир и получит такое ружье, из которого можно будет стрелять не горохом, а порохом, пришел в настоящий восторг. Барабан его не умолкал, так как он услышал где-то солдатскую песню и упражнялся, разучивая ее с аккомпанементом этого музыкального инструмента.

— Солдатушки, ребятушки,
Да где же ваши жены? —

распевал он на разные голоса в нашей комнате, и если я замечал ему, что Федосья очень тревожится, прини-

мая его пение за вой собаки по покойнику, Андрей начинал петь другую песню про штафирку — чернильную душу. У него не было совсем слуха, и понятно, что его вокальные упражнения выводили меня из себя, кроме того, что песню о чернильной душе я принимал как личное себе оскорбление. Последнее обстоятельство я, впрочем, скрывал от Андрея самым тщательным образом, так как показать, что меня сердят его насмешки, значило бы доставить ему полное торжество. Я это уже давно понял и нападал на него только за неспособность к пению.

— Если ты в корпусе будешь так же приятно петь, тебя сразу отучат,— стращал я его.

— Не беспокойся!

— Как же не беспокоиться? ты мне брат, и вдруг тебя задерут до смерти только за то, что ты вместо кадета хочешь быть дьячком. Прогонят сквозь строй — вот и конец.

Андрея это обстоятельство, кажется, несколько смущало, и он иногда даже переставал петь, обдумывая, чем бы мне ответить. К довершению моих бедствий ему как-то удалось выпросить у отца маленький старый пистолет, который, однако ж, с большим громом разбивал пистоны, и Андрей, поднимаясь в четыре часа утра, заявлял о своем пробуждении пистолетным выстрелом. Я уже подумывал выпросить у отца ружье и тоже стрелять по ночам, но Андрей, истратив все свои пистоны, оставил меня в покое. В этих передрягах прошли незаметно дня три или четыре, и время нашего отъезда из деревни значительно приблизилось.

Раз перед завтраком я читал тетушке какой-то роман Вальтер Скотта. Мы сидели в столовой, и, без смысла выговаривая фразу за фразой, я прислушивался к стуку тарелок в соседней комнате и тоскливо различал голос Андрея, кричавшего с кем-то на дворе. В это время в комнату вошел наш управляющий, которому, собственно говоря, по продаже имения совершенно нечем было управлять, кроме Ефима да двух-трех дворников, и он был оставлен в своем флигеле больше по привычке иметь управляющего. Его звали Михеичем и все любили за тихий характер и набожность, столь редкую в духовном звании, из которого он происходил. В этот раз он пришел со своим племянником, явившимся к нему

только в это утро. Михеич говорил мне как-то, что его племянник учился в духовном училище и переведен в семинарию; при этом он прибавлял надежду, что мы не оставим сироту своей помощью и довезем его до города. «Если бог даст ума да разума, может и попом выйдет»,— скромно мечтал старик. Когда Михеич грубо выдвинул из-за своей спины скрывавшегося от наших взглядов сироту, я с любопытством посмотрел на мальчика, готовящегося в попы. Он был почти одних лет с Андреем, но толст и неуклюж, как медвежонок; впрочем, благоприятности первого впечатления много вредил какой-то капот дымчатого цвета, очень мешковато висевший на его плечах и, очевидно, перешитый из старой шинели; нанковые брюки были очень узки и коротки; рыжая кожа на сапогах ссохлась и съежилась в безобразные складки. Руки его были грязны, ногти обкусаны, черные волосы на голове гладко обстрижены и выглядели ермолкой, плотно надвинутой на затылок. Он смотрел исподлобья и при разговоре едва разевал свой широкий рот, так что крепкие калмыцкие скулы оставались почти всегда, как и все круглое лицо, в безмятежном спокойствии китайской статуэтки, кланяющейся и высовывающей язык, не изменяя физиономии. Вообще в его наружности было мало красивого и привлекательного, а ко всему тому он был застенчив и казался злым и упрямым.

Отец вышел посмотреть мальчика и спросил, как он учился. Михеич объяснил, что учился покуда хорошо, а дальше должен уповать на бога.

— Учись, учись,— сказал отец, гладя мальчика по голове, причем этот последний как-то робко прижмурил глаза и полуоткрыл рот, точно приготовившись получить удар в голову.

Отец, любивший острить насчет своей тучности, сказал, что он, как человек тяжелый, думает выехать в тяжелый день — в понедельник, и Михеич, заявив, что к этому дню все будет готово, раскланялся с отцом.

Я встал и хотел было пойти в буфет посмотреть, что же там делается, но тетка остановила меня, взяв за плечо.

— Ступай же поговори с мальчиком,— тихо сказала она мне.

Я вышел вслед за Михеичем, который остановился

на крыльце и давал Ефиму строгий выговор по поводу того, что он отвязал для брата цепную собаку, а Андрей, гремя цепью, бегал с ней по двору, к великому ужасу куриц, гусей, уток и поросят. Мальчик стоял с непокрытой головой сзади Михеича и мял в руках свою шапку.

— Как вас зовут? — спросил я, подходя к нему, правду сказать, не без некоторой застенчивости и даже робости.

— Семеном,— тихо отвечал он, не глядя на меня.

— Послушайте...— начал было я, но остановился, не решаясь употребить ни слово Сеня, ни просто Семен, и только спросил: — давно вы из училища?

— Другой месяц.

— Трудно там учиться?

— Да.

— Сядемте здесь,— предложил я.

Мы сели на одну из боковых скамеек крыльца; мальчик, покорно исполнив мое приглашение, смотрел очень неловко, кажется не понимая, для чего мы тут будем сидеть.

— Что же преподают в училище? — спросил я, чтобы завязать как-нибудь разговор.

— Разное.

— Я думаю, там очень скучно.

— Нет.

В это время Михеич, отдав приказание взять от Андрея собаку и привязать ее, прошел к себе во флигель, оставив нас с Семеном в том неловком положении, которое, вероятно, чувствовали волк, дьячок и медведь, попавшие в одну волчью яму.

— Как ваша фамилия? — спрашивал я.

— Новицкий.

— Который вам год?

— Тринадцать лет.

В это время Андрей решился, кажется, вывести нас из большого затруднения и направился со своей собакой в нашу сторону. Несмотря на приказание Михеича, Ефим, знавший очень хорошо, что привязать собаку гораздо легче, чем отнять у брата приятную забаву, слегка заметив, что пес может вырваться и укусить кого-нибудь, ушел к себе в конюшню. Андрею скоро надоело гоняться с собакой за поросятами и утками, и он, не привыкши

долго рассуждать, когда дело шло о его удовольствии, придумал себе более пикантную забаву. Он подвел собаку к крыльцу и начал травить ее на моего собеседника, то опуская цепь на всю длину, то дергая собаку назад. Мальчик сначала не обращал на это особенного внимания и только отодвинулся немного; но шутка скоро перестала быть невинной: собака разозлилась и грозила вцепиться в икры.

— Оставь, Андрей! — кричал я ему, но он разражался громким хохотом, не изъявляя никакого желания прекратить свое веселое занятие. Не видя толку с этой стороны, я обратился к собаке и начал ласково звать ее по имени, но собака, очевидно, дорожила знакомством брата гораздо больше, чем моим, и продолжала с прежней яростью кидаться на оробевшего мальчика. Он встал на ноги и остановился, не зная, что ему делать. Собака между тем так и рвалась на него.

— Оставьте же! — закричал он наконец.

Андрей заливался самым задушевным хохотом.

— Ефим, возьми у него собаку! — кричал я.

Ефим появился у дверей конюшни, но двигался как-то медленно и неохотно: он смотрел на проказу брата гораздо более снисходительными глазами, чем я. Между тем Андрей как-то неосторожно опустил цепь больше, чем следовало, и собака рванула мальчика за ногу. Семен вдруг оживился, кулаки его сжались, и, перепрыгнув через собаку, он сшиб с ног Андрея. Собака бросилась на помощь к брату и, вероятно, сильно искусала бы его противника, если б своевременный пинок Ефима не заставил ее отлететь на несколько аршин от места происшествия. Поймав собаку за цепь, Ефим остановился в стороне и с какой-то глупой улыбкой смотрел на двух борцов, валявшихся в пыли и наносивших друг другу жестокие удары. Он, очевидно, не знал, что ему делать: идти ли привязывать собаку или отпустить ее и разнять дерущихся. Покуда он размышлял, я молча радовался, что Андрея отколотят хорошенько, и драка продолжалась. К счастию, в это время вошла на двор из сада Федосья и, оставив Лизу посреди двора, кинулась разнимать дерущихся. Я подошел к сестре. Она смеялась, хлопала в ладоши и кричала: «Как они разодрались! Как они разодрались!»

Разодрались они действительно с жаром и увлече-

нием, так что Федосье стоило немалого труда развести их в разные стороны.

— Я тебе покажу! — кричал брат, махая кулаком.

— Что, хорошо? — спрашивал Семен с злобным сознанием своего торжества. Он раскраснелся и утирал нос рукавом своего серого капота, теперь совершенно перепачканного в пыли.

Брат, в чрезвычайном волнении, совершенно не сознавая себя, покорно пошел в дом, куда его конвоировала Федосья, и я опять остался один на один с Семеном, который тяжело дышал и не мог собраться с силами, чтобы заговорить.

— Я и не с такими справлялся,— объявил он мне наконец.

— Он ужасно скверный мальчишка,— отрекомендовал я брата.

— Он на ногах не крепок. Сразу свалился.

— Пойдемте в рощу,— холодно сказал я, недовольный тем, что он ударился в специальные пояснения, отзывавшиеся хвастливостью.

— Пойдемте, а то, пожалуй, дядя увидит и отдерет.

— За что же? ведь он начал.

— Мало что! Он — барич. Скажет: «Тебя приняли из милости, а ты драться». А что, он не пожалуется?

Любопытство относительно того, отдерет или не отдерет его дядя, было так поверхностно у Семена, что я невольно подивился ему, но все-таки постарался уверить его, что брат не будет жаловаться и никакой расправы с ним его дядя не смеет делать в нашем доме. Услышав мое твердое заявление о том, что его дядя *не смеет* делать того, что мне может быть неприятным, Семен почтительно посмотрел на меня и нерешительно сказал, что он слышал откуда-то, будто и господских детей секут розгами. Розга представлялась мне таким ужасным и позорным наказанием, что я не без обидчивости ответил ему, что нас не секут. Гордый тон моих слов заставил его замолчать, и он, по-видимому, впал в большое затруднение относительно того, как возобновить разговор. Мы долго шли молча.

— У вас нет никого родных, кроме дяди? — спросил я наконец, чтобы прервать молчание.

— Никого.

— А давно умерли ваши родители?

— Давно уж.

— И вы их не помните?

— Мать помню.

— Вы ее любили?

— Известно — мать. Скучно только было.

— Отчего же?

— Как же? Мы жили тогда в Р. Уйдет мать, бывало, на работу — она в прачки ходила — и запрет нас с сестренкой на целый день на замок...

— Николай, где вы? — весело закричал в это время Андрей. Он никогда не сердился больше нескольких секунд и был теперь совершенно благополучен, точно ни с кем в этот день и не думал драться. У него была булка с маслом, которую тетка послала мне, и я предложил ее Семену.

— Покорно благодарю,— неловко сказал он.

— Ну и что же, вы так и сидели целый день под замком? — спросил я его.

— Что это? что такое? — заинтересовался Андрей, которому очень мешала говорить набитая во рту булка.

— И сидели. Есть хочется и скучно. Целый день, бывало, стоишь у окошка, послюнишь палец, вот так, водишь по стеклу и поешь: «Маменька, приди, милая, приди, а мы кушать хотим».

Семен засмеялся, но мы не ответили ему тем же. Я удивлялся, как ему не совестно рассказывать посторонним людям такие вещи, а Андрей, усиливаясь что-то сказать, вел ожесточенную борьбу с булкой, наполнявшей его рот. Оказалось, что он хотел удостовериться, действительно ли они хотели кушать, когда пели это, и, узнав, что Семену приходилось просиживать по целым дням голодом, Андрей решился тотчас же отправиться домой и принесть еще две булки — для себя и для Новицкого.

Вообще Андрей очень скоро сошелся с мальчиком, которого колотил за несколько минут перед этим, и они вступили в самый дружественный разговор на *ты*, хотя Семен не сразу согласился стать на такую короткую ногу с баричем; но брат объявил, что *вы* говорят одни девочки, да и то преимущественно рыжие, вроде Ольги, а потому он терпеть не может всяких вежливостей, и Новицкий, не без некоторой неловкости, спросил: «Как *тебя* зовут?» В разговоре Андрей сообщил о том, что

имеет настоящий железный пистолет, и так как встретилась надобность показать Семену это сокровище, то брат повел нас обратно домой. Он шел впереди, и как только мы остались опять вдвоем, началось очень неловкое молчание.

— Где же теперь ваша сестра? — спросил я.

— Умерла в оспе.

— Разве ей не прививали оспу?

— Нет.

— А отчего же умерла ваша мать?

— Не знаю. Я уж тогда был в училище,— равнодушно ответил Семен.

Я почувствовал, что эти вопросы, задаваемые с моей стороны ни с того ни с сего, очень глупы, и замолчал.

Когда пистолет был осмотрен с надлежащим вниманием и было выражено сожаление, что нет пистонов, на которых бы его можно было попробовать, Семен заметил, что у него в сундуке есть пистоны.

— Неловко только идти к дяде,— прибавил он.

— Это пустяки; пойдем,— радостно объявил Андрей, и мы отправились из нашей комнаты во флигель.

Михеича не было дома, и мы в присутствии скотницы Мавры, прислуживавшей ему, совершенно свободно уселись около Семенова сундука, стоявшего в передней. Это был некрашеный, топорной работы сундук с большим висячим замком. Покуда Семен отвязывал от пояса ключ, Андрей весело потирал руки в радости близкого удовлетворения своего трепетного желания осмотреть сокровища сундука, а затем пострелять из пистолета. Я не меньше брата любил рассматривать чужие вещи, но дожидался совершенно терпеливо, пока Семен отомкнул замок и открыл вместилище своей собственности. Перед глазами нашими появилась целая лавочка. На дне лежала потертая шуба, крытая синим сукном, и на ней между несколькими штуками белья помещались самые разнообразные вещи, чрезвычайно тщательно уложенные домовитым хозяином. Тут было несколько волосяных лес для удочек, несколько линеек, с прорезами посередине, для чистки пуговиц, два или три оселка для точения ножей, буравчик, моток ниток, дратва, шило, обломанная подкова, молоток, напилок, вилка без черенка, старые голенища, вязанка пуговиц, зеркальце, оловянная чернильница, молитвенник, переломанная пополам бритва и

проч. Андрей брал каждую вещь и с любопытством рассматривал.

— Это что такое? — спрашивал он.

— Штучка такая, от зонтика...

— Зачем?

— Да так. Вот портрет императора, когда еще он был наследником...

— А! А что в этом мешке?

— Не развязывай; разные тряпки — починить что-нибудь...

Когда Семен достал из жестяной коробочки из-под ваксы два или три пистона, валявшиеся там вместе с пуговицами, медными крестами, колечками и ключами, мы вновь пересмотрели все имущество Новицкого, который с самой нежною любовью тщательно укладывал каждую вещь на свое место. Положив последний предмет и запирая сундук, Семен вздохнул, как человек, кончивший трудную, но приятную работу.

— А у тебя много именья! — сказал Андрей, надевая пистон.

— Иной раз бросишь что-нибудь, а после занадобится,— и нету; а тут, как приберег, так оно и есть,— пояснил Новицкий, кажется задетый за живое и чувствовавший удовольствие домовитого человека, только что обозревавшего свою собственность.

III

МЫ УЕЗЖАЕМ

Мы без большой печали расстались с деревней и поехали под палящим зноем по пыльной дороге, окруженной желтыми кусками сжатых полос, солома которых, казалось, горела на солнце. Отец дремал в углу трясущегося тарантаса, я сидел сбоку и внимательно смотрел на редкую зелень дерев, на поблекшую траву и на желтые поля, убегавшие назад с утомительным однообразием, резавшим глаза. Новицкого сначала посадили на козла, где был привязан его сундук, но Андрей поменялся с ним местами, и Семен сидел рядом со мной в тарантасе, считая верстовые столбы и указывая мне на какие-нибудь пустяки, выходившие из ряда утомительного од-

нообразия: на спутанную лошадь, скачущую по лугу, или бабу, идущую в стороне, с посошком и котомкой за плечами. Андрей возился на козлах, как мартышка; он гикал на лошадей, махал руками, ловил оводов и, приснастив к насекомому соломинку, пускал его на свободу. Оно так и летело с соломинкой, исчезая в желтеющем от солнца воздухе. Не знаю, потому ли, что я был занят теми новинами, с которыми придется столкнуться в городе, или по другой какой причине,— незнакомые лица и новые места, быстро мелькавшие перед глазами, мало поражали меня.

Мы остановились ночевать в просторной, но грязной и сырой комнате станционного дома, где очень пахло потом, точно от рубашки человека, пробежавшего, не отдыхая, двадцать верст, и притом в очень жаркий летний день. Отцу устроили постель на диване, мы легли с братом на каком-то широком ларе, а Новицкий раздевался, приготовляясь лечь на стол, где уже лежал войлок. Раздевшись совершенно, он остановился босиком в переднем углу и начал торопливо креститься. На нем была надета бедная ситцевая рубаха красного цвета, и это обстоятельство дало Андрею повод расчувствоваться чуть не до слез.

— Знаешь, если б я был богатым,— шепотом сказал он мне,— я бы все купил ему. Посмотри, какой он бедный и рубашка какая... Мне его жаль.

Глядя на кресты и поклоны Новицкого, я думал о о словах тетушки, что при людях молятся только невежи и лицемеры, и ничего не отвечал брату на его великодушное намерение купить Новицкому другую рубаху. Он замолчал и, вероятно, начал мечтать, как бы он осчастливил Семена, если б был богат.

Утром мы опять под палящим солнцем закачались в тарантасе, и опять побежали мимо нас желтые поля, полуобнаженные деревья и верстовые столбы. Семен обратился ко мне с разговором не прежде, чем в его глазах успели примелькаться зеленые, черные и желтые краски, блиставшие с обеих сторон дороги.

— Посмотри,— сказал он мне, таинственно показывая большой складной ножик в дрянном роговом черешке. Случай был, по-видимому, так важен, что он забыл, с кем говорит, и обращался ко мне прямо на *ты*.

— Ну? — вопросительно произнес я, взяв в руки нож.

— Я его утянул там,— проговорил он с невыразимой улыбкой, больше похожей на ужимку,— так она была энергична: в ней была и радость, и таинственность, и похвальба.

Мне эта ужимка не понравилась.

— Что? — серьезно спросил я.

— Я его там взял,— скромнее сказал он.

— Ты его украл? — спросил я, считая лишним церемониться и употребляя тоже *ты* по случаю экстренности происшествия.

Новицкий ничего не отвечал, я выбросил ножик из тарантаса и закричал, обращаясь к отцу:

— Он украл ножик.

— У кого украл? — сонно спросил отец.

— Там, на станции.

— Это нехорошо,— проговорил отец, зевнул и отворотился в другую сторону, вероятно считая это дело нестоящим дальнейших объяснений.

Я думал моим восклицанием произвесть целую бурю, и мне не хотелось разочароваться сразу. Видя невнимание со стороны отца, я обратился к Андрею и толкнул его в спину в то самое время, когда он замахнулся кнутом над левой пристяжной.

— Он украл ножик.

— Покажи его сюда, покажи! — вскричал Андрей, заливаясь хохотом.

— Я выкинул его.

— Как же ты его стащил? — весело спрашивал Андрей, от которого я дожидался выражения полного негодования к злоумышленному похищению чужих ножей на почтовых станциях.

Ни я, ни Семен, однако ж, не ответили ничего на его веселый вопрос. Я жалел, что тут нет тетушки Фелисады с колкими упреками, и выходил из себя от досады, видя, что Андрей нисколько не возмущается поступком Семена.

— Зачем же ты его выбросил? — спросил меня брат.

— Затем что нужно,— с досадой отвечал я.

— Ты всегда портишь да выбрасываешь чужие вещи. Кто тебя просил? — проворчал Андрей, оборачиваясь к лошадям.

— Отодвинься от меня, воришка,— сказал я Семену,

злобно глядя на его серый капот и фуражку, надвинутую на затылок.

Через полчаса я взглянул на него; он смотрел все так же в сторону, но, по-видимому, очень мало обращал внимания на желтизну и зелень, как поток утекавшую назад. Я понимал, что он чувствует себя отчужденным и презираемым и что ему очень скверно. Я с ненавистью посмотрел на его некрасивую фигуру, неподвижную под влиянием молчаливой тоски, и — отворотился.

Во всю остальную дорогу мы не сказали ни слова, хотя я везде старался выказать к нему самое положительное отвращение, в полном убеждении, что поступаю хорошо, справедливо наказывая виновного. Наконец на последней станции, где мы переодевались, въезжая в город, я встретил его одного на крыльце станционного дома. Он стоял, задумчиво облокотившись на перила: ему не во что было переодеваться. Я подумал, что он раскаивается и заслуживает сожаления.

— Тебе стыдно? — спросил я.

— Нет,— ответил он не то рассеянно, не то нехотя, как будто для того, чтобы только сказать что-нибудь.

— Разве хорошо воровать?

— Я не воровал.

— Как же? а где же ты взял ножик?

— Я его взял, да и только.

— Украл!

— Положим, украл, и до этого тебе нет дела,— мрачно сказал он.

— Значит ты — вор, а с ворами я не хочу говорить.

— И не нуждаюсь.

Я вошел в комнату. Отец стоял перед зеркалом и силился застегнуть своими толстыми пальцами воротничок рубашки. Андрей сидел у окна и дразнил кошку гусиным пером,— она притворялась рассерженной, фыркала и оборонялась лапкой. Я хотел было сказать ему про Семена, но подумал, что он не будет слушать, и решился приберечь для себя свои соображения.

К полудню мы въехали в большой город с огромными, незнакомыми домами и улицами, шумящими народом. При самом въезде отец показал нам наш дом, стоявший среди огромных зеленых дерев и отдававшийся кому-то внаймы. Мы ехали полной рысью, и прохожие с любопытством останавливались, глядя на нас.

Пришлось проехать много улиц, пока мы остановились около богатого дома, принадлежавшего нашему дальнему родственнику, председателю палаты, барону Шраму. Этот барон был очень маленький, неслышный старичок, которого никто не мог бы, кажется, заметить, если б на его шее не висело блестящего орденского креста на красной ленте. Крест этот, по-видимому, составлял такую же неотъемлемую принадлежность председателя, как голова у другого человека, и он изо всей фигуры старика прежде всего бросался в глаза. Я тоже прежде всего увидел этот крест на красной ленте и потом уже только приметил большую детскую голову с выдавшимся вперед лбом, с седыми, жидкими, как у новорожденного, волосами, ввалившимися потухшими глазами, сидевшую на маленьком худощавом туловище. Шрам ходил нетвердо, точно сгибаясь под тяжестью своего блестящего креста, говорил пискливым голосом и всеми своими манерами много напоминал серьезного ребенка, страдающего аглицкой болезнью. У этого дряхлого старика, который мог, казалось, упасть от порыва ветра, была молодая жена, высокая, красивая и важная, как царица. У них был сын, красивый и стройный мальчик с ловкими, плавными манерами, которого я полюбил с первого взгляда. Он был годом старше Андрея, учился уже в гимназии и носил щегольской гимназический сюртук с низеньким красным воротником (в то время воротники отличались еще безобразной высотой); к нему очень шел этот сюртук, хорошо обрисовывавший его гибкую талию и делавший его похожим на взрослого офицера.

Он встретил меня какой-то французской фразой, и я должен был покраснеть от стыда.

— Я не говорю по-французски,— с усилием проговорил я.

— Это ничего,— сказал он с покровительственной ласковостью.— Пойдемте со мной к Альбину Игнатьичу — это мой гувернер,— мы теперь щиплем корпию. Вы нам поможете.

Эти слова столько же относились ко мне, сколько к Андрею, который глядел что-то очень мрачно. Мы вошли в следующую комнату, где перед подносом с корпией сидел Альбин Игнатьевич и длинными белыми пальцами с большим неуменьем, но с отменной элегант-

ностью дергал нитку за ниткой. Это был жантильный[1], чувствительный и милый полячок, вечно улыбавшийся или приходивший в восторг. Поздоровавшись с нами, он вынул из стоявшей под столом корзины целый ворох маленьких тряпочек и разделил их между мной и Андреем.

— Я не умею щипать корпию. Я не буду,— сказал Андрей.

Альбин Игнатьевич пришел в ужас и широко раскрыл глаза.

— Вы знаете ли, что эта корпия пойдет на войну? — важно спросил он, кажется, с полной уверенностью уничтожить в прах этим вопросом своего противника.

— А мне что за дело! — равнодушно ответил Андрей.

— Странно! Ты хочешь поступить в военную службу и не хочешь щипать корпии,— сказал я.

— Это нехорошо! нехорошо! — с большой уверенностью подтвердил Альбин Игнатьевич.

— Я не затем сюда приехал, чтобы щипать корпию,— грубо сказал Андрей и вышел из комнаты.

— Где получил воспитание этот мальчик? — громко спросил Альбин Игнатьевич вслед уходившему брату.

Володя (имя молодого Шрама) сказал ему какую-то французскую фразу, и Альбин Игнатьевич пришел в ужас. Мне показалось, что дело шло именно о моем невежестве во французском языке, и я смутился. Альбин Игнатьевич и Володя хотя имели большую претензию на воспитание, но начали бесцеремонно поддразнивать меня своими секретами, затянув беглый разговор на языке, которого я не понимал, и я решительно очутился в положении человека, сидящего на угольях. На меня напало какое-то уничижение, и мне казалось, что нет никого на свете несчастнее меня; я был так глуп, так неловок в сравнении с этими людьми, свободно болтающими по-французски. У меня вертелась в мыслях недавно произнесенная мной фраза: «Странно, ты хочешь поступить в военную службу и не хочешь щипать корпии», и чем дальше, тем нелепее казалась мне эта фраза. Я разбирал ее по ниточке и выходил из себя от

---

[1] Жантильный — жеманный, кокетливый (от франц. *gentil* — миловидный).

досады, что в моем выражении все от начала и до конца бессмыслица. «Странно! — думал я,— ничего нет странного, что человек, желающий поступить в военную службу, не желает щипать корпии. Разве все военные щиплют корпию? Какое имеет отношение военная служба к корпии?» Все эти размышления наводили меня на тяжелую мысль, что я глуп, глуп, непроходимо глуп, и я готов был заплакать от сознания своего ничтожества. Пальцы мои двигались неловко; я решительно убеждался, что совершаю величайшее неприличие уже тем, что дышу. Наконец меня вывели из этого томительного положения громкие, безобразные звуки фортепьяно; я встрепенулся и подумал, что Андрей, пожалуй, еще глупее меня, судя по тому, что дурачится до такой степени в совершенно незнакомом доме. Я ни на минуту не сомневался, что безобразие принадлежало брату. Заслышав гром фортепьяно, Альбин Игнатьевич пришел в ужас и вскочил с места. Мы все отправились в залу, где и застали Андрея на месте преступления, около открытого фортепьяно. В дверях стояла Катерина Григорьевна в голубом шелковом платье, с выпущенной часовой цепочкой, точно собравшаяся в гости.

— Вы совсем испортите фортепьяно,— сказала она, вытягивая в нос *пьяно*. При высоком росте и театральных манерах она очень походила на важную принцессу из какой-нибудь мелодрамы.

— Ай, ай, ай! — ужаснулся Альбин Игнатьевич и замотал головой.

— Я только попробовал,— пробормотал Андрей. Он покраснел и с неловкой торопливостью закрывал рояль.

— Какой он музыкант! — рассмеялся Володя.

— Что вы там делаете, Альбин Игнатьевич? — тонно спросила Катерина Григорьевна.

— Мы щипали корпию.

— Пусть дети пройдутся перед обедом по саду.

Альбин Игнатьевич подобострастно поклонился и повел нас в сад.

Проходя через небольшую комнату, кажется буфетную, в которой были сложены наши вещи, я увидел Семена; он сидел на чемоданах и тупо смотрел в окно.

— Что это за мальчик с вами? казачок? — спросил Володя.

— Нет,— в смущении отвечал я.

— Что ты тут сидишь? Пойдем с нами,— сказал Андрей, потянув Новицкого за руку.

— Нет,— с дрожью в голосе ответил он, не понимая, что говорит. Одна капля — и обиженный всеми мальчик зарыдал бы. Но Андрей потащил его за собой, и Новицкий, не сопротивляясь, пошел с ним рядом.

Сад, сравнительно с нашей деревенской рощей, был дрянной и жидкий, хотя дорожки были тщательно усыпаны, а скамейки выкрашены свежей зеленой краской. Там была качель и бильбоке. Андрей пригласил Новицкого играть, с тем что тот, кто проиграет, должен провезти своего счастливого соперника на закукорках. Семен вовсе не умел играть, и, ко всеобщему смеху, Андрей начал ездить на нем раз за разом. Даже Альбин Игнатьевич, заметивший было, что подобная игра несколько непристойна, начал смеяться вместе с нами. Не смеялся только Новицкий; он натянуто улыбался, но по всему было видно, что состояние его духа далеко не спокойно. Андрей, ничего не замечая, очень весело заскакивал ему на плечи и с гиканьем и шутками проезжал несколько шагов. Но вдруг Новицкий как-то нечаянно попал кольцом на крючок, и роли переменились.

— Довольно, довольно,— сказал Альбин Игнатьевич, так как зрелище переставало быть смешным и начинало надоедать ему.

— Ну, садись,— печально проговорил Андрей, подготовляя спину.

— Ну, ладно! — стыдливо проговорил Новицкий, приготовляясь оседлать Андрея.

— Послушай, мальчик! Не смей! не надо этого! — закричал Альбин Игнатьевич.

— Я не сяду.

— Ну, что же! Садись! — понукал Андрей.

— Нет! Что! — отходя назад, проговорил Новицкий, и слезы потекли у него сами собой; это было так неожиданно, что даже Альбин Игнатьевич смутился и уронил на песок только что закуренную сигару.

— Чего он плачет? — удивился Володя. В словах его слышался презрительный оттенок.

— Пойдемте домой,— брюзгливо скомандовал Альбин Игнатьевич.

— Послушай, я тебя люблю. Хочешь, я подарю тебе свой пистолет? — ласковым шепотом говорил Андрей,

идя рядом с Новицким, который мало-помалу, кажется, успокаивался.

Пистолет был драгоценнейшей вещью Андрея, и я не мог не подивиться великодушию брата. Новицкий, однако ж, не обольщался этим подарком и, хотя перестал плакать, но не мог развеселиться, что очень печалило Андрея. Чтобы как-нибудь покончить с тоской своего приятеля, брат отправился к отцу, спросил денег и купил такое множество яблоков, которым могли бы десять человек заесть какое угодно горе. Новицкий, однако ж, не заел своего горя и яблоками. Он, к досаде Андрея, смотрел по-прежнему печально и не улыбался даже, неловко прощаясь с нами и уходя с каким-то дьяконом.

В тот же день отец отвез Андрея в корпус, а назавтра мы отправились с ним к директору гимназии, который в десять минут проэкзаменовал меня и нашел, что я могу поступить в третий класс. Он погладил меня по голове и спросил, здоров ли я.

— Его не надо много утомлять: у него такое слабое сложение,— сказал директор,— пусть лучше поступит во второй класс, там ему будет легче.

— Все равно, хоть во второй,— согласился отец.

После обеда, когда отец улегся в отведенной ему комнате, я хотел было выйти, чтобы не мешать ему заснуть, но он остановил меня.

— Как ты хочешь — остаться здесь, у баронов, или отдать тебя в пансион? — спросил он.— Там много мальчиков, тебе будет веселее.

— Лучше в пансион,— сказал я, краснея при мысли о своем жалком положении в обществе благовоспитанных, галантных баронов.

— И лучше,— подтвердил отец.— У этих баронов есть свои фантазии. Они мед едят шилом. Ты не видал?

— Нет, не видал.

— Ну вот, а они думают, что ложкой — неделикатно, и едят шилом.

Отец засмеялся и шутя ударил меня по спине, чтобы я шел.

На другой день он дал мне десять рублей, сказав, что будет посылать мне каждый месяц столько же, и отвез меня в пансион.

IV

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ОВЕРИНЫМ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ УДАЛИТЬСЯ В ПУСТЫНЮ

Я поступил в гимназию во время Крымской войны, когда в народе ходили какие-то неясные слухи о том, что три великана — француз, турок и англичанин — колотят четвертого — русского, но большинству до этого было мало очень дела. Образованное меньшинство знало, что

... в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...—

но очень немногие выписывали «Художественный листок» Тимма[1] с портретами русских генералов и щипали корпию, сдавая ее в канцелярию губернатора, где она и шла на набивку подушек, вытирание перьев, растопку печей и другие местные потребности. Самые образованные сгоняли охотников в ополчение и хвалили мужество и патриотизм русского мужика. Ополченцам устраивали пиршества и, провожая их, угощали водкой, пирогами и патриотическими стихотворениями местных поэтов, вдохновленных надеждой на прибавку жалованья. Ополченцы, давясь пирогами, кричали «ура!»; зрители, ковыряя пальцами в носу, отвечали им тем же, и в газетах появлялась корреспонденция с красноречивым описанием восторгов. Вообще войной интересовались очень мало, а я только мельком слышал об ней от отца.

В это-то время я поступил в гимназию.

Кому случалось когда-нибудь осматривать большой, только что отделанный дом, тот, вероятно, путаясь по свежевыбеленным, незнакомым, пустым комнатам, чувствовал в себе какую-то пустоту и недостаток уверенности. Когда я вошел в пансион и почуял запах известки, я точно вошел в пустой незнакомый дом, и мне стало неловко. С тех пор запах известки всегда напоминает

---

[1] Тимм Василий Федорович (1820—1895) — рисовальщик-баталист, с 1851 по 1862 год издавал «Русский художественный листок».

мне день моего поступления в гимназию. Едва ли в жизни я чувствовал когда-нибудь себя столь беспомощным и слабым, как тогда.

Прежде всего мучения мои начались тем, что меня обступила шумная толпа незнакомых бойких мальчиков, которые закидали меня вопросами о том, откуда я, сколько мне лет, кто мой отец и проч.

— А ты видал Москву? — дерзко спросил меня парень лет шестнадцати, размашисто подходя ко мне.

— Покажи ему, Сколков, Москву!

— Видал Москву?

— Нет, не видал,— смущенно отвечал я.

— Ну, так я тебе покажу.

Он зашел сзади меня, схватил за волосы на висках и дернул кверху так сильно, что мне показалось, будто кожа отдирается от черепа. Я хотел было закричать, но в это время все вокруг меня засуетились.

— Яков Степаныч идет! Яков Степаныч! — зашумели вокруг меня с радостью сильно проголодавшихся людей, извещающих друг друга: «Обед несут! обед несут!»

— Это самый лучший учитель,— отрекомендовал мне кто-то налету.

Все бросились к скамейкам и уселись за парты. Я не поспел за другими и очутился на первой скамье с краю.

Вошел учитель довольно высокого роста, в синем фраке, с волосами, прилизанными вперед к глазам, точно заслонки у пугливой лошади. Все радостно вскочили на ноги при его появлении; он поклонился, медленно понюхал табаку, крякнул, сказал: «Ну-с» — и подошел к первой парте.

— Яков Степаныч, у нас есть новичок,— сказал кто-то.

— Где? Молодец! — ласково сказал Яков Степаныч, погладив меня по голове своей широкой ладонью.— Homo novus, новый человек, собственно. Садись. Так называли в Риме выскочек. Вот, например, Марий[1]. Он был простой плебей; был необыкновенно ловок: Тибр переплывал в семьдесят лет. Тибр! А лорд Байрон Гел-

---

[1] Марий Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель.

леспонт переплывал. Англичанин хитер — обезьяну выдумал...

— Го, го, го! — раздалось по всему классу. Учитель уперся в бока и тоже захохотал.

— Но Байрон был молод, а ведь Марий старик — старик семидесяти лет! Впрочем, пословица говорит: молод, да протух, стар, да петух...

Весь класс опять захохотал громким, неестественным смехом. Дело в том, что Яков Степаныч считал себя большим юмористом, и ученики нарочно поощряли его своим хохотом к рассказыванию анекдотов для того, чтобы отвлечь от спрашивания уроков.

— Знаете басню Крылова «Старик и трое молодых»? — продолжал Яков Степаныч на тему о старости.

— Вот, Яков Степаныч,— выскочил кто-то, подавая учителю книгу.

— Да! вот она!

Началось чтение басни. Яков Степаныч читал очень недурно, и ему приходилось несколько раз останавливаться, чтобы успокоить бестолковый смех, расточавшийся с нашей стороны уж чересчур щедро ввиду того, чтобы отвлечь внимание Якова Степаныча от задних скамеек, где под шумок составлялась партия в носки, в чет и нечет или орлянку. Вслед за первой басней Яков Степаныч прочел вторую, в которой старик, неся вязанку дров, призывал смерть, а когда она пришла, пригласил ее помочь донести вязанку. В этом месте класс хохотал минуты две. Воздух дрожал, и казалось, грохот смеха никогда не прекратится.

— Да, остроумный ответ,— сказал Яков Степаныч, когда все немного поуспокоилось.— Вот тоже мне очень нравится остроумный ответ Суворову. Суворов терпеть не мог немогузнаек...

И «остроумные ответы» полились в три ручья. От Суворова Яков Степаныч перешел к значению шуток вообще и, сказав несколько слов об аттической соли[1], заговорил о значении шутов в разные времена, откуда уже перешел к остроумным мистификациям. Звонок прервал его на самом интересном месте какой-то повести, где два любовника, преследуемые ревнивым мужем, решились умереть и приняли вместо яда слабительное.

---

[1] Аттическая соль — утонченное остроумие, изящная шутка.

— К следующему разу приготовьте следующий параграф,— проговорил Яков Степаныч, выходя из класса среди всеобщего шума. Он всегда так преподавал немецкий язык в младших классах, а в старших классах — словесность, и ученики не могли им нахвалиться.

Во время шума, гама и пыли, всегда наполняющих маленький промежуток времени между уходом одного учителя и приходом другого, ко мне подошел тот довольно взрослый, неуклюжий парень, который показывал мне Москву.

— Ты ел кокосы? — спросил он, схватив меня за плечо.

— Нет — и не хочу,— решительно отвечал я.

— Нет, ты попробуй. Вот сейчас придет учитель, Федор Митрич, он добрый; постоянно с собой кокосы носит, ты у него попроси.

— Нет, я не хочу,— повторил я.

— Шш!

Все бросились на свои места. В класс вошел, слегка прихрамывая на левую ногу, высокий черноволосый учитель, со ртом, искосившимся набок от паралича. В костюме его было заметно большое неряшество; волосы не причесаны, сапоги не чищены, рубашка грязная. Это был Федор Митрич, учитель географии. Он доковылял до стула, тяжело сел на него и, подперши голову локтями, начал смотреть в окно. В классе царствовала грозная тишина.

— Федор Митрич, вот новенький есть,— почтительно доложил Сколков, показывавший мне Москву.

— А-а!

— Он хочет попробовать кокосов.

— Новичок? где он? Поди-ко сюда,— проговорил Федор Митрич тем коварным тоном, каким произносит актер: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина».

Я встал и подошел к учительскому столу. Федор Митрич молча, внимательно начал осматривать меня.

— Повернись! Экой птичий хвост! — вскричал он, изо всей силы дернув меня сзади за фалду фрачка, так что я невольно всем корпусом подался назад.— Дворянчик! На конфектах воспитан! Что ж ты, щенок? повертывайся! — вдруг яростно крикнул Федор Митрич, точно я наступил ему на мозоль.

Я повернулся к нему лицом.

— Ел кокосы?

— Нет.

— Хочешь попробовать?

— Нет, покорно вас благодарю,— со слезами на глазах проговорил я.

— Нет, ты попробуй. Повернись.

Слезы у меня потекли по щекам. Я повернулся.

— Раз!

Федор Митрич ударил меня казанками кулака по голове, в темя. Слезы поплыли по моим щекам еще ниже.

«Господи! За что бьет меня этот человек! Некому за меня заступиться»,— жалобно подсказало мне мое сознание.

— Два!

Раздался второй, третий удар, и я заплакал уже навзрыд, совершенно забывши, где я нахожусь.

— Это что еще за нежности! — крикнул Федор Митрич.— Вот я тебя попробую прежде, голубчика, что ты такое знаешь. Чему тебя учили там, в твоих родовых поместьях-то?

— Я учился...— начал было я, но слезы душили меня.

— Какой главный город в Персии?

Я начал отвечать. Оказалось, что я знал даже больше, чем требовалось для моего класса.

— Так, так! — сердито подтверждал мои ответы Федор Митрич.— Выдрессировали! Ай-да батюшкин сынок! Садись на место.

После этого началось спрашивание уроков; Федор Митрич с молчаливой угрюмостью слушал ответы и ставил в журнале нули.

После него к нам явился какой-то обрюзгший толстяк, одетый еще неприличнее Федора Митрича. Одна нога, обернутая грязной онучей, болталась у него в каком-то не то в галоше, не то в опорке. Он грузно хромал, почти подпрыгивая на каждом шагу.

— Ну, читай ты, Малинин,— гнусяво проговорил он.

Малинин начал монотонно читать басни Крылова. Толстяк (учитель русского языка Иван Капитоныч) сел к столу, прилег головой на руки и сладко задремал вплоть до звонка. На задней скамейке Сколков выиграл у кого-то шестьсот носов и спокойно получал свой выигрыш, громко отбивая носы к великой потехе всего класса.

На последнем уроке не было учителя, и за порядком наблюдал старший ученик Малинин. Он вышел к классной доске, написал на ней: *Шалили,* поставил двоеточие и остановился середи класса с мелом в руках, отыскивая глазами нарушителя тишины и порядка, которого бы можно было занести в первую голову под рубрику *Шалили.* В классе поднялся шум, в Малинина начали бросать жеваной бумагой, корками хлеба и кусочками штукатурки, а с заднего стола вылетела даже немецкая грамматика. Но отважный мальчик был так тверд при исполнении своих обязанностей, что его нисколько не поколебала и немецкая грамматика: он под градом хлебных корок и бумажных шариков неусыпно заносил на доску одну за другой фамилии шалунов, делая это с таким спокойствием, как будто говорил сам себе: «Ладно, ладно! кидайте покуда сколько хотите; через четверть часа вас всех перевесят».

Ко мне столько приставали перед обедом с разными глупостями, вроде уверений, что новичок должен, выходя из-за стола, целовать руку у надзирателя, или из скромности ничего не есть за обедом,— и так надоели, что я очень обрадовался, получив возможность уйти в сад и уединиться хоть на несколько минут. Я сел на траву и с горечью начал думать о своем положении. Мне казалось, что сегодняшние мучения будут повторяться каждый день, и я скоро разжалобился до совершенной безутешности. Мне припомнилась деревенская свобода и покой; я начал плакать и дразнить себя жалкими картинами, чтобы вылить с слезами как можно больше своей печали.

Когда я достаточно наплакался и поднял глаза, подле меня уже задумчиво сидел нелюдимый мальчик, перепачканный в мелу и чернилах, которого я в течение дня успел заметить в толпе окружавших меня учеников. Он ни с кем не говорил, смотрел на всех какими-то дикими глазами и держался в стороне, как зверек, потерявший свободу. Я сразу понял, что он мучится так же, как я, и что мы не должны быть чужды друг другу. Однако ж я не хотел или не знал, с чего начать разговор, и дожидался, когда он заговорит.

— Вы не плачьте,— сказал он мне, видя, что я успокоился и смотрю на него.— Следует надеяться на бога. Он говорит: «Приидите ко мне все плачущие, и аз успо-

кою вы». Если вам хочется плакать, вы помолитесь богу. Вы любите бога?

— Люблю,— ответил я, так как мой собеседник остановился, дожидаясь от меня ответа.

— Как ваша фамилия?

— Негорев. А ваша? — спросил я, вынув платок и вытирая последние слезы.

— Оверин. Хотите вы быть угодными богу? Кто плачет, тому легко угодить богу, а кто веселится, тот забывает о боге. Хотите вы быть угодным богу?

— Хочу,— ответил я, не понимая, к чему клонятся его напряженные, серьезные вопросы.

— Если вы хотите, мы сделаем вот что...

Оверин подвинулся и заговорил, глядя в землю:

— Здесь есть один мальчик — Малинин, я говорил с ним об этом, но он не хочет. Пусть они остаются здесь, а мы уйдем.

— Куда?

— Читали вы жизнь старца Серафима? Я думаю уйти сначала куда-нибудь в лес, хоть не так далеко. Мы возьмем с собой две лопаты, топор и немного хлеба — это будет не тяжело нести. Где-нибудь в бору найдем такое удобное место, недалеко от реки, чтобы нам было что пить. Нужно только, чтобы к этому месту никто не мог пройти, чтобы его никто не знал. Бывают такие места, я сам видел, что кругом растут сплошь, одна подле другой, сосны, как частокол; из-за ветвей вверх ничего не видно, а в середине площадка, и от темноты на ней даже травы не растет. Вот на такой площадке мы выкопаем глубокую яму, так, чтобы в ней могло поместиться две маленькие комнаты. По краям ямы вставим заборы, чтобы земля не осыпалась, а в середине собьем русскую печь из глины,— знаете, какие бывают в деревнях? Верх мы закроем бревнами — их будем рубить подальше, чтобы не заметили, что мы тут живем. Сверх бревен насыплем землю, так что если кто и будет проходить мимо, то не узнает, что под ногами у него живут люди. У нас будут две комнатки, и постоянно будет гореть лампадка перед образом — от нее только будет свет. Когда мы будем выходить за пищей, то будем заваливать вход, чтобы никто не узнал. Мы будем молиться, есть же — как можно меньше, а спать на голых досках. Пройдет десять — двадцать лет, мы сделаемся стариками и будем угодны

богу так, что нам будут поклоняться медведи и дикие звери. Наконец кто-нибудь из нас умрет первым... Вам сколько лет?

— Двенадцать.

— Мне тринадцать: я умру прежде. Вы похороните меня и будете с радостью ждать смерти, а я о вас буду молиться в раю. Тело мое там сделается как из воску и будет прозрачно — и ваше тоже. Мы будем святыми — у нас будут белые, как снег, одежды. Мы будем жить вечно и никогда не умрем...

Оверин помолчал.

— Бабушка хотела отдать меня в монахи,— с сосредоточенной серьезностью заговорил он опять,— и я все хотел, да она умерла, и тетка отдала меня сюда. Но я теперь и сам не хочу быть монахом, я хочу быть один в пустыне, много-много вдвоем, да и то потому, что одному не устроить землянки. Там будет хорошо и спокойно молиться! Тишина, никого нет кругом — образ, лампада и евангелие. Я и здесь молюсь в душе каждую минуту, но тут мешают. Нужно готовить уроки. Бог велит свято исполнять все, что требуют. Но когда я уйду отсюда в пустыню, там никто не будет мешать. Мы будем не переставая молиться. У меня теперь много грехов, и я долго буду выполнять эпитимию. За каждый грех я считаю три дня поста, стоя на коленях и не поднимаясь. Мне нужно простоять на коленях несколько лет и я буду стоять на камне до тех пор, пока на нем не сделаются ямы от моих колен. Нужно как можно умерщвлять свою плоть. Если я не ем теперь за грехи целый день, меня вечером так начинает искушать дьявол, что я не могу заснуть. Когда мы будем святыми, нас он не будет искушать.

Я не знал, что ему ответить на это удивительное предложение, и, когда он замолчал, я, не говоря ни слова, продолжал смотреть на рубашку, высунувшуюся из-под курточки Оверина.

— Вы пойдете со мной? — спросил он наконец меня.

— Не знаю,— сказал я. Мне не хотелось огорчить отказом новоприобретенного друга, а обмануть его своим обещанием было совестно.

— Если вы хотите спасти свою душу, тут нечего не знать. Пойдемте...

Но тут разговор наш был прерван.

— Новичок! Иди-ко сюда,— позвал меня Сколков,

показывавший мне Москву.— Иди, ей-богу ничего не будет. Нужно поговорить...

Я нерешительно пошел к нему. Он положил мне руку на плечо и повел меня, конфиденциально наклонивши голову к моему уху.

— Нет ли у тебя пятнадцати копеек? Я завтра отдам,— сказал он.

— Я вам дам, пожалуй, тридцать, только вы не будете бить и мучить меня? — нерешительно сказал я.

— Вот ей-богу! Это я так... Ей-богу, больше не буду. Пойдем с нами играть; что с этим сумасшедшим говорить!

— Нет, я хочу с ним посидеть...

— Ну, сиди, а только смотри — он тут немного помешавшись...

— Как?

— Так. Он сам себя голодом морит. Дурак!

Я дал Сколкову рублевую бумажку; он поклялся, что принесет мне сдачи, и пошел было, но опять воротился.

— Нельзя ли уж взять сорок? — ласково улыбаясь, спросил он.— Ты извини, я, ей-богу, это так... А теперь если тебя кто посмеет тронуть, я всю рожу разобью.

Я позволил ему взять сорок копеек и пошел к Оверину в сад, куда через минуту Сколков действительно принес шесть гривен сдачи и поклялся еще раз тридцать, что будет защищать меня. Оверин задумчиво лежал на скамейке, подложив руки под голову. При моем появлении он немного приподнялся и опять спросил меня, согласен ли я.

— Что же мы будем есть в лесу? — спросил я, уклоняясь от решительного ответа.

— Мы будем немного есть Будем есть хлеб.

— Где же мы его будем доставать?

— Бог пошлет нам.

— Нет, я не хочу. Вы идите одни.

Произнося эту фразу, я очень смутился Оверин ничего не отвечал; он как будто не слышал моего ответа. Я постоял, постоял несколько времени, мне стало неловко, и я ушел.

Сколков сдержал свое слово, и за сорок копеек я приобрел себе достаточно прочное спокойствие, но мне еще пришлось довольно долго скучать, пока я ознакомился и освоился с новой жизнью, где казенная неуютная пусто-

та веяла на меня каким-то холодом, и я никак не мог свыкнуться с вставаньями по звонку, путешествиями фронтом на молитву, которую пели все сообща, завтраками, обедами и сном по команде. В первое время скука еще увеличивалась тем, что я не мог ни с кем сказать слова. Оверин все был задумчив, и разговоры с ним были немыслимы. На мои вопросы он широко раскрывал свои большие глаза и, точно пробужденный от сна, начинал смотреть на меня в упор вопрошающим взглядом.

— А! Это вы! — произносил он, по-видимому, в крайнем удивлении и отходил от меня.

В этом скучном одиночестве я вспомнил про Володю Шрама и во время перемены отыскал его.

— Как вы поживаете? — спросил он меня довольно небрежно.

— Так, ничего,— неопределенно отвечал я.

— Там у вас есть ужасные мужланы, вы лучше держите себя подальше от них, не связывайтесь с ними,— проговорил он, уходя от меня в свой класс.

Надо заметить, что в пансионе жило очень немного платящих воспитанников, таких, как я; прочие состояли на иждивении казны. Все это были, конечно, бедняки, и инспектор считал очень деликатным напоминать им при всяком удобном случае, что они даром едят казенный хлеб Между своекоштными, приходящими учениками, казеннокоштные запросто назывались «казной пузатой», и к числу этой «казны пузатой» относили и пансионеров, платящих деньги, так как по наружности они ничем не отличались от казеннокоштных, а справляться в канцелярии о том, кто платит и кто не платит, никто, конечно, не желал. Вообще с живущих в пансионе инспектор взыскивал гораздо строже, и «казна пузатая» пользовалась в гимназии дурной репутацией. По этой, вероятно, причине над ней было значительно больше начальников, чем над своекоштными. Кроме учителей, инспектора и директора, поровших розгами в классах, в самом пансионе было еще много начальства, заботящегося о нашем благе до того, что вздохнуть было нельзя. Наш пансион, как все заведения того времени, подчиняясь военной субординации, был разделен на две половины — на старших и младших Старшие жили в особой старшей спальне, из которой они почти никогда не выходили, тогда как младших в течение дня вовсе не пускали в свой

дортуар. Старшим дозволялось напиваться пьяными, играть в карты, курить табак и проч. Во время обедов и ужинов они садились по краям столов и разливали кушанье, снимая в свои тарелки жир со щей, отбирая себе лучшие куски говядины, пирогов и проч. Старший имел право оставлять младших без обеда, рвать за уши, ставить на колена; младший должен был повиноваться, утешая себя мыслью сделаться впоследствии старшим и в свою очередь оставлять других без обеда, рвать уши, ставить на колена. Товарищество в старшей спальне было развито до последней степени — старшие крепко стояли друг за друга, и даже сам инспектор их не шутя побаивался. О подвигах старших ходили самые невероятные легенды. Один из них разбил когда-то полицейский разъезд, другой украл ризу с образа, третий поджег гимназию и проч. Всем этим чудесам верить, впрочем, было нетрудно. Между старшими находились малые лет тридцати и больше. При мне учился в шестом классе некто Чебоксаров, тридцати трех лет. В прежнее время очень редко исключали казенных воспитанников, и потому не удивительно, что, сидя в одном классе по три и четыре года, многие оставались в гимназии почти до сорокалетнего возраста. Младшие находились в рабском повиновении воле старших, и даже Сколков, которому было лет под двадцать, непрекословно становился на колени по первому приказу какого-нибудь мальчишки-старшего, упавшего бы замертво от одного сколковского щелчка. Каждый младший считал за великую честь, если старший удостоивал его своим вниманием, съедая его булку или занимая у него деньги, само собой разумеется без отдачи. Зато, как только младший переходил из четвертого в пятый класс, он начинал пользоваться этими же правами и мог с лихвой получить то, что давал. Он делался настоящим извергом, сладострастно моря на коленях по нескольку часов мальчиков, всего несколько месяцев назад бывших его товарищами, а может быть, и друзьями. Какова бы ни была дружба, она прекращалась, если один из друзей оставался в четвертом классе, а другой переходил в пятый и получал право заморить своего друга на коленях. Старших мы боялись больше, чем надзирателей, хотя последние могли, в случае крайней надобности, сечь розгами строптивых и непокорных.

У нас было два надзирателя, которые дежурили по

очереди. Один из них был добрый старик, вечно читавший романы, лежа в спальне на своей кровати (надзиратели жили в младшей спальне), ни во что не мешавшийся и ни разу, сколько я помню, не воспользовавшийся своим правом наказывать розгами. Другой надзиратель, высокий, худой, чахоточный, напротив, не имел часу спокойного: все ходил и наблюдал за порядками.

— Куда ты бежишь? — кричал он в одном месте, заметив ученика, очень скоро идущего по коридору.

— Зачем ты грызешь ногти?

— Умой руки — у тебя все руки в чернилах.

— Ты никогда не чешешь волос — тебе нужно обстричься.

— Зачем ты болтаешь ногами под скамейкой? — бдительно барабанил во всех углах Адам Ильич. Но если случалась какая-нибудь жалоба со стороны одного ученика на другого, Адам Ильич положительно торжествовал. Он, как опытный юрист, рассматривал дело с сих и этих сторон и, не торопясь, после должного и всестороннего обсуждения, постановлял решение.

— Ты говоришь, что он затрогивал тебя. Положим, что он затрогивал тебя. Как он тебя затрогивал? — спрашивал Адам Ильич.

— Он тыкал меня стальным пером.

— Хорошо-с. Положим, и тыкал, но из этого вовсе не следует, чтобы ты должен был набрать в брызгалку чернил и брызнуть ему прямо в лицо. Ты брызнул в него? да?

— Он сам хотел в меня брызнуть.

— Зачем же ты не сказал об этом мне, а сам распорядился брызнуть?

— Я его вовсе не трогал. Он подошел к моему столу и брызнул в меня из брызгалки чернилами,— говорит истец.

— Он лжет, Адам Ильич: и брызгалка не моя, а его.

— Положим...— начинал опять Адам Ильич.

Разбирательство продолжалось, и только после часовых прений Адам Ильич наконец постановлял решение: того, кто обрызган чернилами, ввиду того, что он тыкал товарища стальными перьями, оставить без булки, а обрызгавшего, за самоуправство, оставить без обеда.

Очень понятно, что Адама Ильича не очень-то уважали воспитанники. За свою плавную методическую по-

ходку, с головой, поднятой кверху, на длинной жилистой шее, он получил прозвание Гуся. Всякая неприличная шутка, всякая пакость против Гуся заслуживала полное одобрение, и имя одного ученика, успевшего пришить сонного Гуся к простыне, с большим уважением передавалось потомству, хотя доблестный шалун уже давно служил солдатом в каком-то гарнизонном батальоне. Если Адам Ильич по оплошности оставлял свою шляпу на конторке, можно было с уверенностью сказать, что она в его отсутствие будет измята; если он уходил из столовой, не заперев в ящик какой-нибудь свой рисунок (Адам Ильич занимался «вольным художеством», как объяснял сам), по возвращении всегда находил среди какого-нибудь начатого эскиза борзо напачканную фигуру гуся. В карманы его пальто клали всякую дрянь, прибивали его калоши гвоздями, выливали под одеяло, на простыню, по нескольку чернильниц, выбрасывали за окошко его цветные карандаши и проч. и проч. Все его ненавидели. Говоря «все», я здесь разумею учеников младших классов. Со старшими Адам Ильич, вообще очень подхалюзистый, хорошо умел ладить, глядя сквозь пальцы на попойки и другие ночные проказы своих взрослых питомцев.

Терпя преследование старших и надзирателей, мы не меньше своекоштных подвергались всем ужасам капризов пьяных учителей и в этом случае являли собой подобие волов, с которых сдирали по нескольку шкур. Собственно, учителей у нас не было, а были унтер-офицеры, наблюдавшие за порядком обучения, которым льстили слишком много, называя их учителями. Лекция обыкновенно состояла из спрашиванья уроков, и только во время звонка учитель поспешно говорил: «До двадцать девятого параграфа!» или «До слов: *Регул возвратился в Карфаген и принял мучительную смерть*». Большая часть учителей требовали вытверживания уроков слово в слово: «Лучше книги не скажешь. Востоков — академик, а ты кто такой?»

При малейшем неудовольствии учителя секли иногда через человека весь класс. Сверх учителей был еще инспектор, который имел какую-то роковую страсть драть людей розгами.

— Пойдем, голубчик, пойдем, миленький,— говорил он, таща ученика в сторожку.

— Поди, голубчик, в спальню, полно плакать — отдохни. Это ничего, ничего,— ласково успокаивал он ученика, который со слезами на глазах застегивал пуговицы курточки.

Наказывая розгами по двадцати человек в день, инспектор был все-таки либералом и наивно сообщал нам такие вещи, за которые мог бы дорого поплатиться. Иногда он приходил в какой-то пафос.

— Сколков, *ты* — дурак,— вдохновенно говорил он.— Как *ты* позволяешь мне говорить *ты?* Ведь *ты* мог бы меня избить за это *ты!*

Сверх инспектора, который порол, так сказать, для собственного удовольствия, порол еще директор, и порол, как кажется, с государственной целью; по крайней мере, задравши до полусмерти мальчика, он сохранял спокойный вид человека, исполнившего свою обязанность. Он наказывал редко, но жестоко; месячных отметок все боялись до последней степени. Обыкновенно в первых числах каждого месяца директор совершал по всем классам парадное шествие с месячными отметками и производил большую экзекуцию. Это было чистое нашествие Аттилы, бича божьего, и производило панический страх. В ожидании первого числа все начинали ластиться к Жичинскому — сторожу и палачу, стараясь укротить его свирепость посильными приношениями на косушку или даже на целый полуштоф. Эти подкупы и этот страх были вполне естественны, так как мальчикам моих лет давали по сту и по двести розог, нередко унося несчастных после экзекуции на простынях в совершенно бесчувственном состоянии. Но все грозы этих жестоких экзекуций не заставляли лентяев быть прилежными; напротив, не учиться было молодечеством, и многие гордились своим невежеством, купив его ценой нескольких тысяч розог. Каждый новичок с мало-мальски упрямым характером увлекался общей ненавистью к начальству и переставал учиться и кричать под розгами, чтобы вызвать похвалу и удивление товарищей.

Я был как-то малообщителен в детстве, и товарищество не имело на меня никакого влияния. Я сразу сделался отличным учеником, приготовляя самым аккуратным образом уроки и удаляясь как можно дальше от всяких скандалов. Зависть к Володе заставила меня заняться французским языком, и я зубрил Марго без вся-

кого милосердия. По случайности мой стол в пансионе был подле стола Оверина, и это соседство очень мешало моим упражнениям в изучении французского языка. Оверин, скоро убедившись, что можно быть угодным богу и не удаляясь в пустыню, пристрастился к рисованию и рисовал чернильницы, книги, перья и другие учебные принадлежности, по нескольку часов не вставая с места. Около его стола часто собиралась толпа мальчиков, которые начинали дразнить его, называя именем местного юродивого — Кузьмы Кузьмича. Они плясали перед ним, высовывали ему языки, дергали его за курточку и доводили до того, что он принужден был бросать в них книгами и чернильницами, выставленными как модели для рисования. Несмотря на эти насмешки и преследования, Оверина, впрочем, все очень берегли. На него никто не смел жаловаться, и, когда его дразнили, он колотил шутников совершенно безнаказанно, не встречая от них сопротивления. Попросить у него булки считалось величайшим срамом. Он отдавал обыкновенно половину булки первому попросившему, а если находился другой проситель, то Оверин оставался голодным. Другие, имевшие возможность покупать булки, умели удовлетворять несколько просителей, отщипывая им по такой порции, перед которой человек затруднялся — съесть ее или вынюхать. Оверин как-то не мог освоиться с этим, да и вообще с пансионской жизнью, и впоследствии вышел из пансиона с теми же причудами, с какими пришел...

. . . .

V

МЫ ДЕЛАЕМ С БРАТОМ В ОДИН ДЕНЬ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Первые два праздника я оставался в пансионе. По праздникам давали вместо чая — кофе, вместо булок — сухари, вместо сожженного жаркого — котлеты, но все это не искупало той скуки, которую приходилось испытывать, слоняясь без дела из угла в угол весь день. На праздники почти все уходили — кто к родственникам, кто к знакомым. Оставались очень немногие, по большей части сироты, приехавшие издалека. Старшие уходили все

до одного. Это обстоятельство, правда, несколько как будто облегчало неприятность и скуку пансионского праздника — все чувствовали себя свободнее, чем в будни; но все-таки было тяжело в этой непривычной пустоте и недостатке оживления. Выйдешь на двор — там два воспитанника покушаются устроить игру в мяч,— больше никого нет. Воротишься в пансион — один смотрит в окно, разлегшись на подоконнике; другой, заплетаясь ногами, лениво и бесцельно ходит по коридору и грызет ногти; третий роется в своей конторке. В углу, у окна, сидит Оверин и, углубившись, чертит какой-то план: вероятно, дома, который он наполовину уже состроил для себя в своей фантазии. Тут же около него помещается его приятель Малинин и, награфив журнал, выставляет своим товарищам отметки, в сладкой грезе, что он уже учитель гимназии. Своих недругов он казнит нулями с минусом, а своих приятелей поощряет пятерками. Больше никого нет.

В одно из таких воскресений, когда мы пришли от обедни (нас водили в церковь фронтом), и в ожидании обеда началось бесцельное шатанье из угла в угол, меня кто-то позвал из коридора:

— Негорев, к тебе пришли!

Рассуждая, кто мог ко мне прийти, я не без смущения вышел в коридор и увидел брата. Он уже был в шинели, подпоясанный тесаком, и стоял, не снимая своего кивера с блестящим медным гербом. Его обстригли, что к нему очень не шло, и я не сразу узнал его. Мы так не привыкли здороваться друг с другом, что исполнили эту церемонию с большой неловкостью, и я повел его во двор.

— Черт знает, какие эти скоты Шрамы! — сказал мне Андрей.— Хорошо, что ты не пошел к ним.

— А ты разве был?

— Я все воскресенья у них был. Я сегодня не простился, плюнул и ушел. Этот мерзавец Альбинка хотел было меня за уши. Да я — нет!

— Что же у вас там вышло? — спросил я, предчувствуя, что вышла очень любопытная история.

— Ничего.

— Неужели он ни с того ни с сего хотел надрать уши?

— Надрать! — сердито сказал Андрей, недовольный резкостью моего выражения.— Я показал бы ему!..

— Да что же случилось?

— Ничего.

Это «ничего», как оказалось, означало, что брат сделал у Шрамов скандал на всю улицу. Когда он шел к ним, у него было три рубля, и он чувствовал какое-то непонятное беспокойство поскорее истратить свои деньги. Для этой цели он купил на рынке целую связку воздушных шаров, из которых сделал очень оригинальное употребление. Пройдя к Шрамам прямо в сад, он поймал там маленькую собачонку Катерины Григорьевны, завязал ее (собачонку, а не Катерину Григорьевну) в узелок и пустил на воздух. Она полетела и, конечно, начала визжать самым отчаянным образом. Собралась громадная толпа народа, и в скандале должна была принять участие даже местная полиция.

— Ну, что же ты здесь делаешь? — спросил Андрей, окончив свой рассказ, пересыпанный едкими замечаниями относительно носа, волос и подбородка злокачественного Альбинки, покушавшегося на неприкосновенность братниных ушей.

— Ничего,— сказал я.— Как тебя безобразно обстригли!

— У нас отлично, весело. Я еще в неранжированной роте, а после ружейным приемам будут учить и ружье дадут. Уж я марширую, ничего... Будят только по утрам очень рано барабаном. Колотят, точно черти. Жаль, что тебя не отдали в корпус!

— Все равно.

— Нет, у нас лучше. Отчего ты такой бледный, точно... огурец? — спросил Андрей, не затрудняясь в отыскании более приличного сравнения.

— Расскажи лучше, как там у вас? — сказал я, не объясняя причин моей огуречной бледности.

— Немного строго, но хорошо. Заставляют постели убирать, сапоги чистить, пуговицы...

— А тебя еще не секли?

— Нет,— смущенно ответил Андрей.

Очевидно, он лгал. Я не хотел его сердить и перестал говорить об этом. Мы замолчали.

— Нельзя ли у вас тут где-нибудь билет подписать? — спросил меня наконец Андрей.

— Какой билет?

— Нам дают билеты. Вот. Ну, здесь Шрам и должен

расписаться, что я был у него и вел себя хорошо...

— Как же ты теперь? — спросил я, рассматривая билет.

— Я сам подпишу.

Мы пошли в пансион, и я показал брату свою конторку.

— Однако у вас тут свободно,— сказал он, усаживаясь на скамью.

Он взял бумагу и начал пробовать почерк. Андрей вообще не мог похвалиться хорошим почерком и, постаравшись с минуту, едва вывел безобразными каракулями «Был од десяти чясоф утра сего числа до шести чесоф вечера сего числа вел себя отлично».

— Если ты напишешь так же на билете, тебя высекут,— сказал я, недовольный слишком громким хохотом, с которым Андрей производил свое упражнение.

Этот хохот затронул любопытство Малинина, и он, пользуясь свободой пансионских нравов, навалился брату на плечо и смотрел, улыбаясь, на его работу, не подозревая, что такие вольности с незнакомыми людьми могут привести к дурным последствиям. Брат, однако ж, вовсе, по-видимому, не удивлялся фамильярности Малинина и продолжал хохотать и писать, уверяя, что на билете следует еще обозначить, что кадет Негорев вел себя отлично, скромно и примерно, не пускал собак на воздушных шарах и заслуживает похвального листа.

— Давай я напишу,— вызвался Малинин, вообще очень любивший писать и пачкавший целые листы, расчеркивая на разные лады свою фамилию.

— Ну, на,— согласился Андрей, вручая ему перо.

Малинин был мастер своего дела, и мигом выправил Андрею билет, за что брат, не помня себя от восторга, начал трясти его за плечи.

— Тебя отпустят? — спросил он, оставив, наконец, Малинина и обращаясь ко мне.— Пойдем гулять на вал. Купим яблоков, сядем и будем есть.

Я уже давно думал, что хорошо бы прогуляться по незнакомому городу, и с удовольствием принял предложение Андрея. Мы пошли. В праздничный день на улицах было довольно людно, и между яркоцветными платьями женщин, которые двигались, точно боясь разлить что-нибудь, попадались офицеры, перед которыми

брат останавливался и делал фронт. Сначала он краснел при выполнении этой экзерциции, но потом объявил мне, что впоследствии и ему будут отдавать такие же почести, а потому вытягиваться в счет будущих благ нисколько не стыдно. Я, однако ж, был об этом другого мнения и не без едкости указывал Андрею на встречных офицеров, понукая его становиться скорее во фронт. Андрей уже начинал сердиться, когда мы дошли до кабака, и я с ужасом увидел стоявших в преддверии этого храма Федора Митрича и Ивана Капитоныча. Они обнялись, чтобы общими усилиями отыскать центр тяжести, но было очень сомнительно, что они его скоро не потеряют совсем и не упадут в грязь со ступенек кабака. По строгой инструкции, данной мне инспектором, я обязан был кланяться не только учителям и всем кокардам, но даже гимназистам, которые были старше меня хоть одним классом, и я, поравнявшись с пьяной группой, снял фуражку.

— Пподди-ко сюда! Эй ты, подди-ко сюда! — пьяным голосом крикнул Иван Капитоныч.

Я боязливо подошел.

— Есть у тебя деньги? — не открывая зажмуренных глаз, спросил Иван Капитоныч.

— Нет-с,— ответил я, проклиная ту минуту, в которую я вышел из пансиона без денег.

— Ну его к черту,— зарычал Федор Митрич.— Пошел!

— Идди! Идди! — подтвердил Иван Капитоныч.

— Ну, учителя! — расхохотался Андрей, когда мы отошли шагов двадцать от учителей, продолжавших пошатываться на кабацком приступке.— Вот так учителя!

Я смутился до последней степени и не мог ничего ответить ему.

— Надо поискать будочника, чтобы он их прибрал,— смеялся Андрей.

— Ваши учителя хороши! — пробормотал я.

— Уж в кабаки не ходят! Ай, ай, ай, ай!

— Эти хоть вышли, а ваши учителя там, в кабаке, пьяные лежат,— злобно покусился сострить я, но ничего не вышло.

Увидев, что я сержусь, попав в затруднительное положение, и выпутываюсь из него с такой неловкостью,

Андрей пришел в восторг и долго не мог успокоиться от смеха. Наконец, когда мы вошли в городской сад и брат остановился перед торговкой с яблоками, хохот его несколько унялся. Закупив яблоков, мы направились к валу, но на одной аллее совершенно неожиданно наткнулись на Володю и Альбина Игнатьевича, который шел, помахивая тросточкой, с такой сосредоточенной задумчивостью, как будто обдумывал убийство восьми человек с целью грабежа или подыскивал рифму на слово «окунь». Сзади их выплывала авантажная Катерина Григорьевна, томно навалившись своими телесами на руку какого-то гвардейского офицера. За ее спиной вдали виднелся блестящий крест на красной ленте, шагавший вершочными шажками вслед за своей полновесной половиной. Старик надел какую-то серую высокую шляпу, которая составляла ровно треть его роста и придавала ему очень смешной вид.

Встреча была весьма неприятная. Я невольно поклонился Володе; он холодно ответил мне, едва прикоснувшись к козырьку своей фуражки.

— Уйдем от них, черт их возьми,— шепнул мне Андрей, толкая меня в бок.

Но уйти не было никакой возможности: я раскланивался уже с Катериной Григорьевной и стариком Шрамом.

— Здравствуйте, дети! — томно проговорила Катерина Григорьевна, не останавливая своего церемониального плавания бок о бок с элегантным гвардейцем, который, защемив в глазу стеклышко, улыбался самым загадочным образом.— Идите к Володе,— совсем, по-видимому, истомившись, прогнусела Катерина Григорьевна, точно она стояла перед любимым тираном и в истоме страсти приглашала его поразить себя кинжалом в грудь.

Делать было нечего; мы с Андреем пошли к Володе. Альбин Игнатьевич каким-то странным движением руки выдвинул меня вперед и пошел рядом с Андреем.

— Вы и убежали сегодня,— заговорил Альбин Игнатьевич, помахивая своей тросточкой.

— Я ушел,— сказал брат.

— Нет, вы убежали, как непослушный. Это стыдно,— настойчиво сказал Альбин Игнатьевич и замолк, дожидаясь от брата ответа.

— Вы ушибете носом тросточку... нос тросточкой,— засмеялся Андрей.

— Очень глупо,— заметил Альбин Игнатьевич.— Где вы воспитывались?

— А вы где? Вон ваш гувернер хочет с вами поздороваться,— весело сказал Андрей, указывая на свинью, которая чесалась рылом о решетку сада.

— Тупо,— объявил Альбин Игнатьевич, разыгрывая презрительное равнодушие.

— Вас, я думаю, иногда повертывает в сторону, если ветер дует сбоку и задевает за нос,— хохотал Андрей.— Знаете, вы на кого теперь походите?

— И не желаю знать.

— На ту птицу, которая носом долбит деревья. Вам тоже можно долбить дерево носом...

— Плоско,— решил Альбин Игнатьевич.

— В особенности после обеда, когда нос у вас бывает красный, как огонь.

— Тупо и пошло.

Вероятно, скоро у Альбина Игнатьевича истощился бы весь запас эпитетов к недоброкачественности острот: «тупо», «плоско», «глупо», «пошло» уже были истрачены, и оставались только «площадно», «дубовато» и еще два-три слова, когда Катерина Григорьевна позвала Альбина Игнатьевича и прекратила его любопытную беседу с Андреем.

— Проводите детей домой. Пусть они пьют чай,— в изнеможении сказала она.

Когда я слышал в детстве гнусявый голос Катерины Григорьевны, не видя ее, мне казалось, что она говорит со ступеней трона: не говорит, а изрекает великие истины. Альбину Игнатьевичу казалось, вероятно, то же самое, и его уши и кожа на лбу всегда приходили в движение при первых носовых звуках Катерины Григорьевны. В этот раз, как и всегда, готовый точно исполнять ее приказания, он собрал нас в кучку и повел вон из сада. Во всю дорогу мы не сказали ни слова. Я ломал голову, с чего бы начать разговор с Володей, Андрей ел яблоки, и, так как Альбин Игнатьевич не трогал его больше, он шел совершенно спокойно.

Вовремя явилась Катерина Григорьевна с своим офицером и тотчас же спровадила нас в детскую играть в лото. Лото, однако ж, у нас не составилось, так как

Андрей начал дурачиться и тащить меня домой. Мне хотелось есть: в пансионе я уже привык обедать в полдень, и перспектива голодать у Шрамов до шести часов была так непривлекательна, что я скоро сдался на призыв брата и начал прощаться.

— Вы попадете на виселицу, — мрачно сказал Альбин Игнатьевич, прощаясь с Андреем.

— А вас носом прибьют к барке, как летучую мышь, и вы будете плавать в воде! — захохотал Андрей.

— До свиданья-с, — презрительно проговорил Володя, не подавая нам руки.

Мы вышли и отправились через залу прощаться с Катериной Григорьевной.

— Ужасные дураки эти Шрамы; я их терпеть не могу, — шепотом заявил мне Андрей, когда мы подходили к кабинету Катерины Григорьевны.

Никогда не запиравшаяся дверь ее кабинета неожиданно оказалась запертою, и из притвора торчал даже кусок драпировки. Андрей попробовал ручку, посмотрел в замочную скважину и отскочил.

— Посмотри-ка, посмотри, — торопливо сказал он.

Я нагнулся и увидел самую соблазнительную картину нежных объятий двух страстных любовников. Я увлекся зрелищем и был не совсем доволен, когда Андрей оттолкнул меня и начал смотреть сам.

— Ах вы, мерзавцы! о-о-о! — заорал вдруг он и начал бить в дверь ногами и руками.

Этот гром произведен был так неожиданно, что я окончательно потерялся и бросился бежать, не сознавая, что я делаю. Андрей догнал меня в передней, схватил свою амуницию и бросился вниз по лестнице, с грохотом волоча по ступеням свой тесак. Я последовал за ним, и мы вылетели на двор, как сумасшедшие Разговаривать было некогда, и, тяжело переводя дыхание, мы молча начали одеваться во дворе.

— Пойдем, — сказал Андрей, подпоясав тесак.

За нами точно гнались злые собаки; мы выбежали на улицу и заговорили не прежде, как отойдя от дома Шрамов шагов на сто и вполне удостоверившись, что за нами нет никакой погони.

— Будут помнить, — впопыхах пробормотал Андрей.

— Теперь нам больше нельзя ходить к ним, — сказал я.

— Ну, и черт с ними!

— Вот ты что наделал!

— Зачем она изменяет мужу! — с негодованием воскликнул Андрей.— Я вот еще скажу это самому старику, чтобы он отдул этого молодчика...

Самонадеянный тон Андрея мне не понравился, и я сказал, что хотя всякого военного нетрудно отдуть, но, вероятно, Шрам не будет марать рук обо всякого офицеришку. Это невинное замечание вызвало со стороны Андрея град ругательств, и мы расстались с ним, взаимно поклявшись не встречаться никогда более.

VI

ОВЕРИН КАК МИРЯНИН И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Наступила зима. Воспитанники стали реже выходить на двор; в пансионе сделалось еще сумрачнее, еще скучнее. Обыкновенно после обеда, до пяти часов, когда начиналось приготовление уроков к завтрашнему дню, давалось время для отдыха, которое каждый мог употребить по своему усмотрению. Каких-нибудь книг, кроме учебных, не было,— следовательно, чтением заняться было нельзя, а отдых сам по себе уже исключал всякое занятие учебными руководствами, и я, несмотря на свое пламенное желание изучить французский язык, считал кощунством зубрить слова в часы, назначенные для отдохновения. Это были очень скучные часы. Одни ходили без всякой цели по коридору, другие шатались в зале и рассматривали давно знакомые портреты генералов двенадцатого года, развешанные по стенам; третьи толпились в сторожке около печи, где Оверин топил олово и лил из него разные фигурки, в которых хотел изобразить какую-то художественную небрежность. Тут же два или три воспитанника строгали перочинными ножами лучину, сами не зная, с какой целью делают они это. На вопросы любопытных они отвечали: «Да так, ничего». Все дожидались чая. Для чая обыкновенно нагревались два ведерных самовара, которые ставились на двух концах обеденного стола. Чай пили очень немногие богачи, имеющие свои чайники, чашки, блюдца и ложечки. Про-

чим выдавалось по ломтю черного хлеба и предоставлялось право смотреть, как пьют чай другие.

Праздность — мать всех пороков. Скучные и праздные часы нашего отдыха внушили Сколкову очень счастливую мысль. Однажды, пользуясь отсутствием Адама Ильича, он предложил сыграть комедию. Некоторые из воспитанников видали много раз, как солдаты в казармах на святках разыгрывают царя Максимилиана[1], и помнили почти все слова действующих лиц этой краткой, но выразительной пьесы. Предложение Сколкова было принято с восторгом. Роли были розданы сообразно с потребностями актеров, и вчинателю этого дела — Сколкову досталась по всей справедливости главная роль царя Максимилиана. В рекреационной зале, увешанной портретами генералов, сподвижников Александра I, и лишенной всякой мебели, поставили посреди полу надзирательское кресло; роздали актерам, смотря по надобности, по одной или по две подпорки от окон вместо оружия и сделали другие необходимые приготовления. Зрители заняли свои места, входные двери заперли, и представление началось. Актеры помещались в коридоре и по мере потребности могли входить в дверь. Первым явился Сколков и, махая подпоркой, начал выкрикивать какую-то рифмованную нескладицу. От вдохновения он раскраснелся, низ куртки поднялся у него кверху, и белая рубашка вылезла довольно широким карнизом на его животе.

— Не для меня ли сей трон сооружен? — воскликнул он, указывая подпоркой на кресло.— Сяду я на сей трон, надену на голову корону — всему миру в оборону, а не в урону, возьму скипетр и державу — всему миру во славу.

Он приблизился к трону. Зрители вели себя очень неприлично: толкали друг друга, смеялись и острили над Максимилианом. Сколков, впрочем, не смутился.

— Сяду на сей трон,— твердым голосом сказал он, подходя к креслу.

В это время какой-то невежа из зрителей плюнул на самую средину трона, что произвело неописанный восторг и хохот. Сколков остановился в минутной нерешимости: сесть ли ему на оскверненный трон или наказать

[1] Народная пьеса XVIII века «О царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфии».

прежде дерзкого немедленной вытряской. Скоро он, впрочем, вышел из своего затруднения полным победителем — и виновного не оставил безнаказанным и не испортил роли непристойной для царского сана вытряской. Он остановился около кресла и крикнул:

— Скороход-маршал, явись пред трон своего монарха!

Скороход, вооруженный длинною подпоркою, явился.

— Что изволите приказать, все готов исполнять,— застенчиво сказал скороход, улыбаясь и глотая слова.

Очевидно, артист не вник в роль сурового скорохода и предпочитал изображать невинную девицу, стыдливо изъявляющую согласие на брак.

В роли царь должен был призвать непокорного сына Адольфия, но Сколков, вытянув вперед руку с подпоркой, в позе Кутузова-Смоленского, свирепо указывающего на аптеку Гаука, крикнул скороходу:

— Позвать ко мне Онику-воина.

Роль Оники, при всей своей краткости, была самой эффектной в пьесе. Этот воин очень искусно махал подпоркой над головой Адольфия, после чего тот падал, давая зрителю разуметь, что он обезглавлен. Роль Оники играл некто Савельев, или просто Савушка, удивительно тупой малый, который только благодаря крепкому сложению не был задран до смерти по мудрому правилу того времени: «Забей девять, десятого выучи». Он браво, точно фельдфебель к ротному командиру, подошел к царю.

— Отсечь голову непокорному... (По роли следовало сказать: «непокорному моему сыну Адольфию», но Сколков повернул от двери свою подпорку и с прежнею торжественностью указал на дерзкого зрителя.) Отсечь голову непокорному подлецу! — крикнул он.

Не долго думая, Оника подошел к «непокорному подлецу» и со всей силы ударил его подпоркой по голове. Раздались крики, начался шум; в среде зрителей воцарилось полное смятение. Можно было только слышать, как Сколков с спокойною торжественностью проговорил:

— Оника-воин, возвратись в дом свой.

После этого он вытер рукавом плевок с трона и сел с твердым намерением продолжать свою царскую роль. Оника вышел; за ним вышел и зритель, получивший удар в голову и теперь неутешно плакавший.

Комедия продолжалась своим чередом.

— О дражающий родитель, не казни, отец родной, — плакал Адольфий, стоя на коленях перед троном отца и закрываясь рукою, чтобы скрыть душивший его смех.

Молодая жена Адольфия стояла тут же и, за неимением другого занятия, обдергивала свою курточку. Эту роль исполнял стыдливый Малинин и очень портил ее неумеренной застенчивостью.

— Прости его, отец! — едва выговорил Малинин, покраснев, как рак.

— Прости его, Сколков! — кричали зрители, толкая в бок и в спину царя.

— Позвать скорохода-маршала! — крикнул Сколков.

Зрители отшатнулись в ожидании Оники-воина с его головоломной подпоркой, но на этот раз вместо скорохода-маршала вошло двое старших — Чебоксаров и Сенечка, пансионский фельдфебель, назначенный инспектором в эту должность, вероятно, за свои здоровые кулаки.

— Это что такое? — крикнул он.

Сколков опешил и поспешно ретировался с кресла, но Чебоксаров догнал его и схватил за уши. Адольфий тоже скрылся, и на месте происшествия оставалась только застенчивая жена непокорного сына. Малинин, вероятно, увлекшись ролью или просто потерявшись, попрежнему обдергивал курточку и, краснея, смотрел в землю. Сенечка со всего размаха ударил его по щеке, и он упал головой на ручки кресла. Кровь повалила ручьем, и в зале началось неописанное смятение. Даже сам Сенечка оторопел.

— Ну, что вы стали? расходитесь! расходитесь! — неловко закричал Сенечка.

Всегдашняя самоуверенность и твердость оставила фельдфебеля, и он счел за лучшее удалиться восвояси.

— Это разбой! — кричали воспитанники.— Они не смеют драться! Надзирателя нет, так они и драться! Малинин, иди жаловаться к директору.

Все рассматривали рассеченное ухо Малинина, кричали и геройски ругали старших. Малинин присыпал больное место толченым сахаром, успокоился и вовсе не думал жаловаться, но Сколков насильно втолкнул его в сторожку, крича, что за уши драть можно, а разбивать уши до крови запрещено законом.

— Иди к директору! — кричал весь пансион.

На Малинина набросили шинель и под крепким конвоем повели вниз по лестнице, на двор.

— Стойте, господа! неужли мы пойдем всей оравой? — остановился около калитки Сколков, более других благоразумный и опытный.

— Да, много, много.

— Мы вдвоем пойдем, а вы оставайтесь,— решил Сколков.

— Мы останемся и сделаем вот что,— серьезно предложил Оверин, сбрасывая свою шинель на снег.

Глядя на его спокойные движения, я подумал, что он хочет немного почистить свою шинель об снег, но у него было на уме более важное дело. Он начал поспешно сгребать снег в шинель и, свернув ее, понес наверх. Другие очень обрадовались скандалу и с хохотом начали насыпать свои шинели снегом. Через минуту по лестнице поднимались все со своими ношами, покраснев от холода и восторга, который производил неумолкаемый хохот.

— Вали,— серьезно сказал Оверин, неторопливо высыпая снег из своей шинели.

— Вали-и! — с восторгом подхватили другие, и в коридоре образовалась большая куча снегу.

Началась какая-то дикая вакханалия. В опьянении от сознания своего торжества все начали танцевать на куче снега; снег таял, текли ручьи, и безумная пляска возрастала в своей ярости. У многих уже вылезла почти вся рубашка из брюк; на рукавах, от усиленных движений, наросло столько складок, что обнажилась половина руки. Весь пол коридора, зала и столовой покрылся водяными следами. Все бегало и веселилось, как будто завтра начиналась вакация; всеми овладело какое-то непонятное затмение ума. Я с величайшим удовольствием дал свой чайник для той цели, чтобы в кухне достать кипятку и полить снег, который таял слишком медленно. Всем почему-то хотелось, чтобы он растаял как можно скорее. В этом была цель жизни, наше радостное стремление в ту минуту. Один Оверин стоял в стороне и задумчиво смотрел на все это.

— Это символ,— глубокомысленно сказал он мне.— Символ того, что мы их не боимся. Пусть они нас мучат, а мы их не боимся.

Но мне некогда было вникать в его размышления — я был увлечен общей сумятицей. Все торжествовало...

Вдруг по лестнице раздались шаги, кто-то их услышал и бросился бежать; другие не успели еще последовать его примеру, как обе половины двери распахнулись и показалось брюхо, обтянутое серым пальто на вате. Когда я увидал бобровый воротник, красную опухшую физиономию и синюю фуражку, все уже взапуски неслись по коридору; на месте остался только неподвижно стоявший Оверин.

Сзади директора виднелись испуганные лица Сколкова и Малинина.

— Это что такое? — густым басом крикнул директор, не снимая своей фуражки с кокардой.

Никто не отвечал. Директор мог видеть только спины бегущих воспитанников. Прибежав в классную, все торопливо уселись на свои места у конторок, вытащили книги и начали тараторить вслух что попало. Один твердил: «I'avais, tu avais, il avait»[1]; другой с азартом повторял: «Вандалы ворвались, ворвались вандалы, вандалы ворвались, с северных границ, с северных границ»; четвертый выводил: «Число букв языка славянского в различных букварях различно полагается»; у карты кто-то пересчитывал границы Пруссии.

Директор остановился в коридоре, как был, в ватном сером пальто, в фуражке с кокардой и галошах.

— Что это значит? Где надзиратель?

— Они-с, верно, вышли,— суетливо сказал сторож, приготовившийся принять директорское пальто.

— Куда вышли?

— Не могу знать-с.

Директор обернулся к куче снега, но там никого уже не было, кроме Оверина, который задумчиво вертел нижнюю пуговицу курточки и дожидался, по-видимому, когда заговорит с ним директор. Но последний не удостоил его своей беседой. «Совсем дурак»,— проговорил он, махнув рукой на Оверина, и пошел в столовую, где шум твердящих уроки воспитанников очень напоминал жидовский шабаш.

— Кто натаскал снегу? — спросил он, выдвигая свое брюхо в столовую.

---

[1] Я имел, ты имел, он имел *(франц.)*.

Ответа не было, все твердили свои уроки: с одной стороны слышалось: «Либо волею бысть егда человекам пророчество», с другой «Верхнее течение Волги простирается...», с третьей: «Capra in rupe pascebatur».[1]

— Я с вами разделаюсь! — мотнув головой, сказал директор.

Он вышел. Все в величайшем страхе продолжали твердить уроки. Через минуту он воротился в сопровождении целой толпы старших.

— Вы не хотите их слушаться! — закричал он.— Я вам покажу, как их не слушаться!

В это время вошел Адам Ильич; он запыхался, покраснел, волосы его были в беспорядке; очевидно, он бегом прибежал из дому.

— Извините,— забормотал он,— я отлучился только на минуту... Они... от них нельзя отвернуться ни на минуту.

— Я вам покажу! — кричал нам директор, не обращая никакого внимания на Адама Ильича, заискивающая улыбка которого растянулась до ушей.

Наконец, накричавшись вдоволь, директор слегка поворотился к Адаму Ильичу.

— Прикажите там прибрать. И вперед, любезнейший, пожалуйста, не отлучайтесь. На днях может быть губернатор.

Адам Ильич побежал в коридор. Директор повернулся к дверям, все вздохнули легче.

— Господа, вы, пожалуйста, смотрите за ними, наказывайте их,— обратился он к старшим.— Если они не будут слушаться, скажите мне. Слышите ли,— опять оборотился к нам директор,— если кто из вас будет не слушаться старших, да я узнаю,— запорю каналью! А вы жаловаться вздумали на старших! — гаркнул он, обращаясь к Сколкову и Малинину, помертвевшим от страха.— Розог!

Тут началась раздирающая душу сцена. Малинин ломал руки, валялся в ногах у директора, целовал полу его ватного пальто и вымолил только то, что его первого положили под розги. Отчаянные крики и визг розог наводили на меня такой страх, что я дрожал, как в лихорадке, и готов был упасть в обморок.

---

[1] Коза паслась на скале (*лат.*).

— Палач! — громко сказал подле меня Оверин. — Кровопийца!

Он бросился к своей конторке и начал в ней торопливо рыться, но вдруг пошатнулся и с воплями упал на скамейку. С ним случился истерический припадок, и возмутительную экзекуцию пришлось прекратить.

Директор ушел; мы вздохнули свободно. Оверин был уложен в постель, и я пошел к нему.

— Что это с вами? — спросил я, останавливаясь у него в ногах.

— Я зарежу когда-нибудь этого злодея,— с убеждением сказал Оверин, без всякого оттенка горячности.— Его нужно зарезать. Если б был ножик, я бы и зарезал.

Серьезный тон его слов рассмешил меня.

— На Никейском соборе Николай чудотворец ударил богоотступника Ария по щеке. Следует всегда бить по щеке. Я его непременно ударю,— решительно объявил мне Оверин.

— Не хотите ли яблоков? — предложил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Какие яблоки! Вы ничего не понимаете. Я не еврей. Когда Христа мучили и били розгами и плетьми, евреи смотрели на это и ничего не говорили, бог рассеял их по лицу земному. Вот и с вами то же будет.

Оверин замолчал и закрыл глаза. Он мне как-то говорил, что когда закрывает глаза, то видит царство небесное, и я, не желая теперь мешать ему в этом приятном созерцании, засмеялся и вышел из спальни. На Оверина невозможно было сердиться серьезно: он был «божий человек», как называл его Сколков.

Директор не просто постращал Адама Ильича приездом губернатора. Дня через два все начали с трепетом ожидать его, и даже Иван Капитоныч начал являться на уроки в трезвом виде.

В пансионских спальнях натерли полы воском и, чтобы не портить их, нас заставляли снимать сапоги в коридоре и проходить до кроватей в чулках, отчего у меня и многих других сделался насморк. Шкафики около наших кроватей и парты в столовой отполированы; везде присутствовал попеременно то запах спирта и политуры, то запах непросохшего белья, известки, масляной краски. Белье и курточки наши починили; оторванные пуговицы строго было приказано пришить, а кто их потерял—най-

ти во что бы то ни стало, что, конечно, произвело значительное сокращение пуговиц на фалдах своекоштных учеников, благодаря ловкости, с которой пансионские воспитанники владели своими перочинными ножами.

Наконец в одно прекрасное утро нам выдали чистое белье, переменили старые одеяла на новые и объявили, что сегодня наверное будет губернатор.

— Почистите сапоги, почистите сапоги. Сторожу выдана бутылка ваксы — спросите у него,— суетился Адам Ильич, осматривая нас перед молитвой.— Ты все еще, Оверин, не пришил пуговиц! Ах ты господи! А руки, руки! точно ты трубы чистил. Без булки.

«Будет ли губернатор спрашивать уроки? Если будет, то, вероятно, несколько человек засекут до смерти»,— соображали мы, столпившись в сторожке, чистя сапоги и пришивая пуговицы.

Сколков был убежден, что если директор не дает меньше ста розог, то губернатору стыдно дать меньше трехсот.

Под влиянием этих соображений все вели себя очень спокойно, так что Малинину, который обыкновенно становился у доски с мелом в руках и под заглавием «Шалили» писал фамилии разных преступников, строивших ему рожи, бросавших в него жеваной бумагой и совершавших другие более или менее злонамеренные пакости,— Малинину на этот раз было нечего делать.

Во время второго урока среди всеобщей тишины дверь в коридоре стукнула. У всех вылетел неслышный вздох, в котором как будто заключалось слово «идет». В коридоре раздавались смешанные звуки шагов, очевидно принадлежавших нескольким человекам. Мы с трепетом слышали, как шаги эти скрылись в соседнем классе, как там, согласно наставлению инспектора, прокричали «Здравия желаем». Наш учитель замолчал, и все мы замолчали. Через минуту опять послышались шаги; они явственно приближались, и наконец в класс, среди всеобщей тишины, вошла целая процессия. Впереди шел губернатор, сухощавый мужчина, с седой, плешивой головой, заткнутой, точно пробка в бутылку, в высочайший красный воротник; густые золотые эполеты обвисли слишком низко на его узких костлявых плечах. Само собой разумеется, мы все вскочили на ноги, едва только

показался в дверь четырехугольный носок губернаторского сапога.

— Здравствуйте, дети! — крикнул губернатор, махнув своей фуражкой с красным околышем.

— Здравия жела-о-о-о-оем! — пронеслось по классу.

Губернатор, дойдя до стены, повернулся назад.

— Застегивать крючки! застегивать! не нежиться! не распускаться! — проговорил он, подергав одного из учеников за воротник. Директор, инспектор и свита засуетились, но губернатор сделал крутой полуоборот и быстро вышел за двери.

В этот день нам дали щи значительно жирнее, жаркое было не сожжено, как уголь, и каша сварена на молоке; но на другой день опять все пошло по-старому.

Настало рождество — скучные и праздные дни, которые тянулись невыносимо долго. Я значительно подвигался в изучении Марго, но эта работа мало развлекала меня, и порой, глядя в окно на валивший снег и сумрак, наполнявший воздух, я готов был плакать от неопределенной тоски, сосавшей мое сердце. Когда настали опять классы, я был рад от души. Время полетело быстрее, и я не заметил, как начал таять снег...

Однажды после обеда к нам явился инспектор в синем мундире с безобразным стоячим воротником, из которого был высунут орденский крест и кусок ленты. Все засуетились. Он велел собираться в церковь.

— Дети,— сказал он, отвертываясь от Адама Ильича, который казался очень пораженным,— дети, вы понесли большую, горькую потерю: по воле всемогущего бога дорогой наш монарх скончался.

Все были очень поражены и молча слушали инспектора.

— Теперь, господа, пойдемте в собор — присягнуть новому государю императору, Александру Второму,— тем же растроганным голосом сказал инспектор.

— Завтра не учиться, Семен Васильевич? — спросил кто-то.

Инспектор, как будто не слыша неуместного вопроса, обратился к Адаму Ильичу.

— Так неожиданно и в такой момент! — сказал он.

— Отчего умер государь, Семен Васильевич? — спросил один старший из толпы, окружавшей инспектора.

— От гриппа.

— Что это такое — грипп?

— Это какая-то горловая болезнь. Государь простудился. Он всегда одевался легко, как простой солдат.

По городу гудел звон и отзывался набатом, как будто извещающим об ужасном народном бедствии: пожаре, наводнении или землетрясении. Когда мы вышли и отправились в стройном порядке в церковь, на улице происходило смятение. Толпился народ; небольшие кучки людей, собравшись у домов, с жаром разговаривали о чем-то; многие бежали куда-то бегом; экипажи неслись полной рысью взад и вперед. На дороге мы встретили кадет, которых вели из церкви в две шеренги так же, как и нас. Между ними я увидел брата, который, разговаривая со своими соседями, весело смеялся. Мне это очень не понравилось — минута была слишком торжественна, чтобы смеяться над чем бы то ни было, и я не ответил брату на его кивок.

— А что, если это врут все — если царь жив, а это попусту народ смущают? — услышал я басистый голос с левой стороны тротуара. У ворот какого-то двухэтажного барского дома собралась пестрая дворня, и какой-то парень, молодцевато стоя перед компанией горничных, поваренков и лакеев, произнес слышанную мной фразу.

Оверин, шедший рядом со мною, мгновенно оживился.

— Что, если государь в самом деле жив? — в раздумье обратился он ко мне.

— Как?

— Может быть, это ложное известие. Кто-нибудь выдумал.

— Вот!

— Может быть, государь сам захотел испытать: что будет, когда узнают о его смерти, и нарочно велел объявить,— сказал Оверин.

Оверина не покидала мысль, что все это — фальшивая тревога. Ему не хотелось верить простому несчастию, и он предпочитал верить счастливому чуду.

Церковь была полна народу; мы застали только последние слова манифеста, да и те я нехорошо расслышал за толкотней и давкой. Скоро раздалось множество голосов, повторявших слова присяги за священником;

этот глухой говор был похож на ропот дерев во время большого ветра.

По возвращении из церкви нам выдали кусочки крепу и приказали навязать их на рукава.

VII

МЕНЯ СЕКУТ РОЗГАМИ ЗА УЧАСТИЕ В КУЛАЧНЫХ БОЯХ

Последний скандал, устроенный Андреем у Шрамов, сверх всякого ожидания, разрешился для нас с братом очень приятными последствиями. Катерина Григорьевна вскоре сама приехала в гимназию, обласкала меня, дала мне коробку конфет и сказала, что напрасно мы так громко стучались в дверь, так как ее кабинет не был заперт. Брат мне рассказал, что она таким же образом почтила своим посещением и корпус, где очень долго разговаривала с Андреем, целовала его и просила ходить каждый праздник. При воспоминании об эротической сцене, виденной нами в кабинете, я краснел от омерзения, а Андрей смеялся, передразнивая порой гвардейца, пользовавшегося расположением Катерины Григорьевны. Надо, впрочем, заметить, что мы условились с братом никому не рассказывать того, что видели, и не нарушали этого условия.

Раз, когда мы возвращались от Шрамов, брат закричал: «Сеня! это ты! здравствуй!» Он остановил бежавшего мальчишку, по уши уткнувшегося в маленький воротник куцей и узенькой беличьей шубенки, покрытой синим потертым сукном. Было очень холодно, несмотря на начало марта, и из шубы виднелись только кусочек красного носа и один глаз с заиневшими ресницами, да верх бараньей шапки. Семен бежал почти бегом, и Андрей остановил его на всем лету.

— Здравствуй же!

— Здравствуйте,— неловко проговорил Семен, высвобождая свои руки из рукавов, сложенных для тепла вместе. Шуба распахнулась, и мы увидели баранью шапку, красное круглое лицо с пугливо бегавшими глазами, а внизу засаленное серенькое нанковое пальто.

— Где ты живешь? как поживаешь? привык здесь? отчего ты к нам не пришел? — весело спрашивал Андрей.

— Вы как поживаете? — спросил с замешательством Семен, очевидно не знавший, что ему говорить.

— Ну, пойдем, Андрей: тут холодно,— сказал я. Я чувствовал себя в очень неловком положении на большой улице, рядом с мальчиком, который был одет хуже всякого казачка, набивающего трубки, и который очень походил на уличного мальчишку.

— Где же ты живешь? — допрашивал Андрей, не обращая никакого внимания на мои слова, и взял смущенного Семена за обе руки.

— Недалеко, здесь под горой, в Жидовской слободке.

— Вот и отлично! пойдем к тебе! — восхитился Андрей.— Нам ведь рано еще являться.

— Пожалуй, только...— начал Семен.

— Что за глупости! пойдем лучше домой; когда-нибудь в другой раз,— заметил я.

— В какой в другой раз? — с неудовольствием передразнил меня Андрей.— Мы и квартиры не знаем...

Во всяком случае нужно было куда-нибудь идти. Стоять на людной улице, где того и гляди кто-нибудь мог заметить нас, было всего хуже.

— Пойдем же к тебе, посмотрим,— говорил Андрей, дергая своего приятеля за обе руки.

— Там ведь у нас нехорошо,— смущенно заметил Семен.

— Что за беда! ничего! веди! — нетерпеливо восклицал Андрей, дергая Новицкого все с большей и большей энергией.

— Вам неловко покажется.

— Ну, вот еще! — заключил Андрей и, не допуская дальнейших возражений, потащил Семена вперед по тротуару.

Нечего делать, мы пошли.

— Что же ты делаешь? учишься? — спрашивал Андрей.— А я, брат, тебя часто вспоминал. Вот бы хорошо, кабы ты был тоже в корпусе. Помнишь, как мы с тобой дрались из-за Барбоски, а? Все-таки в деревне лучше, чем здесь. А тебе как кажется?

— И мне тоже.

— Отчего это у вас нет никакой формы?

— Не заведено.

— А у нас и ружья дают,— продолжал Андрей,— где же эта Жидовская слободка? далеко она?

— Да вот она.

Слободка, совершенно непроходимая по случаю грязи в другие времена года, кроме зимы, представлялась теперь какой-то пустой деревушкой, заброшенной в средину снежной пустыни. Маленькие деревянные лачуги с покосившимися воротами, точно высыпанные с неба могучею рукой, разбросались по земле как попало. Оторванная калитка висела на одной петле и уныло покачивалась; выбитое стекло было заткнуто тряпкой; торчавшие из крыш черные трубы не дымились и не показывали никакого признака жизни. Вся слободка, казалось, замерзла; присутствие живых людей решительно ничем не проявлялось.

— Вот здесь,— сказал Семен, повертывая к одному дому и останавливаясь у запертой калитки.

Мы вошли в крытый, темный двор, где стояли телеги с завороченными назад оглоблями, сани, какие-то бочки, лежали дрова и проч. и проч. Пахло и дегтем и навозом. Пройдя этот двор, мы очутились на свету; эта часть двора не была покрыта, и там навалило снегу по колено.

— Вот здесь,— сказал Новицкий, показывая на крутую лестницу без перил и торчавшее над ней одинокое маленькое шестистекольное окошечко.

— Иди, иди! — одобрительно и весело крикнул Андрей. Это поощрение было очень у места, так как Семен все что-то смущался и двигался как будто очень неохотно.

Мы взобрались в крохотную каморку, сплошь занятую лежанкой, кроватью, столом и двумя табуретами. Единственное окошечко с двумя рамами из синих бутылочных стекол плохо освещало двухаршинное пространство, оставленное свободным от мебели; было темно, жарко и душно. На лежанке сидел, скорчив под себя ноги, широкоплечий малый лет шестнадцати с круглой, как арбуз, головой и что-то внимательно шил. Рассмотрев нас, он быстро вскочил на ноги и, как столб, остановился у дверей.

— Извините,— смущенно пробормотал он, усиливаясь застегнуть свое нанковое пальто, на котором не имелось пуговиц, почему застегивание его особенно затруднялось.

— Вот,— смущенно сказал Семен, подвигая нам та-

буретки и, очевидно, желая этим *вот* выразить: «Вот какая конура, а вы думали — рай!»

— А это что такое? — сказал Андрей, взяв с подоконника ящик из-под сигар, наполненный всяким хламом. Там были и гвозди, и винтики, и солдатские оловянные пуговицы, и костяшки.— А это какие записки? — спрашивал Андрей, оставляя ящик и взяв со стола тетрадь.— Что такое гомилетика? [1]

Не дожидаясь ответов на свои вопросы, Андрей с самым веселым видом задавал другие.

— Вы здесь только двое и живете? — спросил он наконец.

— Нет, тут еще третий есть,— ответил Семен, думавший о чем-то другом.

— Где же он?

— Куда он ушел, Бенедиктов? — обратился Семен к парню, все еще не терявшему надежды застегнуть свое пальтишко без пуговиц.

— Он вышел,— тихо отвечал Бенедиктов, наклоняясь всем корпусом вперед, из чего можно было заключить, что он сообщает домашний секрет, которого не следует знать гостям.

— Куда же?

— На войнишку,— еще тише и еще больше наклонившись вперед, сказал Бенедиктов.

— Как на войнишку? куда это на войнишку? — с живостью затараторил Андрей.

— Драться на войнишку пошел,— недовольным тоном объяснил Новицкий.

— С кем же он дерется?

— Там много — тысячи.

— Где же? где это? — с хохотом спрашивал Андрей.

— А вот тут по спуску.

— Ради бога, пойдем туда! Сведи, душечка! Где эта войнишка? — пристал Андрей.

— А вот пойдемте — мы покажем,— неожиданно оживляясь, сказал Бенедиктов.— Пойдемте!

— Пойдемте! Пойдемте! — радостно вскричал Андрей.

Мне тоже было очень любопытно посмотреть войнишку, и я не без удовольствия готовился идти туда, подвя-

---

[1] Гомилетика — учение о христианском церковном проповедничестве.

зывая наушники и надевая форменные казенные рукавички, между тем как Бенедиктов, надев шубу, подпоясывался полотенцем. Он улыбался до ушей и говорил: «Пойдемте, пойдемте — мы вам покажем».

Тут я только вспомнил, с какими товарищами мне придется идти по улице, но скоро успокоился, сообразив, что едва ли нас кто может встретить на Жидовском пустыре. Этому успокоению, впрочем, много способствовало то обстоятельство, что я очень заинтересовался войнишкой, про которую уже слыхал несколько раз.

— Тебе бы только драться — ступай на войнишку, там и дерись вместе с семинаристами,— презрительно говорили у нас в пансионе, желая уколоть таких драчунов, как Сколков.

— Как же вы здесь спите втроем-то? — спрашивал между тем Андрей у одевавшегося Семена.

— По очереди: сегодня — на кровати, завтра — на лежанке, а там — на полу; по очереди,— отвечал добродушный Бенедиктов.

— Где лучше спать — на кровати или на лежанке? — спросил я, так как мое долгое молчание становилось неловким.

— Как же можно сравнить! На лежанке очень жарко, на полу холодно, а на кровати удобно,— пояснил Бенедиктов, улыбаясь во всю ширину своего огромного рта.

Мы спустились по крутой лестнице без перил, рискуя скатиться вниз по оледеневшим ступеням, прошли темный крытый двор и выбрались наконец на пустынную замерзшую улицу. Бенедиктов как путеводитель пошел вперед по глубокому снегу, засыпавшему тротуар; Андрей шел рядом с Новицким; я замыкал шествие, соображая, что в случае надобности могу отстать от них и сделать вид, что я человек, совершенно посторонний уличным мальчишкам, идущим впереди с братом.

— Кто же с кем дерется? — спрашивал Андрей, потирая руки от восторга.

— Стена на стену. С одной — мещане да мы, а с другой — ребята из Черкасов да извозчики,— улыбаясь, пояснил Бенедиктов, сделав оборот и идя взадпятки.— Нынче только плохо. Прежде, говорят, черкасов за реку наши перегоняли. Ныне они хлюздить начали.

— Как?

— Как плохо придется, начали кольями да камнями

бить наших; стали засады делать. Подлый народ эти черкасы.

Андрей схватил Семена под руку, прижался к нему и, кривляясь от удовольствия, тащил его вперед. Когда Андрей находился в очень веселом расположении духа, на него нападал прилив необыкновенной откровенности. Так случилось и в этот раз.

— А я ведь тебе не говорил,— сказал он, оборачиваясь ко мне,— меня уж секли в корпусе три раза.

— Тебя — этакого маленького барчонка — уж три раза! — с восторгом воскликнул Бенедиктов, неожиданно останавливаясь и хлопая Андрея по спине самым фамильярным образом.

— Да. Уж три раза,— весело повторил Андрей.— Первый раз — за то, что я молитвы не выучил. У нас по очереди читают молитву; дошла очередь до меня, а я и не знаю.

— Ай да молодец! — воскликнул Бенедиктов, опять хлопая Андрея по плечу.

— В другой раз — за то, что я смеялся во фронте, а в третий раз за сигналы. Тра-та-та-та! Знаешь? «Слушай, первый взвод!» Теперь я уж понял.

— Это все равно что у нас гласы,— сказал Бенедиктов.— Сколько меня ни драли, а я так и не мог выучить.

Андрей полюбопытствовал узнать, что это за гласы такие, и получил от Новицкого довольно удовлетворительное объяснение, которое Бенедиктов, отговариваясь неведением, дать отказался. Брат пришел в восторг от этой премудрости, прижался еще крепче плечами к Семену и захохотал как сумасшедший.

Между тем мы все подвигались и наконец завидели оживленную пеструю толпу мужчин и женщин. Это были зрители войнишки; самое зрелище было внизу, под горой.

Войнишка, происходившая только в зимнее время, начиналась обыкновенно возней мальчишек. К шуточной драке ребят мало-помалу приставали подростки, и драка становилась серьезнее.

В это время стоило какому-нибудь не вытерпевшему богатырю той или другой стороны вмешаться в свалку, чтобы уже кинулись все резервы обоих лагерей, и тут побоище принимало отчаянный характер.

Мы остановились в народе и увидели довольно оживленную толпу дерущихся мальчишек. По временам с горы

сбегал какой-нибудь парень лет шестнадцати, врезывался в толпу, махая обеими руками; мальчишки валились направо и налево, а он, натешившись достаточно, с торжеством возвращался назад.

— Пойдемте поближе, поближе,— потащил нас Бенедиктов, по-видимому очень воодушевившийся видом драки.

Мы протолкались вперед, к краю рва, и остановились около самого спуска.

— Вот видите, там за сараем-то стоят. Это ихние,— пояснил Бенедиктов.

За большим сараем стояла целая толпа мужиков в полушубках и рукавицах. Они молодцевато поправляли шапки и оживленно разговаривали о чем-то. Это были извозчики и черкасы. Одни из них уходили в соседний кабак и снова возвращались, другие выплясывали от холода известную извозчичью пляску и похлопывали рукавицами. На драку никто из них, по-видимому, не обращал никакого внимания.

— А где же ваши? — спросил Андрей у Бенедиктова, который потирал руки, подергивался и кривлялся на холоду.

— Наши вот в этой избе; наши в тепле сидят,— отвечал Бенедиктов.— Разве подраться? — весело добавил он, как-то особенно пожимая плечами.

Его, по-видимому, подмывало сильное нетерпение.

— Подерись! а? слушай, подерись! иди! — задергал его Андрей.

— Ау! — вскричал Бенедиктов и бегом понесся вниз по спуску, махая руками, как ветряная мельница. Он врезался с лету в толпу и начал рассыпать удары направо и налево; мальчишки отскочили, и вокруг него образовалась небольшая площадка. Со стороны черкасов вылетели два парня в полушубках и рукавицах, со стороны мещан тоже явились бойцы; драка сделалась посерьезнее. Скоро мы увидели, что Бенедиктов упал, а через несколько секунд он радостно вбежал к нам на гору; лицо его было красно, и он дышал тяжело.

— Важно! — проговорил Бенедиктов тоном человека, до боли нахлеставшегося в бане веником и слезающего с полка.

— Славно! молодцы! — кричал Андрей, хлопая в ладоши и судорожно потирая руки.

Драка принимала все более и более оживленный характер.

— Вон наши идут,— вскричал Бенедиктов, дергая Андрея за плечо.— Ихние-то, ихние как засуетились!

Действительно, за сараем происходила большая суетня. Мужики выходили вперед, приостанавливались и, поправив шапки и подергав рукавицы, вылетали вперед и врезывались в свалку. Так, раздевшись, хороший пловец смелой поступью подходит к крутому берегу, останавливается на минуту, чтобы перекреститься, и бросается в воду. По спуску бежали к побоищу, поправляя на бегу свои шапки, человек пять семинаристов.

Бой становился очень занимательным.

— Вот, вон еще наши мещанчики подходят! — восторженно говорил Бенедиктов.— Вон Фрол слесарь, высокий, в черной шапке-то... Ишь как дует.

— Это в рубахе-то?

— Да, да. Ишь, ишь! Ихние привалили... Ну! — с отчаянием воскликнул Бенедиктов...— Их уж очень много!

Из-за сарая все прибывали да прибывали новые бойцы; скоро раздались страшные крики, и мещане побежали. Черкасы их преследовали, толкали задних в шею, перешагивали через упавших и опять бежали вдогонку. Мещане рассеялись по снежному полю и попадали в разных местах. Этот маневр делался на основании уговора не бить лежачих. Черкасы торжествовали полную победу. Вдруг в обоих лагерях началось какое-то смятение. Лежавшие мещане начали вскакивать со своих мест, а черкасы побежали назад. Их начали преследовать так же, как за минуту они преследовали сами бегущих врагов. Тут мы заметили среди мещан какого-то верзилу, около которого валились все встречные и поперечные. Рубашка его была расстегнута, и виднелась голая мохнатая грудь; изорванное пальтишко распахнулось, и ветер играл его полами в то время, когда боец, неистово махая руками, кидался из стороны в сторону, преследуя бегущих.

— Вон видишь, это Сила Фадеич, архирейский бас. Уж подлинно — сила,— восторженно пояснял Бенедиктов.— Убьет! Ишь как! так и валятся..

— Ох как славно! отлично, отлично! — кричал Андрей, потирая руки.

Драка начала ослабевать, силачи ушли так же быстро, как появились, и на сцену стали опять мало-помалу

выступать мальчишки. Зрелище становилось не так интересным, и мне скоро удалось уговорить Андрея идти назад.

— Сегодня еще плохая войнишка, а вот ты бы посмотрел в прошлое воскресенье,— говорил Бенедиктов, когда мы вступили опять в Жидовскую слободку.— Вон спроси-ка его, спроси-ка его, спроси! — с коварством добавил он, толкая локтем в бок Андрея и указывая глазами на Новицкого.

— Ногу ушиб,— проговорил Семен.

— Ты дрался! — с восторгом вскричал Андрей.

— Так как-то...

В это время чья-то сильная рука схватила меня за плечо.

— А, негодяй! Теперь я поймал! Вам на войнишке драться? а? — грозным голосом сказал фельдфебель Сенечка, выросший передо мной точно из земли.

— Может быть, вы это дрались там! — вскричал я, оскорбленный донельзя его обидной несправедливостью.

— Что ты сказал, поросенок! — с яростью закричал Сенечка.

— Оставьте меня, я вас не трогаю,— с горячностью ответил я, вырываясь из его руки.

— Какой длинный! — захохотал Андрей.— И этакого долгого болвана все еще учат! ха, ха, ха! Глазища-то как выпялил!

— Я с тобой разделаюсь,— прошипел Сенечка с бессильной яростью, отходя от нас.

— Иди, голубчик, своим путем. Дорога скатертью! — кричал вслед ему Андрей.

— Поцелуй пробой да ступай домой! — заорал на всю улицу Бенедиктов.

— Бока намнем! — постращал Андрей.

— Оставь, пожалуйста,— из-за тебя и мне достанется,— сказал я.

— Уж струсил! экая беда какая!

Беда, однако ж, оказалась вовсе немаловажная, когда я пришел в пансион.

— А! Ты на войнишке дерешься! Хорошо, хорошо! — злорадно сказал Адам Ильич, когда я явился к нему и предъявил билет.

— Я не дрался,— с трудом выговорил я.

Слезы душили меня.

— Хорошо, хорошо! Завтра это разберут,— холодно сказал Адам Ильич, выбивая такт ногою. Слова его грозно прозвучали в моих ушах. «Завтра разберут и накажут розгами»,— должен бы был сказать Адам Ильич, потому что каждое разбирательство у инспектора кончалось поркой.

Слух о том, что я дрался на войне, уже прошел по всему пансиону.

— Неужели ты дрался на войнишке? — шепотом спросил меня Малинин, давая понять, что я вполне могу довериться его скромности.

— Убирайся к черту,— бесцеремонно ответил я ему.

— Ишь ты какой... Невежа,— обиженно сказал Малинин, решительно не понимавший, почему я сержусь.

Я прошел в столовую, навалился на окно и начал смотреть на темневшую улицу. Кой-где зажигались ранние огоньки. Шли и ехали спокойные люди, может быть, счастливые, в то время как я смотрел на них, беззащитный в моей горести. Я приложил обе ладони к лицу и тихо заплакал. Беззащитность моего положения и моя слабость более всего оскорбляли меня, и я плакал и захлебывался слезами от горя.

— Он плачет,— тихонько сказал за моей спиной Малинин.

— Ты ничего не понимаешь,— рассеянным тоном сказал Оверин. Он подошел ко мне и дернул меня за руку.— Вы не плачьте.

— Оставьте меня!

— Дураки! — с убеждением воскликнул Оверин.— Они запрещают драться. Нужно бы заставлять мальчиков, чтобы они дрались. Какой из меня выйдет солдат, если я не умею драться! Вот я читал про спартанцев. У них даже женщины дрались, и — отлично. Если нужно было воевать, они все были готовы, и женщины могли сражаться. Прежде, когда дрались, и народ был сильнее — вон в анекдотах есть, что английский король Ричард Львиное Сердце лошадь поднимал, а германский король Фридрих Барбаросса носил шляпу в пятьдесят фунтов. А все отчего? Оттого, что они дрались, когда были мальчиками.

Я слушал Оверина как-то рассеянно. Его слова, как отдельные звуки камертона, отдавались в моих ушах, не

производя никакого впечатления на мой ум, занятый совершенно другим. Мне начинало это надоедать.

— К чему вы все это говорите! Я и не думал драться,— вскричал я, выведенный из терпения.

— А! — промычал Оверин, как бы просыпаясь. Он на секунду остановил на мне свои удивленные голубые глаза, точно что-нибудь обдумывая и на что-нибудь не решаясь.— Все ж таки,— заговорил он опять,— тут нечего стыдиться того, что, положим, вы дрались на войнишке. И хорошо делают те, которые дерутся. И я бы подрался. Отчего же не подраться? Там уличные мальчишки, а мы — дворяне, поэтому нельзя? Перед богом все равны, и мальчишки бывают лучше нас.

Оверин всегда говорил с большим жаром. Чувствовалось, что он говорит не с чужого голоса, а сам дошел до всего своим умом. Но горячность его отзывалась такой наивностью, что подчас была очень смешна. В этот раз он с такой решимостью высказал великую истину о мальчишках, что я не мог не улыбнуться, несмотря на горе и досаду, угнетавшие меня в то время.

— Они помогают отцам и матерям работать,— продолжал Оверин на тему о мальчишках,— они сами хлеб себе добывают, а нас кормят. А кто знает, может быть, мы сделаемся разбойниками и будем людей резать.

— Patres conscripti! quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?[1] — передразнил кто-то Оверина, сделав отчаянный ораторский жест.— Слушайте, слушайте! Шш! ораторствует!

Не обращая никакого внимания на эту насмешку, Оверин продолжал доказывать, что любой мальчишка может поколотить любого барича, потому что он, имея здоровое тело, имеет здоровый дух.

В доказательствах он несся все дальше и дальше, точно корабль на всех парусах,— корабль, которому нипочем «и бури, и скалы, и тайные мели». Все замолчали и остановили на нас свое внимание. Я счел за лучшее отойти от оратора.

---

[1] Отцы сенаторы! До каких пор, наконец, Катилина, будешь ты злоупотреблять нашим терпением? *(лат.)* — начало первой речи древнеримского оратора Цицерона (106—43 до н. э.), которую он произнес в Сенате против Катилины (108—62 до н. э.), подготовлявшего государственный переворот.

Ко всеобщему удовольствию, он не заметил этого и потратил несколько веских аргументов перед пустым окошком. Поняв в чем дело, он сонно посмотрел на меня своим не то пристальным, не то блуждающим взглядом (тем взглядом, которым смотрят в письмо знакомого человека, подозревая, что оный сошел с ума) и, сопровождаемый всеобщим хохотом, пошел к столу.

Я вынул из стола книгу, но не мог читать ее. За ужином я только смотрел, как ели другие. На меня как-то неприятно действовал шум и говор окружавших меня людей.

«Что будет завтра?»

Этот вопрос был так важен и мучителен для меня, что я долго не мог заснуть.

«Что, если я не успею оправдаться?» — Меня мороз подирал по коже. Другие признавали меня виновным,— и я сам начинал сомневаться в своей правоте...

На другой день утром, только что мы пришли в класс и обыкновенный шум и пыл поуспокоились, вошел Малинин.

— Негорев, ступай, брат, тебя инспектор зовет,— боязливым шепотом сказал он мне.

Дрожа, как осиновый лист, я встал с места и торопливо пошел, почти побежал в инспекторскую комнату. Я совершенно измучился в борьбе между страхом и надеждой и торопился теперь узнать решение своей судьбы, каково бы оно ни было.

Инспектор разговаривал с Сенечкой. Тут же был и Адам Ильич, который подвинул меня за плечо поближе к инспектору и проговорил:

— Вот он!

— Ты, голубчик, не успел еще поступить, а уж ходишь на войнишку, срамишь всю гимназию,— сказал инспектор, поднимая мою голову за подбородок и заглядывая мне в глаза.

— Я не дрался, — едва выговорил я, дрожа всем телом.

— Я видел,— с улыбкой заговорил Сенечка, довольно свободно жестикулируя рукой,— я видел, как он бежал, а за ним гнались два оборванных мальчишки. И когда я его остановил, он наговорил мне дерзостей.

— А-а! Пойдем-ка, пойдем, голубчик.

Инспектор взял меня за плечо. Я упал на колени.

Дальше — даже и теперь — мне совестно вспоминать. Тогда, скрывая от всех, что меня секли, я краснел при малейшем намеке, заставлявшем подозревать, что моя позорная тайна открыта...

VIII

АНДРЕЙ ПОКУШАЕТСЯ НА МОЮ ЖИЗНЬ

Дни проходили за днями. Мы ходили в классы, обедали, отдыхали, готовили уроки, ужинали, читали вслух молитвы и отходили ко сну. Все текло, как заведенная машина. По понедельникам, после обеда, приходил унтер-офицер и учил нас маршировке, по средам давали пироги с говядиной, по субботам инспектор сек за единицы и нули; по воскресеньям мы так же скучали, пили кофе, ели за обедом котлеты и манную кашу.

В одно из таких скучных, безлюдных воскресений я получил от Андрея с каким-то кривым солдатом записку следующего содержания: «Хоть бы навестил меня; навести, я в лазарете, дай солдату десять копеек, принеси, пожалуйста, большую книгу с картинками и апельсинов. Твой брат Андрей Негорев».

Мне подумалось, что брата оставили без отпуска и он, палимый желанием поесть апельсинов, сочинил всю эту историю; тем не менее я вручил солдату требуемый гонорарий, отпросился и отправился к брату, захватив с собой естественную историю Бюффона (большую книгу с картинками), подаренную мне отцом. Оказалось, однако ж, что Андрей действительно болен и лежит в лазарете. Меня повели к нему через большие пустые комнаты, установленные сотнями кроватей, с ярлыками. Кровати были убраны с величайшим тщанием; казалось, на них никто никогда не спал, да и не будет спать: жаль мять расправленные до совершенства подушки и одеяла, которые выглядели вылитыми из одного куска гипсу и раскрашенными сообразно настоящему цвету одеял и подушек. Полы, блестевшие как зеркало, такие полы, по которым совестно было ходить, стены белые, как снег, кровати с изваяниями одеял и подушек, по-видимому, предназначались для выставки, для показа, а не для жилья. В то время, когда я проходил, в этих огром-

ных, холодных, пустых сараях не было слышно ни одного живого существа. Ни одна муха, ни одна мышь не хотела поселиться в этих неуютных пустынях. Пройдя спальню, я в сопровождении служителя вступил в умывальню. Она так называлась, но никому бы и в голову не пришло умывать свои руки из громадной медной вазы, блестящей, как солнце, с тем чтобы грязная вода стекала в блестящий медный бассейн и летели брызги на зеркала паркета, на чистку которых потрачено столько труда.

Из умывальни пять или шесть ступенек вниз вели в лазарет. Кислый запах прели сразу неприятно поразил меня. Лазарет состоял из небольшой комнаты с десятью или двенадцатью кроватями, усовершенствованными до такой же степени, как и прочие кровати в корпусе; пол так же был блестящ; стены были так же белы; окна смотрели так же скучно и печально, как будто говорили: «Не вырвешься отсюда» — точно окна тюрьмы.

Брат был единственным больным в лазарете; он лежал в кровати, под одеялом. В ногах у него сидел на табурете дремавший фельдшер, который, заслышав шум, встрепенулся и вскочил на ноги.

— Вот благодарю, благодарю! — вскричал Андрей, обвивая мою шею голыми руками и целуя меня. — Сколько ты набрал апельсинов! какой добрый! поцелуй меня.

Он, еще крепче обвив меня руками, поцеловал.

— Отчего ты, Николя, всегда такой какой-то? — ласково сказал он.

— Какой?

— Точно у тебя всегда голова болит.

— Нет, не болит, — успокоил я его.

— Какой-то ты странный. Ты — добрый мальчик, я тебя люблю, только ты как-то... Ничего ты не говоришь. Тебя не поймешь.

— Чем же ты болен? Или так, чтобы в классы не ходить? — спросил я, чтобы прекратить разговор о моей особе, который грозил перейти на чувствительную почву.

— Да-а. Видишь — я тебе скажу, пожалуй, — ты ведь мне брат...

Я заметил, что у Андрея на глазах навернулись слезы.

— Меня высекли... ужасно! — с трудом удерживаясь, чтобы не заплакать совсем, проговорил он.

— За что?

— Ни за что, — ответил Андрей и зарыдал.

Я вспомнил клевету Сенечки и все подробности моего несправедливого унижения. У меня явилось даже движение рассказать все брату, но я тотчас подумал, что он после будет смеяться надо мной, и остановился. Я молча слушал глухие рыдания брата, придумывая, что бы сказать ему в утешение; но все выдуманные слова казались такими пошлыми, что я не решался их выговорить. Молчание было знаком бездушия и преступной холодности к чужому горю; но до тех пор, покуда брат не успокоился, я не выговорил ни слова, проклиная себя за неповоротливость в придумывании утешительных слов.

Вытерши последние слезы, Андрей высморкался, спрятал платок под подушки и начал рассказывать.

— Видишь ли, я тебе говорил, кажется, про одного ученика Баранцева. Ну, я, как шел последний раз от Шрамов, встретился с ним. Ну, пошли мы вместе; идем, разговариваем. Вдруг навстречу нам генерал. Высокий такой, толстый, седой. Мы ему сделали фронт. Он нас остановил. «Снимай, говорит, сапоги». Я смотрю на него, думаю: не с ума ли он сошел, а у него усы так и трясутся, а брови седые, точно усы, и говорит точно из бочки. Как крикнет на Баранцева: «Садись на землю, снимай сапоги», — я так и присел. Баранцев сел, бедный, на землю и снял сапог. Я думал, что генерал убьет его, так он на него закричал. У него носки были надеты, а у нас велено портянки носить. Велел ему одеть сапог; тот стал во фронт, а он на него давай кричать. Народ около нас собрался. Такой срам! Я стою, жду, что будет. У меня были подвертки надеты, а все как-то страшно. Наконец он повернулся ко мне, а усы у него так вниз и вверх ходят. «Снимай, говорит, сапог». Черт знает, на улице стыдно, холодно, а тут еще народ собрался. Я сел подле фонаря, снял. Он посмотрел, брови съежил. «Хорошо, говорит, оденься». В это время смотрю — нет Баранцева, и народ смеется. Он, скотина, лататы задал. «Убежал, ваше превосходительство», — кричат все и хохочут. Генерал вырвал у меня из-за пуговицы билет, побагровел весь. «Марш, говорит, в корпус». Я отдал ему

честь и тоже чуть не бегом пустился от него спасаться. Иду, иду и оглянуться боюсь. Сам не знаю, чего боюсь. Пришел в корпус. Вот тут-то и вышла история.

Андрей остановился, взял апельсин и начал чистить.

— Я тут Муцием Сцеволой[1] сделался, — сказал брат и захохотал на весь лазарет. — Ты знаешь, кто был Муций Сцевола, который руку себе сжег? И я вроде него сделался.

— Что за глупости, — сказал я, не совсем довольный резким переходом Андрея от рыданий к дикой веселости.

— Ты слушай. Меня так назвал сам этот генерал. Я пришел в корпус; только что разделся — меня сейчас окружила вся почти наша рота. Я рассказал, как у меня генерал отобрал билет. Тут же Баранцев. Меня стали уговаривать, чтобы я не фискалил. Я сказал, что генерал и так узнает, а я не скажу. Скажу, что недавно поступил, не знаю фамилии. Баранцев спрятался в умывальне. Я пошел было являться, а уж за мной идут. Генерал пришел сам. «Кто с тобой был, который убежал?» — спрашивают. Я говорю: «Не знаю». — «Как так?» — «Недавно поступил». — «А! я тебе покажу». Я испугался, а сказать про Баранцева совестно. Принесли розог, начали сечь... Так больно. Я кричу во все горло: «Простите, простите». А генерал стоит и спрашивает: «Говори, кто с тобой был?» А я кричу: «Простите!» Сам не знаю, почему я не мог сказать: Баранцев. Совестно. Покуда секут, кричишь, а как перестанут и начнет генерал спрашивать, у меня язык не повертывается. Потом я уж ничего не помню. Так и не сказал. Ну, потом я открыл глаза здесь. Слышу, кто-то говорит: «Очнулся, ваше превосходительство». Ко мне подходит генерал, погладил меня по голове, и усы у него ничего, так себе. «Молодец, молодец! (Андрей сказал эти слова басом, в подражание генералу.) Никогда не выдавай товарищей». Потом сказал, что я буду Муцием Сцеволой. А Баранцева все-таки высекли.

— Зачем же ты не сказал с первого раза, что с тобой был этот Баранцев? — спросил я больше для того, чтобы сказать что-нибудь, так как брат замолчал и занялся апельсинами.

---

[1] По древнеримскому преданию, юноша Муций Сцевола, попав в плен, положил правую руку на пылавший жертвенник, показывая этим свое презрение к пыткам и смерти.

— Как зачем? Разве хорошо фискалить? Ведь я говорил же тебе, что обещался.

— Зачем ты обещался?

— Ну, уж так.

— Сам виноват, — сказал я, недовольный легкомыслием брата.

— «Сам виноват»! здесь нельзя быть фискалом, здесь не гимназия.

— Вон у тебя тут папиросы. Я напишу домой, что ты здесь куришь, — сердито сказал я, обиженный его фразой о гимназии.

— Пиши.

Я посидел еще недолго; мы оба неловко молчали; брат ел апельсины, а я вертел в руках конец его байкового одеяла.

— Ну, я пойду, — холодно сказал я. — До свиданья.

— До свиданья, — сказал Андрей, по-видимому, вовсе не замечавший моей холодности.

Я воротился в гимназию в очень недовольном настроении духа и начал ходить по двору, читая на стенах надписи: «Скоро отпустят готовиться», «Скоро экзамены», «Скоро вакация». Выражавшаяся в этих надписях поэзия ожидания счастливой минуты как-то неприятно дразнила меня, и я злился на брата всеми силами своей души.

На другой день к нам в класс вошел инспектор.

— Господа, — сказал он, — теперь будете готовиться к экзамену. Готовьтесь хорошенько. Экзаменовать будут строго — на всех экзаменах будет присутствовать губернатор. Классов не будет до будущего года.

Инспектор поклонился, точно окончив какое-нибудь важное священнодействие. Все повскакали с своих мест, и начались всегдашние шум, шарканье и пыль. Своекоштные радостно увязывали свои книги; некоторые второпях надевали при инспекторе на головы фуражки. Я бежал вместе с другими вверх по лестнице, в пансион, и в ушах моих, не без легкого оттенка грусти, звучали еще слова инспектора: «Классов не будет до будущего года».

Придя в пансион, мы начали, как обыкновенно делали по праздникам, слоняться из угла в угол. Все рассуждали о выборе мест для занятий. Для наивящего углубления в науки перед экзаменами дозволялось

уединяться в разные укромные места, и каждый, понятно, выбирал себе место сообразно своим склонностям. Сорвиголовы вроде Сколкова выбирали для занятий подвал или такое место, где при случае можно было поиграть в носки или даже напиться пьяным и выспаться. Шалуны, более невинные, довольствовались садом, где можно было поиграть в мяч или бильбоке. Люди, желавшие действительно заниматься, но с тем, чтобы это сопровождалось беспрепятственным курением табаку, выбирали себе места в тех классах, окна которых выходили на двор или в сад. Остальные места доставались совсем невинным людям, желавшим только избавиться, хоть на время, от докучливого начальнического надзора. Я хотел было остаться в столовой, где мы занимались обыкновенно, но Малинин сбил меня готовиться вместе с ним и еще несколькими своекоштными учениками в карцере, который у нас, не в пример обыкновенным темным карцерам, был хорошо освещен и как место скорби и плена был достаточно сносен.

Выбрав места, на другой день утром все скрылись из пансиона, но не для того, чтобы заниматься, а для того, чтобы, так сказать, примериться, до какой степени удобно будет заниматься в избранном уединении. Одни с удовольствием растягивались на столах и оставались на несколько времени с раскрытыми книгами, находя, что так заниматься довольно удобно; другие, скорчившись на окнах, закуривали папиросы и наслаждались свободой куренья, тоже развернув книги, в которые вовсе не смотрели. Третьи суетились, резали билеты и писали на них нумера, чтобы делать репетиции экзамена. Скоро, впрочем, новые места примелькались и поутратили значительную часть своей первоначальной обаятельной прелести, а многим положительно наскучили, и они стали возвращаться оттуда по одному в пансион. Началась обыкновенная томительная скука длинного праздника. Как всегда, только немногие счастливцы находили себе занятие, то строгая щепки, то играя в мяч, то занявшись «Тремя мушкетерами» или «Маврами при Филиппе Четвертом» —двумя книгами, ходившими по пансиону из рук в руки вместе с «Энеидой, вывороченной наизнанку», которую, впрочем, игнорировали все порядочные люди за исключением Оверина.

— Завтра уж начнем как следует готовиться к

экзамену,— решительно говорил каждый из нас вечером.

Утром принимались за книги, но через час всем становилось невыносимо и читать и слушать, и начинался вялый разговор об инспекторской лошади или о том, сколько приблизительно денег ворует ежедневно эконом. Потом, один по одному, мы расходились в разные стороны, и занятия прекращались.

— Еще много времени, успеем,— утешительно говорил кто-нибудь.

— Господа, сделаемте экзамен,— упрашивал нас Малинин.

— Нет, лучше завтра, теперь жарко,— отговаривались мы.

Но наконец, к великому удовольствию Малинина, уже терявшего всякую надежду когда-нибудь проэкзаменовать нас, мы изъявили согласие на экзамен. У Малинина все было приготовлено в величайшем порядке, начиная от билетов до экзаменного списка, где наши фамилии были с должным тщанием внесены в алфавитном порядке. В великой радости, которая всегда сопровождается азартной торопливостью, Малинин разложил перед собой экзаменаторские принадлежности — программы, билеты, списки и проч., уселся на табурет, откашлялся и вызвал:

— Баранов.

Баранов взял билет.

— Двенадцатый,— посмотрел Малинин.— Третий член символа веры,— объявил он, справившись в программе.

— Ну, я знаю.

— Так отвечай. Как читается?

— Что ж я буду отвечать! Я знаю.

— Не смейтесь, господа, что же это!— заныл Малинин.

— Ну тебя совсем с экзаменом!

— Ну, я и поставлю вам всем по единице.

И, несмотря на наш общий хохот, Малинин взял свой журнал и начал проставлять в нем единицы, а Баранову поставил нуль в квадрате с двумя минусами.

Так готовились все, а дни проходили за днями, и в классах уже вывесили расписание экзаменов. Первый экзамен, из закона божия, должен был совершиться

через неделю, а там, с антрактами в два и три дня, следовали экзамены из других предметов. Эта близость экзаменов нисколько не разнообразила нашей томительной скуки, и по воскресеньям, когда браться за книги считалось большим грехом, мы положительно мучились, не зная, как убить свое время. А на дворе все таяло, распускалось, зеленело и оживало. Воздух был пропитан сыростью весны. Большую часть воскресений я проводил в пансионе, так как в парадных комнатах Шрамов было еще скучнее, чем в нашей пустой зале, столовой и коридорах. Правда, мы с братом начали было ходить в Жидовскую слободку, к Новицкому, но нечесаная, нагая, вонючая бедность, глядевшая изо всех углов маленькой каморки, очень смущала меня, и я не мог отбиться от тоски, которая глодала мое сердце при виде неприятных картин нужды. Часто случалось нам заставать наших приятелей голодными, и Бенедиктов с восторгом устраивал на несколько копеек великолепную загородную прогулку с роскошным пиром. Его веселость заставляла даже меня забывать мои неприятные чувства; что касается Андрея, то он сделался истинным другом Бенедиктова и приходил в неподдельный восторг от его талантов, когда Бенедиктов то выпивал, в виде фокуса, полведра квасу, то притаскивал с базара украденный по пути каравай хлеба. Бенедиктова очень тешил билет Андрея, в котором было сказано, что означенный кадет уволен к *господину* Бенедиктову. Господин Бенедиктов всегда с особым удовольствием подписывал этот билет, прибавляя аттестацию, что Андрей Негорев ведет себя в отпуске, как во всех отношениях примерный мальчик.

— Душенька, голубчик, пойдем к Бенедиктову. Пойдешь? а? — являлся ко мне обыкновенно брат по воскресеньям.

Для того чтобы легче утащить меня из пансиона, он выставлял обыкновенно какие-нибудь приманки, вроде того, что мы отправимся куда-нибудь на кладбище, где будем варить кофе, или полезем на колокольню, где, может быть, нам позволят звонить, и проч. Раз брат меня известил, что мы будем кататься на лодке. С весьма понятной недоверчивостью я спросил брата о лодке.

— Уж это устроим, — объявил он. — Будет рыбная ловля.

— Кто же устроит?

— Я, Бенедиктов, Покровский и Семен. Поедешь? Сейчас и пойдем. Ступай просись.

Меня брало почему-то раздумье, не кончится ли эта рыбная ловля так же печально, как путешествие на войнишку.

— Что же ты? Ну! поедешь? — тормошил меня Андрей.

— Поеду. А где же лодка?

— Вот здесь в коридоре стоит: я на ней приплыл! — с досадой вскричал брат. — Поедешь, так поедешь, а не поедешь, так мы и без тебя уедем.

Я отпросился, и мы отправились, не совсем довольные друг другом. Брат, впрочем, никогда не сердившийся долго, скоро начал весело болтать о тех удовольствиях, которые представлялись нам на реке и за рекой. До Жидовской слободки от гимназии было довольно далеко, и я успел вдоволь наслушаться вкусных описаний жаркого и ухи, которую мы сварим из наловленной рыбы; для этого нужно только немного денег, и Андрей, всегда тративший свое жалованье в один день неизвестно на какие потребы, очень тонко намекнул мне, что я могу послать Бенедиктова за маслом, луком, говядиной и прочими приправами.

Маленькая каморка летом была гораздо веселее, чем зимой. Окно было выставлено, двери не запирались, и ветер гулял в ней, как дома. Впрочем, хозяева редко сидели в своей комнате, а больше наслаждались прохладой на дворе. Мы их застали сидящими на земле, около лестницы. Бенедиктов сшивал мочальной веревкой расколотое весло, и натянутая веревка оборвалась именно в то время, когда мы вошли. Красная голова Бенедиктова, красный кулак и кусок веревки отпрянули назад, и он стукнулся затылком об стену. Все захохотали.

— Что же, скоро? — спросил Андрей, когда смех немного успокоился.

— Видишь, дело нейдет. С этими веслами мы потонем. Придется мне тебя из воды вытаскивать, — сказал Бенедиктов, принимаясь опять за работу. — Дай-ка вон сюда удилище-то. Видишь, какое я тебе удилище выстрогал.

Андрей взял удилище, отошел с ним и начал целить в нос Бенедиктову. Тот, красный как рак, наклонился над веслом и с яростью тащил коротенький конец веревки

зубами, чтобы плотнее завязать узел. Семен вынул из ящика свои удочки и приделывал к ним грузила из оловянных солдатских пуговиц. Покровский, удивительно тупой малый, сидел на лестнице и смотрел на работу своих товарищей не то удивленными, не то сонными глазами, запустив руки в волосы и виски. По-видимому, он ничего не понимал и, удивленный до последней степени, обдумывал, что они такое делают.

— Ну, собираться надо, — сказал Бенедиктов, покончив с веслом. — Не дури — убью! — крикнул он на Андрея, который на этот раз попал ему в нос удилищем.

— А провизию, Бенедиктов? — спросил Андрей, красноречиво взглядывая на меня.

— Провизию купим дорогой.

Сборы были непродолжительны. Бенедиктов взвалил себе на плечи весла и удилища, Семен и Покровский захватили какие-то узелки с горшками и сковородками, и мы отправились. Андрей завладел левой рукой Бенедиктова и махал ею во все стороны, кривляясь рядом с своим другом

— Ты, Бенедиктов, попом будешь? — спрашивал Андрей, размахивая длинной рукой Бенедиктова.

— Попом, — серьезно отвечал Бенедиктов, и оба они хохотали самым веселым хохотом.

— И женишься? — спрашивал Андрей, почти повиснув на руке Бенедиктова.

— Само собой.

Они опять разражались хохотом.

— И дети у тебя будут?

— Само собой.

Когда мы дошли до лавки, Бенедиктов передал свою ношу Покровскому и отправился за покупками собственной персоной. Он очень любил стряпню и никому не доверял дел, касающихся кулинарного искусства.

— Черт знает, что-то плечо болит, — сказал Покровский, очевидно, намекая на то, что, совершив покупки, Бенедиктов может тащить весла на своих собственных плечах, которые ко всему тому вовсе не болят.

Но в ответ на это Бенедиктов раскатился хохотом, который гораздо приличнее было назвать грохотом.

— Спроси его, спроси его, Андрюха, — радостно толкал он брата локтем в бок. — Спроси его, как его отодрали в огороде!.. Вот брат! О-о-ох!

Бенедиктов отчаянно махнул руками и закатился, умирая от смеха.

— Что такое? расскажи, — пристал Андрей.

Но Бенедиктов не скоро собрался с силами.

— Видишь, — заговорил он наконец. — Видишь, подле нас есть двор. Ой, ой, ой, ой! и лазили мы туда дрова воровать...

— Как?

— Да так, через забор... забор-то у них набок покосился от нашей стороны... Туда соскочишь, а назад-то уж и не вылезешь. Вот что!

Бенедиктов опять замер от хохота.

— Зимой было холодно... ой! Мы и пустились на хитрости: привязали к столбу веревку; один слезет туда, накидает дров через забор и опять назад по веревке влезет... Вот! ох! Недавно мы вздумали кофе варить; вот Покровский и полез. Ой, ой, ой! Ну, влез, спрыгнул, а там ножичком — шасть, чирк: веревку-то и обрубили! Он, как крыса, заметался в ловушке... Ой, ой, ой, ой! Тот его спрашивает: «Зачем ты здесь?» — а он знай бегает по двору как угорелый... И начал тот его драть плетью.

Произнеся последнее восклицание, Бенедиктов остановился и чуть не задохся от хохота; он покраснел и начал тяжело кашлять.

— Ишь его захлестнуло! — с досадой сказал Покровский.

Это еще более усилило смех Андрея и Бенедиктова, так что мы должны были на несколько времени остановиться, чтобы дать им отдохнуть.

— Лопнете, — сердился Покровский, еще более разжигая их смешливость.

В этой веселой беседе мы незаметно дошли до реки. На песчаном берегу чернел целый длинный ряд лодок и плотов.

— Вот эта хороша будет, — сказал Бенедиктов, осматривая лодки. — Пусти, барчонок! Вот так.

И он с грохотом бросил на дно лодки удилища и весла.

— Это ваша лодка? — спросил я Бенедиктова, чтобы прервать мое неловкое молчание, которое, как я думал, было заметно для других.

— Нет, — отвечал Бенедиктов, начиная сталкивать лодку.

— А чья же?

— А черт ее знает.

— А, Бенедиктов! — вскричал брат и брызнул в Бенедиктова водой.

— Вы садитесь на дно, в середку, — сказал нам Бенедиктов, — а мы будем грести. Садись, ребята!

Узелки были сложены, весла приправлены, мы сели и отпихнулись от берега. От реки стлался легонький пар, пахло студеной сыростью воды, вдали расстилалась зелень противоположного берега; но удовольствиями плавания и картин природы нам не пришлось наслаждаться: едва отплыли сажени две от берегу, как в лодке показалась течь.

— Ну, выбрал Бенедиктов лодку! — с хохотом вскричал Андрей, поднимаясь на ноги, так как вода потекла уже во всю средину лодки и сидеть было невозможно.

— Отливайте шапками, — посоветовал Бенедиктов, продолжая грести. — Вынь горшок и отливай смело. С вами Цезарь![1]

Отливать, однако же, не было никакой возможности; счастье Бенедиктова было меньше прочно, чем счастье Цезаря, которому он себя уподобил, и вода засвистела в лодку фонтаном. Бенедиктов бросил весло и начал было отливать, но, видя бесполезность своей работы, стал сбирать весла.

— Собирай пожитки и — вплавь. Сейчас потерпим кораблекрушение! — скомандовал он и бросился в воду.— Ура!

Я с радостью увидел, что Бенедиктов остановился на дне; вода не доходила ему выше плеч. Несмотря на это утешение, я глядел решительно потерянным. Андрей, хорошо умевший плавать, снял сапоги и выскочил вслед за Бенедиктовым.

— Бросайся! — кричал он мне, схватившись за борт лодки.

Новицкий и Покровский тоже вылезли в воду. Лодка грозила каждую минуту пойти ко дну, и я, со страхом схватив за руку Андрея, бросился в воду. Но я напрасно

---

[1] Согласно легенде, так ободрял древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.) кормчего на корабле во время сильной бури.

надеялся на его помощь. Брату пришла несчастная мысль выучить меня плавать, и он тотчас же отдернул свою руку, как я только очутился в воде. Я с ужасом пошел книзу и, не находя под собой дна, начал отчаянно барахтаться в воде.

— Вот так, вот так! плыви, плыви! — поощрял меня брат, между тем как я выбивался из сил.

Наконец Семен подошел ко мне и помог мне выбраться на мелкое место. Я был страшно озлоблен на брата и торопливо пошел на берег, придумывая язвительные ругательства, которыми можно бы было наказать его. Бенедиктов снял с себя пальтишко и раскладывал его по дну перевернутой лодки, чтобы оно просохло на солнце.

— Этот мерзавец хотел меня утопить, — в порыве гнева сказал я Бенедиктову.

— Зачем?

— Я не знаю, зачем нужна ему моя смерть, — сказал я, соображая, что всего обиднее будет заподозрить брата в покушении на убийство.

Из романов я знал, что ввиду получения наследства один брат очень часто убивает другого, и старался убедить себя, что Андрей отдернул руку именно с целью получить мое наследство.

— Кто тебя хотел утопить? — с досадой сказал Андрей.

— Ты. Хорошо, что не удалось.

— Полно вам. Лучше просушимся и поедем на другой лодке, — вступился Бенедиктов.

— Нет уж, благодарю вас. В этот раз не удалось, может в другой раз удастся, — с мрачным предвидением сказал я.

— Стану я такой дрянью заниматься — топить его, — восклицал Андрей, развешивая свою шинель на солнце.

Но я продолжал высказывать самое положительное убеждение, что чуть не сделался жертвой преступных намерений брата и не хочу больше подвергать свою жизнь опасности.

Прогулка так и расстроилась, но и после, в течение нескольких месяцев, я не упускал случая напомнить иногда в сердцах Андрею о его злодейском покушении.

IX

ОВЕРИН ДЕЛАЕТСЯ НИГИЛИСТОМ И СОЗДАЕТ ТЕОРИЮ МИРА

Дня за три, за четыре до экзамена из закона божия все присели за книги и присели уж не партиями, а в одиночку. Я тоже принялся за катехизис и мучился, как Сизиф многострадальный[1], зазубривая непонятные определения и тексты. Все ходили из угла в угол и с книгами в руках бормотали на память какие-то слова, что делало пансион очень похожим на сумасшедший дом. Один Оверин не брался за книги и бродил в своей обыкновенной задумчивости из угла в угол. По временам он останавливался перед стеной и окном и, уперши глаза, которыми едва ли что-нибудь видел или хотел видеть, стоял неподвижно по нескольку минут. За день до экзамена, когда я особенно торопился окончить зазубривание последнего билета, Оверин подошел ко мне.

— Что вы это учите? — спросил он.

— Катехизис.

— Напрасно.

— Как напрасно? Ведь послезавтра экзамен.

— Что ж такое! Чтобы выдержать экзамен, нужно выучить только один билет. Я так и сделал — я непременно выдержу экзамен; вот увидите. Мне непременно достанется этот билет.

Оверин взглянул на меня; он, очевидно, предвидел, что я попрошу объяснения, и дожидался вопроса с полной уверенностью убедить меня двумя-тремя словами.

— На это надеяться нельзя, — с улыбкой сказал я.

— Нет, можно. Я думаю, что не стоит учить закон божий, не узнавши прежде точно, есть ли бог. Когда я узнаю это наверное, тогда буду учить. Я возьму верхний билет; если бог всемогущ, он может сделать так, что семнадцатый билет будет лежать сверху. Тогда я отвечу на экзамене и буду учиться. Если нет, значит я хорошо делал, что не учился закону божию.

Оверин говорил это с такой напряженной серьезностью, что видно было, что он рядом самых сложных соображений дошел до своего вывода.

---

[1] По преданию, древнегреческий царь Сизиф, провинившийся перед богами, в наказание должен был вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, каждый раз скатывался вниз.

— Во всяком случае, значит, закону божию не нужно учиться, — сказал я засмеявшись. — Если бог всемогущ, можно готовить только один билет к экзамену; если нет — тогда совсем ничего не нужно.

— Вовсе не в экзамене дело! — презрительно сказал Оверин. — Что экзамен!

— А что же?

— Вы ничего не понимаете, — вдруг обидевшись на что-то, проговорил Оверин и отошел от меня.

Я опять принялся за книгу, но смешливое воспоминание о чудаке Оверине долго не давало мне сосредоточиться на текстах катехизиса. А вокруг точно шмели жужжали. Многие, зажав уши и наклонившись над книгами, с яростью тараторили какие-то слова, непонятные, как заклинание для непосвященных. Малинин разложил перед собой билеты и, зажмурив глаза, брал один за одним, сверяясь потом с программой. Ему все доставались такие билеты, которые он хорошо знал, и он потирал руки от радости. В самый день экзамена почти все поднялись часа в четыре утра и не без волнения принялись за книги. Некоторые украдкой молились богу, и, войдя в залу, я поймал там Малинина, который клал земные поклоны. Он вскочил на ноги в крайнем смущении и начал обдергивать курточку. К его лицу прилили волны краски, он пристально всматривался в пол и беспокоился что-то на одном месте.

— Черт знает, иголку где-то потерял, — сказал наконец Малинин. Его стыд, смущение были безграничны. Мне стало неловко, и я поспешил уйти из залы; он проводил меня печальным, боязливым взглядом. Бедняга ждал, что я расскажу про него всем и отдам на посмеяние его сокровенные чувства.

Нам выдали новые курточки; мы оделись и отправились пить чай. Немногим из нас пилось и елось в это утро как следует. В девять часов мы собрались внизу, в классном зале; туда же пришли своекоштные; все уселись на скамьях, поставленных без парт в несколько рядов. Перед красным столом, на возвышении, не было даже признака каких-нибудь экзаменаторов; только грозно и молчаливо стояли вокруг стола тяжелые кресла, а перед каждым из них лежал лист белой бумаги. Это было точно приготовление к какому-то великому священнодействию. Несмотря на раннюю пору, в зале, от множества

собравшихся учеников (в этот день предположено было проэкзаменовать четыре класса), было жарко и тесно. Однако же при необычайном скоплении народа особенного шума и говора почти не было слышно: всем было не до того. Ожидание было невыносимо скучно. Все вздыхали, перелистывали книги и молчали. Наконец явился инспектор. Ожидание оразнообразилось. Явился учитель закона божия, а вскоре и директор. Все они потолкались-потолкались около стола, отошли к окну и начали разговаривать.

Скоро ли приедет архиерей? Сердце сжималось от напряженного ожидания. Несмотря на то, что я знал весь катехизис довольно хорошо и мог ответить на какой угодно вопрос, дрожание в неизвестности между страхом и надеждою до боли угнетало меня. Мне казалось, что может случиться какое-нибудь непредвиденное обстоятельство и я не выдержу экзамена. Чем больше мы вздыхали в ожидании архиерея, тем неуверенность моя и страх не выдержать экзамена усиливались все более и более.

Наконец приехал архиерей. Присутствующие экзаменаторы подошли к нему под благословение; затем была прочитана молитва, и все чинно заняли свои места за столом. Начали с нашего класса. Вызывали по двое. Ожидание вызова начало томить, пожалуй, еще хуже, чем ожидание самого архиерея. «Так я отвечу или хуже? — думалось каждому, слушая ответы своих товарищей. — Как он смешался! Как бы я мог отлично ответить на этот билет! Впрочем, и со мной это может случиться».

— Оверин, где Оверин? — захлопотали вокруг меня, и я встрепенулся, как от дремоты.

— Он вышел.

— Позовите его! — с досадой крикнул инспектор, подбегая к скамьям, на которых сидели ученики.

Среди толпы уже проталкивался Оверин, держась за нижнюю пуговицу своей курточки и усиливаясь ее отвинтить. Это он делал всегда, когда чувствовал в чем-нибудь малое или большое затруднение. Нижняя пуговица как будто мешала ему хорошо и быстро соображать, и с устранением ее его умственные способности должны были проясниться.

— Бери билет, — сказал инспектор, подталкивая его в спину.

Оверин протянул руку, взял билет и устремил долгий,

рассеянный взгляд в его нумер. Усердие его при отвинчивании пуговицы возросло до последней степени; она уступила его усилиям, с грохотом покатилась по полу. Адам Ильич догнал ее, схватил на лету и спрятал в карман.

— Это пустяки, — сказал Оверин самым уверенным тоном, кладя на стол билет с спокойной миной игрока, сходившего козырным тузом и не сомневающегося взять взятку.

Серьезные слова Оверина так не гармонировали с окружающей серьезной обстановкой, что, несмотря на важность минуты, я не мог не рассмеяться от души. Архиерей и экзаменаторы, впрочем, дали словам Оверина не тот смысл, который он хотел придать им.

— Да, — с строгой важностью сказал архиерей. — Первый нумер: сотворение мира. Ты этот вопрос знаешь. Отвечай.

— Отвечай, — как эхо, повторил директор.

Оверин начал отвечать как-то нехотя, сонно и вяло, беспрестанно останавливаясь и дожидаясь вопросов, вроде: «Ну, а сколько же сыновей было у Адама?», «Ну, и за что же Каин возымел злобу на Авеля?» Сонливость Оверина сообщилась как-то всему ареопагу экзаменаторов.

— Хорошо, — как-то рассеянно сказал архиерей; он, как казалось, едва воздерживаясь от зевоты, взял журнал и поставил там четыре.

Дальше экзамен продолжался очень вяло; на первых же словах архиерей останавливал ученика, говорил: «Хорошо» и отмечал в журнале четыре. Тут нельзя было ни отличиться, ни провалиться: экзамен делался скучным, перестав походить на азартную игру, в которую можно было проиграть год жизни, а может быть, и целую карьеру. Я, так же как и другие, вышел очень вяло, чувствуя, что отправляю только пустую формальность. Архиерей, так же как и других, остановил меня на первых же порах и поставил в журнале четыре.

Я вышел из залы очень довольный и с удовольствием встречал веселые лица, смех и громкую болтовню о том, кому какой билет достался, что говорил архиерей и проч. и проч. До обеда оставалось еще много времени, и мне скоро надоело шататься среди веселой, шумливой и говорливой толпы учеников: везде шли почти одни и те же

разговоры. Я пошел в маленький садик, за баню, лег там на траву и стал смотреть на небо, которое было бесконечно глубоко и ясно; взор утопал в мягкой, чистой лазури; кой-где торчали, точно куски ваты, белые облачка. Я люблю смотреть на небо, лежа на спине: в это время дышится как-то вольнее и грудь наполняется чем-то свободным и великим, чуждым всяких желаний. Я начал думать об Оверине и не мог не рассмеяться, припоминая его комическую серьезность. Слова: «Это пустяки», казалось, и теперь еще отдавались в моих ушах. В это время подле меня раздались шаги, и кто-то прошел мимо, чуть-чуть не наступив на мою голову.

— Оверин! — почти невольно позвал я.

Оверин обернулся и дико взглянул на меня, точно я разбудил его от сна. Он, видимо, унесся далеко от нашего бренного мира, и ему дико было видеть близость живущего существа.

— Оверин, — повторил я, — о чем вы думаете?

Он молчал и продолжал рассеянно смотреть на меня.

— Что вы думаете? — спросил я опять.

— Ничего, — задумчиво ответил он, подходя ко мне. — А вы что?

— Я лежу. Ложитесь.

Оверин молча лег на траву и стал смотреть на небо. Мне было почему-то смешно, что подле меня лежит такой чудак.

Мы оба довольно долго молчали; мне было очень весело; внутри меня дрожал смех.

— Знаете что? — сказал вдруг Оверин.

— Что?

— Для всех ли время одинаково?

— Как одинаково?

— Так. Например, человек живет восемьдесят лет, а собака — всего десять лет, а муха — одно лето, месяца три. Неужели мухе ее век не кажется таким же длинным, как и человеку его век, а?

— Не знаю.

— Я думаю, муха тоже думает, что она живет лет восемьдесят. Даже для людей время идет не одинаково; говорят: «Время летит быстро, время долго тянется, одна минута кажется годом». Должно быть, муха принимает каждый день за год. Утро — для нее весна, полдень —

лето, вечер — осень, а ночь — зима. Она — маленькое животное, и век ее короче. Как вы думаете?

— Да, — рассеянно сказал я, — мухе, я думаю, время кажется длинней, чем человеку.

— Я думаю, есть такие животные,— говорят, есть такие маленькие животные, что в одной капле воды их помещается несколько сот,— им, я думаю, наша минута кажется годом: время для них идет еще тише, чем для мухи.

— Да.

— Этих маленьких животных в капле можно видеть только через увеличительные стекла. Я думаю, есть животные еще меньше — в бильон бильонов раз, которых нельзя видеть ни через какие увеличительные стекла. Для них, я думаю, один миг кажется тысячелетием. Покуда мы мигаем глазом, они успевают прожить столько же, сколько мы прожили от сотворения мира. В то время как мы мигаем глазом, у них переменяется тысяча поколений: одни умирают, другие нарождаются. Кто знает, может быть, они также строят маленькие города, которые мы видеть не можем, а для них кажутся такими же большими, как Лондон. У них есть войны, великие полководцы и государи. Они думают, что живут с незапамятных времен, а для нас все их существование — несколько тысячелетий — один миг. Мы закрыли глаз — народ этот начал жить от Адама, строил города, корабли, вел войны, а мы открыли глаза — у них конец мира. Знаете, я думаю, что на нашем теле живут такие же люди, как мы, только очень маленькие, и мы их не можем видеть ни в какие увеличительные стекла. Они считают наше тело землей и доказывают, может быть, что она кругла. Они строят на нашем теле города, роют каналы, рубят леса, пишут свою историю и считают, что от сотворения мира прошло несколько тысячелетий, и думают, что конец мира должен последовать через несколько тысячелетий. А все эти тысячелетия проходят в то время, как мы мигаем глазами. Двигая пальцем, я теперь, может быть, разрушаю целые миры этих людей с городами, с дворцами, с разными животными; у них есть и киты, и слоны, и мухи — все, как у нас, только такое, что в бильон бильонов раз меньше нашего.

Я засмеялся, но Оверин, увлеченный своей мыслью, не обратил на мой смех никакого внимания. Он смотрел

на небо, выставив вверх руку с согнутым пальцем, на котором предполагались города, дворцы, леса, слоны и киты, и говорил как будто не мне, а голубому своду, далеко простиравшемуся над ним.

— Вот я согнул палец, и у них теперь светопреставление: они бегут по улицам; храмы, статуи, дома, мосты — все рушится, давит их, как на картине «Последний день Помпеи». Может быть, на этих маленьких людях живут тоже целые миры еще меньших людей и для них тоже незаметные, все равно, как мы незаметны для земли. Я думаю, земля — тоже человек. Мы, может быть, живем на его пальце, и наши тысячелетия кажутся ему мгновением, терцией[1]. Он согнет палец — и у нас будет светопреставление, и все разрушится. Он — этот великан, Земля, и не думает, что мы живем на его пальце и строим города: он не может видеть в свои увеличительные стекла таких маленьких животных, как мы. Этот великан, для которого наше тысячелетие — один миг, тоже живет среди других людей — таких же великанов, — может быть, он теперь тоже учится в гимназии. Может быть, он читает теперь Марго, одна запятая в котором равняется пространству в тысячу раз большему всей Европы: иначе ведь он не мог бы видеть запятой. Он положил палец на страницу и хочет перевернуть листок. Тогда наш мир начался. Прошло семь тысяч лет, а для него это одна мильонная терции, такая маленькая часть времени, в которую он не может ничего сделать. Пройдет двадцать тысяч лет — это для него мгновение, он едва успевает перевернуть в это время страницу. Тут будет у нас светопреставление, а он и не подумает, что перевернув страницу, разрушил столько городов и погубил столько людей. После он захочет отогнать муху, и, покуда махнет рукой, для новых людей (нас уже тогда не будет) пройдут пятьдесят тысячелетий. Во время его взмаха успеет создаться новый мир, с городами, с гимназиями, с церквами — и опять разрушиться, когда он отгонит муху и положит руку на книгу. Тут будут рассказывать про Адама, будут учиться, так же как мы, географии, а он отгонит муху, и ничего этого не будет. Покуда Земля-великан приготовит урок, для жителей на его теле, для нас, пройдут несколько мильонов тысячелетий, и будет не-

[1] Терция — 1/60 часть секунды.

сколько светопреставлений, точно так же, покуда я говорил, для маленьких людей, живущих, например, на моем пальце, прошли мильоны тысячелетий. Они думают, что живут тоже на Земле, пашут пашни и роют колодцы на моем пальце (я, конечно, не могу этого чувствовать, как не чувствует Земля), а я отгоню муху, — и колодцы засыплются, и целые города обрушатся. Для них маленький прыщик — величайшая гора, так же как Везувий — прыщик, не заметный для Земли. Вот муха мне села на палец — это для них кажется величайшей планетой, упавшей на землю и разрушившей целую страну, такую, как Россия.

Я слушал и не знал, что подумать. Я повернулся на бок и начал смотреть на Оверина. Лицо его было спокойно, глаза горели уверенно.

По-видимому, он и не подозревал, что высказывает не простые, понятные и резонные вещи, а сообщает нечто удивительное.

— Вот вы все-таки выдержали экзамен, — сказал я, когда Оверин остановился.

— Что ж! Я рассказал им, как сказку! — презрительно сказал он.

— И теперь вы вовсе не будете учиться закону божию?

— Как вздумается, не знаю, — невнимательно сказал он, встав на ноги и обдернув свою курточку, из-под которой во время лежанья уже успел вылезти порядочный клок белой рубашки.

— А другие экзамены, вы как — так же будете держать? — насмешливо спросил я.

Оверин уставился на меня и смотрел как будто наблюдающими глазами, очень похожими на глаза мудрой совы, но на самом деле едва ли он видел меня. Мысль его, может быть, носилась в том громадном городе, где живет великан-Земля, и он плохо сознавал присутствие окружающих предметов. Я молчал, и он молчал. Наконец Оверин повернулся и медленно, задумчиво пошел от меня, двигаясь, точно лунатик.

На другой день, когда я отыскал его, чтобы посмотреть, готовится ли он к следующим экзаменам, Оверин лежал между деревьями и вслух спрягал какой-то латинский глагол, отставив от себя подальше книгу и зажмурив глаза.

Следующие экзамены пролетели очень быстро; я перешел вместе с Малининым и Овериным в следующий класс и уехал один на вакацию, в деревню. Андрей оставался в лагере, и лето я провел довольно скучно, читая тетушке разные назидательные повести и играя с Федосьей в дурачки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ПЕРЕМЕНЫ

Мы возвратились к нашим занятиям. Опять начались классы; опять мы утром слушали замысловатые анекдоты Якова Степаныча и ругательства пьяного Ивана Капитоныча; опять получали кокосы от Федора Митрича. Опять после обеда мы начали скучать, шатаясь из угла в угол, после того как воспоминания и рассказы о разных происшествиях, случившихся на вакации, всем изрядно надоели. Потекло наше время своей обычной чередой, очень мало разнообразясь приготовлениями к годичному торжественному акту. Несчастному Малинину предназначено было прочесть на этом акте басню Крылова «На барский двор свинья когда-то затесалась», и Адам Ильич решительно не давал ему покоя.

— Нужно рассказывать, а не читать! — кричал Адам Ильич, дергая его за пуговицы. — Это самое лучшее место: «Пришла домой свинья-а-а свиньео-о-ой», как будто видишь перед собой свинью, всю в грязи. В это время нужно развести руками. «Свинь-а-а свиньо-о-оей».

— Свинья-а свинье-е-ей — тянул, чуть не плача, Малинин.

— Не так, не так! — кричал Адам Ильич, и муштрованье начиналось снова.

Вообще Малинин имел много причин проклинать

годичный торжественный акт. Яков Степаныч, узнав как-то про его красивый почерк, явился однажды в пансион с фунтом стеариновых свечей и объемистой диссертацией под названием «Анализ и синтез», которая начиналась словами: «Líttera docet, littera nocet»[1] и вмещала в себе несметные тысячи латинских и греческих цитат. Эти цитаты Малинин, само собой разумеется, беспрестанно перевирал, и ему приходилось переписывать каждый лист по нескольку раз, укрепляясь в убеждении, что littera nocet.

Хлопоты перед публичным актом еще более увеличились, когда узнали, что на акте будет новый губернатор, приехавший недавно на смену старого. Адам Ильич навязывал всем встречным и поперечным учить какую-то французскую оду Ж.-Ж. Руссо, но все, вероятно, принимая во внимание горькую судьбу Малинина, отмахивались от оды руками и ногами. Чтение ее так и пришлось исключить из программы годичного торжества. Впрочем, от этого не было большой потери, так как разных речей и чтений была приготовлена целая куча.

Как все торжества, акт открылся музыкой, которая, впрочем, довольно нескладно проиграла туш при приезде губернатора. Новый губернатор представлял большой контраст со старым губернатором. Старый был высок ростом, ходил прямо, точно движущийся верстовой столб. Новый был мал ростом, поджар и ходил, наклонившись всем туловищем вперед, будто готовясь нырнуть в воду. Старый был сановит, строг и недоступен. Новый был очень вежлив и всем улыбался, помахивая на ходу левой рукой, точно говорил: «Уж я знаю, что все хорошо». Старый ходил тихими, ровными шагами, или, лучше сказать, «тихими, но верными стопами». Новый бегал как-то вприпрыжку и вообще был необыкновенно юрок, так что на первый взгляд он значительно уступал своему предшественнику во всех отношениях, не говоря уже о том, что был по крайней мере на двадцать лет моложе его.

Когда все члены педагогического совета — все учителя, на этот раз побритые, причесанные и, сверх обыкновения, совершенно трезвые, — уселись, под председательством губернатора, за тот же красный стол, перед

---

[1] Книга учит, книга мучит *(лат.)*

которым мы держали экзамен, директор взошел на кафедру, поставленную лицом к столу и спиной к нам, и начал читать годичный отчет о результате экзаменов. Столько-то и такие-то переводились в класс; столько-то и такие-то были оставлены за слабостию успехов еще на год в том же классе. Окончили курс столько-то, в том числе Рогов (он же Сенечка) и Чебоксаров, с правом на чин четырнадцатого класса, как означено в такой-то статье. Директор поклонился и сошел с кафедры, на которую тотчас же влез Яков Степаныч со своим «Анализом и синтезом». Он долго кривлялся и махал руками, выкрикивая что-то, как кажется, ни для кого не понятное. Мы стояли во фронте и, несмотря на строгий запрет, кашляли и сморкались в строю, выражая этим свою крайнюю скуку и неудовольствие. К большой радости всех присутствующих, Яков Степаныч наконец в последний раз махнул в воздухе своим «Анализом и синтезом» и сошел с кафедры, перед которою робко вышел несчастный Малинин. Он ужасно смутился, покраснел и в страшном припадке кашля, как сорока, пролепетал свою басню. После этого Иван Капитоныч начал читать свое сочинение о свойствах русского глагола. Не успел он доехать до половины этого почтенного труда, как губернатор начал суетливо ежиться и торопиться, точно он забыл дома платок. Иван Капитоныч, поймав выразительный взгляд директора, пробросил несколько лучших страниц и прочитал только конец, заявляющий, что русский глагол труднее всех других глаголов поддается изучению иностранца. От неподвижной вытяжки во фронте у нас отекали ноги, и мы с удовольствием увидели, что губернатор, взяв у директора какой-то листок, начал вызывать учеников, удостоившихся похвальных листов и других наград. Мне пожаловали латинский словарь Кронеберга, а Оверин получил похвальный лист, который его, кажется, очень смутил. Он покраснел, торопливо согнул его вдвое, вчетверо, в восьмую долю, скомкал и заткнул за обшлаг вместе с платком.

Когда кончился акт, наш обед был уже готов, и мы в стройном порядке, церемониальным маршем, в сопровождении всего синклита, отправились к столу. Губернатор, улыбаясь, попробовал суп и махнул левой рукой, точно говоря: «Я знал, что суп хорош».

— А у вас детям не дают молока? — спросил он.

— Никак нет-с, ваше превосходительство, — подскочил директор.

— Кстати, я хотел сказать: отчего бы служителя не могли подавать блюда, как это обыкновенно делается?

Этим замечания губернатора окончились, и он уехал из гимназии. Нам действительно начали подавать кушанье служителя, и мы уже не передавали друг через друга тарелки с супом или кашей; по праздникам начали давать молоко, но — и только...

Между тем от нового губернатора все ждали чего-то ужасного. В первые же дни своего приезда он уволил множество чиновников...

— А? что? — сказал мне в последнее воскресенье старик Шрам, как будто не узнавая меня. — Вот у вас в гимназии будет губернатор: он там проберет ваших.

Но все покуда оказалось благополучным, вопреки пословице о новой метле...

Опять потекли дни за днями своим обычным чередом. Небритые учителя, с водочным запахом, с ругательствами и криками так же нагоняли на нас страх по утрам; опять мы скучали после обеда; опять жужжали вечером, как шмели, приготовляя уроки к завтрашнему дню. Перебранки друг с другом, систематические выговоры Адама Ильича, обыденные толки о том, что и сегодня высекли такого-то, а вчера такого-то — все это пошло своим чередом. Правда, в первых числах случилось необычайное обстоятельство: директор не пошел с отметками, и, таким образом, единицы и двойки остались без привычного возмездия; но об этом потолковали с неделю и забыли. После этого события пронесся смутный слух о том, что Иван Капитоныч попал пьяный в часть и был представлен полицией, с разбитой рожей, в контору дирекции, но и об этом обстоятельстве также скоро забыли. В пансионе было скучно, как и прежде. Разница была только та, что с выходом Чебоксарова и Сенечки число старших как будто значительно уменьшилось и они сделались не так грозны и неприступны. Дерзкая мысль, что старшие — такие же смертные, как и мы, укреплялась в нас все более и более. Да и сами старшие, потеряв своих лучших представителей, как будто уже не так свято верили в непреложность своей деспотической власти над младшими и с меньшей самоуверенностью раздавали нам подзатыльники и пощечины.

Человек, говорят, ко всему привыкает. Не знаю, привык ли я к патриархальному управлению строгих старших, но с увеличением свободы, я, против всяких разумных оснований, как будто сожалел об отсутствии Сенечки и Чебоксарова. Покуда я не свыкся с новыми порядками, мне как будто чего-то недоставало.

Наша дерзкая мысль о том, что старшие — не больше как люди, еще более укрепилась, когда Сенечка и Чебоксаров посетили пансион. Они, кажется, хотели незаметно прошмыгнуть в старшую спальню, но их заметили и узнали. Узнали в двух оборванных, грязных пьянчужках, во всех отношениях достойных презрительного сожаления, двух когда-то грозных старших. Они говорили нам глупости, просили денег взаймы — и над ними потешались все желающие. Sìc transìt gloria mundi![1]

Словом, мы незаметно дожили до чрезвычайного происшествия. Однажды, когда только что окончилась первая лекция и ученики со всех классов посыпали в пустую залу, где стоял еще стол, покрытый запыленным красным сукном, и кафедра, туда вошел тихими, задумчивыми шагами директор.

— Дети,— сказал он,— я должен проститься с вами: я уезжаю.

Он остановился, чтоб перевести дух, а может быть, и в ожидании шумных выражений нашего сожаления. Но мы молчали и ждали, что будет дальше.

— У вас будет новый директор,— сказал он, махнув синим картузом с кокардой.— А до тех пор, пока он приедет, мою должность будет исправлять Семен Васильевич.

После этого директор повернул от нас свое брюхо (он повертывался залпом, как флюгер) и исчез в дверях.

По поводу отставки директора начались оживленные толки, причем высказывались различные, более или менее вероятные причины его увольнения. Сколков думал, что директор проиграл и пропил казенные деньги, а Оверин как-то сказал мне, что директору давно следовало уволиться, так как жирный человек не может хорошо выполнять никакой должности, будучи исключительно занят разными мыслями о пьянстве и обжорстве. Новый

---

[1] Так проходит слава земная! *(лат.)*

директор, назначенный из учителей какого-то девичьего института и написавший даже какой-то учебник для благородных девиц, тоже не был оставлен без внимания. Впрочем, все предположения относительно его пороков и добродетелей были решительно голословны, и тот, кто сегодня был убежден, что учителя благородных девиц вообще имеют кроткий характер, завтра, без всякого затруднения, приходил к мысли, что, не имев возможности сечь девиц и теперь дорвавшись до розог, он поспешит наверстать долгий пост и, таким образом, будет пороть напропалую.

Вскоре после отъезда директора Федор Митрич явился в класс в особенно мрачном расположении духа. Он тяжело опустился на стул, подпер голову руками, и надолго воцарилось грозное молчание. Наконец он как бы очнулся и подошел к партам.

— Негорев,— сказал он тихим, брюзгливым тоном, каким говорят, только что проснувшись после сильного похмелья.

Я встал на ноги.

— Что у вас сегодня? — спросил он тем же тоном. Видно было, что он хотел ко мне придраться.— Отвечай.

Я прочитал ему урок. Он слушал молча, по временам иронически кивал головой. Когда я кончил, он заставил меня чертить на доске карту той страны, про которую я только что рассказывал. У нас никогда не чертили карт, и потому, естественно, я начал чертить что-то совсем неподходящее. Федор Митрич торжествовал.

— Да! Да! — говорил он с злобной иронией.— Отличный ученик! Да и зачем теперь учиться? вовсе не надо учиться! Из-за чего учиться? Умные люди выдумали, что конфетками надо приохочивать к ученью. Так и будем знать, будем конфетки носить! Черт бы вас побрал, болваны! — вдруг с яростью закричал Федор Митрич, как будто мы действительно забылись до дерзкого требования конфеток.— Хороши вы будете! Будете свиней пасти! Поди-ка сюда!

Я робко подошел.

— Ты конфет хочешь! конфет хочешь! — закричал он, сопровождая каждое свое восклицание ударом кулака в мою невинную голову. Но так как я закричал, он прекратил свое упражнение, яростно крикнув мне: «Брысь на место!» — и повел уже речь к целому классу:

— Я буду вас учить конфетами-кокосами, ананасами! Вы у меня узнаете конфеты!

Федор Митрич продолжал кричать громче и громче. На губы у него выплыла белая слюна, как у всех раздраженных паралитиков, и делала его похожим на бешеную собаку, лающую с пеной у рта.

— Ах вы, щенки! дворяне! Конфетами их учи!

Долго еще кричал он на эту тему. Наконец в совершенном изнеможении упал на стул и замер; слышно было только тяжелое дыхание, да по робкому движению губ можно было заметить, что он еще не совсем успокоился и, может быть, собирается только с силами, чтобы поднять еще сильнейшую бурю. Но звонок помешал ему.

Через несколько дней Иван Капитоныч устроил тоже сцену, очень похожую на эту. Он, по обыкновению, явился вполпьяна, сел на стул и крикнул:

— Ну, читай, какой-нибудь дубина!

— Я — дубина, Иван Капитоныч, позвольте читать,— крикнул Сколков.

Иван Капитоныч взглянул на него и вдруг оскорбился.

— Кто это? — закричал он.— А, это ты! Иди-ка сюда, господин Дубина.

Сколков вышел.

— Скажи мне, пожалуйста, для чего ты, Дубина, живешь? — начал Иван Капитоныч,— что из тебя выйдет? Если б ты был действительно хоть небольшой дубовой палкой, из тебя можно было бы сделать трость, а теперь куда ты годишься? Бить тебя — и то ничего не поделаешь. Не бить? Да как не бить? Ведь ты в каторгу пойдешь, разбойник, если тебя не бить! Вот ты — дворянин, ничему ты не учишься, есть будет нечего, пойдешь воровать, и все этак пойдете, и сделается ведь у нас наконец целое царство воров, так что и воровать не у кого будет. Не бей вас! Дворяне! Потому-то и бить нужно, что дворяне. Неграмотный мужик пойдет землю копать, а ты не пойдешь: ты воровать только пойдешь!

Слушая такие речи, мы не совсем понимали, в чем дело, покуда болтливый Яков Степаныч не открыл нам, что губернатор просил инспектора не забывать, что его попечениям вверены дети дворян, сечь которых не совсем прилично.

— Мудрят, мудрят,— сказал Яков Степаныч,— посмотрим, что будет.

Известие об отмене розог всех очень смутило. В самом деле, что-то будет? Как-то не верилось даже, что начальство решится на такую смелую реформу, как уничтожение розги, и в голову лезли разные нелепые предположения относительно того, что мы будем делать в отсутствие спасительного регулятора. Во всех трепетала неясная мысль, что должно произойти что-то чрезвычайно необыкновенное, что-нибудь вроде громадного скандала. Не начать ли бить стекла? Нет больше розог, нет больше преграды, и бурный поток хлынет и потопит все. Но ничего не хлынуло, ничто не было потоплено и разрушено. Мы по-прежнему аккуратно готовили свои уроки, находились в совершенном повиновении у Адама Ильича и инспектора и не думали бить стекол.

Толкуя между собой, мы высказывали разные предположения относительно того, чем заменят розгу и как теперь будут карать леность, строптивость, дурную чистку сапогов, злоупотребления мелом с целью написания на спине Адама Ильича разных неподобающих слов и другие преступления и пороки. Малинин, принадлежавший тоже некоторым образом к «мирным воителям, правды блюстителям», так как на его обязанности лежало записывать на черную доску ленивых и на красную прилежных, причем он фамилии своих недругов гравировал на черной доске особенно четко, а на красной писал тонко и неразборчиво, высказал предположение, что теперь главной мерой наказания будет внесение на черную доску, и каждый, попавший на нее три раза, будет исключен из гимназии навсегда. Сколков никак не мог поверить, что такая важная сторона его существования, как порка, может исчезнуть невозвратно.

— Это пустяки,— говорил он.— Посмотрят, посмотрят, да опять драть начнут.

Оверин, встретив меня как-то одного, объяснил, что розгу давно следовало уничтожить как вещь совершенно лишнюю, потому что она не уменьшает ожирения, от которого происходит леность. Чтобы окончательно искоренить этот последний порок, который он называл болезнью, по его мнению, следовало кормить лентяев одной овсянкой и как можно чаще давать им слабительное. От этого лекарства лентяи в самом непродолжительном времени, как он полагал, долженствовали превратиться в таких же легких и энергических животных, как лега-

вые охотничьи собаки, которых ничем не кормят, кроме овсянки, чтобы не возбудить в них склонности к лени и неподвижности.

А время все шло, и мы скоро перестали удивляться, что нас не водят в сторожку и не заставляют кричать под розгами.

Однажды случилась такая невероятная вещь, что Иван Капитоныч явился на урок в достаточно трезвом состоянии и вздумал сделать диктовку. В то время как он громким баритоном застучал отдельные слоги какой-то речи о Финляндии, «прекрасной в своей дикости», в класс совершенно неслышно вскочил губернатор, точно он к самым дверям приплыл на лодке и только у порога выскочил на твердую землю. На нем была серая солдатская шинель, в руках он держал фуражку с красным околышем. Мы опешили и как-то растерянно, один по одному, поднялись с мест, а не все вдруг, как бы следовало. Иван Капитоныч потерялся еще больше нашего. Книга из рук его выскользнула на пол, и я ясно заметил, что он дрожал всем телом, как в лихорадке.

— Вы еще здесь? — резко крикнул губернатор, махнув нам рукой, чтобы мы сели.

— Здесь, ваше превосходительство,— едва в силах был ответить Иван Капитоныч — так дрожал он весь, и так дрожал его голос.

— Вам давно сказано, чтобы вы подавали в отставку. Я с вами распоряжусь иначе!

Губернатор повернулся и побежал из класса.

— Ваше превосходительство! — с умоляющим трепетом продрожал голос Ивана Капитоныча.

И он бросился вслед за губернатором.

После этого я уже никогда не видал Ивана Капитоныча; другие встречали его на улицах, около кабаков, бесчувственно пьяным, оборванным, с разбитым лицом. Так и погиб он где-нибудь смертью всех русских гениев: или от побоев на пороге кабака, или в больнице от белой горячки.

Когда ушел губернатор, мы узнали, что через неделю будет экзамен тем из великовозрастных мудрецов, которые, в пристальном изучении четырех правил арифметики, оставались в одном классе более двух лет. Вследствие этого распоряжения большинство пансионских старших

закопошилось: все начали толковать об экзаменах и предстоящем затем исключении из гимназии.

— Мелочь-то, мелочь-то какая останется! Клопы одни,— с сокрушением говорил один старший другому.

— Да. А прежде бывало: Никитин, Казанцев, Бурдин! У самого полицеймейстера лошадей угоняли! Все равно что студенты!

— Мелочь останется — уж такой свободы не дадут, как прежде.

Такие лебединые песни можно было слышать во всех углах. Почти все были недовольны новыми порядками. Из третьегодников никто и не думал готовиться к экзамену: они примирились с своей долей и думали только о близком возвращении в родительские дома. Они ходили по двое по коридору и сладко рассуждали:

— Знаешь, что я думаю? я попрошу у отца денег и буду торговать рыбой. У нас рыба очень дешева; я буду скупать и привозить ее сюда. Заведу свою барку — отлично будет! Устрою там себе каюту, этакую небольшую, оклею ее обоями, поставлю кресла, диван. Ведь это недорого будет стоить.

— Да,— размышляя, отвечает другой,— и сделать ее темною, чтобы лампочка такая матовая там горела или свеча за абажуром.

— И девчонку туда,— робким шепотом прибавляет первый, потирая руки от восторга.

Наконец настал день экзамена; собрался педагогический совет, и приехал губернатор. Комедия началась с шестого класса. Один из двадцатилетних юношей заявлял, что семью восемь будет семьдесят восемь; другой читал по-французски: «Юн жон, генон ки луи»; четвертый объявлял Лиссабон главным городом Пиринейского полуострова и на вопрос губернатора, какая там губерния, смело отвечал «Лиссабонская» и проч. и проч.

Кончилось тем, что всех экзаменованных решили исключить из гимназии.

— Прощайте, господа! — с натянутой веселостью и радостью говорили старшие. Они возвращались в пансион бегом, махая книгами и стараясь шуметь как можно больше, но по всему было заметно, что они смущены.

— Теперь мы вольные казаки! — с большой неловкостью кричали они во все горло.

На другой день «вольные казаки» не пошли в классы, а остались в пансионе, но едва ли они были счастливы. Это, впрочем, и понятно: казакам приходилось слезть с теплой печи, седлать на морозе коней и ехать в неизвестный поход, по глубоким сугробам, под буранами и метелицами. Многие, по-видимому, были созданы для гимназии: они, казалось, в ней родились и выросли, не подозревая, что можно жить, не просыпаясь по звонку, обедать, не проходя за стол фронтом, уходить из дома, не спросясь у надзирателя, и проч. и проч. Многие не знали или даже и не имели вовсе родных, и если ходили в отпуск, то ходили к родственникам и знакомым своих товарищей. Почти все они с наивным спокойствием предполагали и теперь отправиться в свой длинный отпуск к тем же людям, которые терпели их по воскресеньям только ради своих сыновей. Один по одному, по два и по три лениво уходили исключенные из пансиона. Старшая спальня пустела и пустела. Остался наконец только один исключенный. Ему было некуда идти, не было даже какого-нибудь рубища, чтобы надеть его и сдать казенное платье. Это был очень добродушный малый — Савельев, или просто Савушка, которого любили даже младшие, так как он не гордился своим старшинством и не пользовался никогда своими правами и привилегиями.

— Куда ты пойдешь, Савушка? — спрашивали его воспитанники.

— А черт его знает. Пойду, куда глаза глядят. Пойду в лес, состроюю избушку на курьих ножках, да и буду жить.

Начальство, чтобы избавиться от Савушки, великодушно согласилось выпустить его на скользкий жизненный путь в казенной курточке и штанах. Савушка просил было шинель, но ему объяснили, что исключенным давать от казны ничего не полагается, вручили бумаги и пригласили отправиться куда угодно. Савушка уходил в одной курточке; в левой руке он держал бумаги, составлявшие все его имущество, а правой прощался с нами.

— Прощайте, братцы; прощай, Федя,— совался он из стороны в сторону, с натянутой веселостью.— Может, больше не увидимся.

Он жал чью-то руку, крепко жал и крепко кусал себе

губы, но слезы все-таки потекли. Савушка хотел было поскорей задать стрекача, но его остановил за плечо некто Грачев, ученик из пятого класса:

— Как же он так пойдет, господа? Дадим ему что-нибудь. Вот у меня есть партикулярное[1] пальто...

— Полноте, полноте, господа! что вы? с чего это? — отпирался обеими руками Савушка.

Мы были очень рады предложению Грачева. Все жалели Савушку и хотели помочь ему, но не знали, как это сделать.

Мы тотчас же бросились в спальню и вытащили из шкафиков свои богатства.

— Вот, братцы, кисет. Валите в мой кисет,— говорил один из старших, вытряхивая на платок махорку из своего кисета.

— Полноте, полноте,— говорил Савушка, которого держали несколько человек, чтобы он не улизнул как-нибудь.

— Ты, Савушка, вот надень это пальто, а потом шапку.

— Постой, давай меняться сапогами. У меня новые казенные сапоги.

— Вот тебе шапка.

Все хлопотали вокруг Савушки. Энтузиазм дошел до того, что Оверин изо всех сил навязывал ему свою казенную шинель, уверяя, что его самого исключат за растрату казенных вещей, и тогда он пойдет вместе с Савушкой копать артезианские колодцы, вообще малоизвестные в России, но хорошо знакомые ему по описанию, прочтенному в «Науках и художествах»[2] «Библиотеки для чтения».

Наконец хлопоты с Савушкой были кончены: деньги были собраны, вещи завязаны в узел и сам он одет. Начали прощаться; все по несколько раз проталкивались к нему и жали ему руку.

— Прощай! заходи. Зайдешь когда-нибудь? — слышалось со всех сторон.

— Зайду! Полноте, господа, благодарю — что вы? — говорил Савушка.

---

[1] Партикулярный — штатский, не форменный.

[2] «Науки и художества» — один из отделов журнала «Библиотека для чтения» (1834—1865).

— Где же ты, Савушка, будешь ночевать? — спросил кто-то.

Этот прозаический вопрос очень охладил наше восторженное состояние.

— Тебе, Савушка, надо нанять квартиру,— сказал кто-то.

Я вдруг вспомнил почему-то бедную квартиру Новицкого и Бенедиктова, и мне показалось, что более приличное помещение для Савушки приискать очень трудно. Я остановил Савушку, готового в девяносто девятый раз выйти в дверь, и сказал Грачеву, что знаю в Жидовской слободке очень добрых семинаристов, могущих приютить, по крайней мере на одну ночь, предмет наших забот и попечений.

— Семинаристы? — тупо переспросил Савушка, очевидно впопыхах не понимавший ровно ничего.

Я с горячностью объяснил, до какой степени хороши и великодушны те семинаристы, о которых я говорю, и все потребовали, чтобы я сообщил Савушке адрес моих знакомых. Кто-то заметил было, что семинаристы ужасные мерзавцы и что вообще не следует якшаться с этими долгогривыми чертями, но меня все-таки потащили в столовую, и под диктовку двадцати человек я написал к Новицкому несколько слов об удивительных качествах подателя письма.

Наконец, после продолжительных прощаний, рукопожатий и всяких напутствований, Савушка убежал бегом из пансиона.

К воскресенью общий энтузиазм к Савушке значительно простыл, и только мы с Овериным значились в отпускном журнале уволенными к господину Савельеву. Оверин недавно пришел к убеждению, что русские сделают самое лучшее, если поступят все до одного в солдаты, и всю дорогу толковал о необходимости завоевать Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию. Терпеливо слушая его бредни, мы незаметно дошли до Жидовской слободки. Сверх всякого ожидания, мы застали у наших приятелей Андрея.

Он в восторге тряс Савушку за плечи и очень весело смеялся над смущением своего нового знакомого, который покраснел от стыда и смотрел исподлобья порядочным быком...

. . . .

II

НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

Время проходило; новый директор не приезжал; носились слухи, что он заболел и приедет нескоро. Федор Митрич, вероятно, почуяв, что и ему не сдобровать, запил и перестал ходить в гимназию. Учитель арифметики умер от удара. Мы остались почти без учителей; преподавание шло крайне плохо. Было переходное время: все делалось кое-как в ожидании нового порядка; все говорили себе: вот приедет директор, тогда... Между тем приблизились экзамены, но они были исполнены как пустая формальность. Брат в этом году, как и в прошлом, остался в лагерях, и я уехал на вакацию один с Савушкой, которого Андрей втирал отцу в управляющие, посылая еженедельно письма с самыми восторженными похвалами талантам и добродетелям своего протеже. В течение лета Савушка бродил по полям и уходил в леса, стараясь избегать обедов вместе с нами, так как он не совсем ловко владел ножом и вилкой, а потому очень боялся навлечь на себя насмешки Лизы или строгие замечания тетушки. Когда я, уезжая с вакации, спросил отца, поедет ли со мною Савушка, отец заметил, что ему одинаково нечего делать и в городе и в деревне, а потому пусть уже лучше останется здесь. Я воротился в город один. Там ждало меня много новостей. Старик Шрам умер без меня, а жантильный Альбин Игнатьевич исчез неизвестно куда; у Володи был новый гувернер — красивый мужчина высокого роста, с обширным лбом и небольшой лысиной. Он плавным голосом говорил какие-то бесконечные речи о долге, алтаре, святости и верности призвания, прочитывая по временам целые стихотворения, вроде: «По чувствам братья мы с тобой» или «Я видел рабскую Россию». Он мне казался недосягаемо великим, и я, ничего не понимая, просиживал по целым часам, вслушиваясь в журчание его речи, катившейся правильными темпами, струя за струей.

Директор все еще не приезжал. Начались опять классы; опять безотрадная скука в свободное время. В пансион, правда, поступили новички, при помощи которых можно бы было устроить какую-нибудь игру, но амбиция не позволяла нам снисходить до знакомства с ребятишками. Оставалось одно — слоняться по-прежнему, ничего

не делая, из угла в угол. Из всего пансиона только два счастливца нашли себе приличные занятия и не скучали от праздности. Малинин сшил из лучшей голландской бумаги несколько красивых тетрадей и лучшим почерком переписывал туда «Подробную историю» Устрялова — редкость, имевшуюся в пансионе всего в одном экземпляре. Оверин, получивший от своей тетки десять рублей, истратил всю эту посылку на покупку военных сочинений и географий. Он перечерчивал из книг Михайловского-Данилевского[1] планы разных местностей, расставлял в них войска по собственному усмотрению и одерживал по нескольку блистательных побед в один день над турками и французами. Он очень восставал против мира, заключенного несколько месяцев назад с союзными державами, доказывая, что военные действия следовало только перенести из Севастополя во внутренность Крыма, и тогда неприятель, несомненно, погиб бы своей смертью, подобно тому как погибла великая армия Наполеона в двенадцатом году.

Скоро, впрочем, и все мы нашли себе дело, или, правильнее, его очень обязательно позаботился найти для нас мой старый приятель Сколков. Он был теперь первым силачом в пансионе, с ним не смел никто тягаться, и он приобрел над всеми почти деспотическую власть. У него была бабушка, которой пришла в голову нелепая и несчастная мысль вознаградить двадцатилетнего внучка за успешный переход из третьего класса в четвертый деревянной саблей с хорошо обделанными кожаными ножнами. Возвратившись с этой наградой в пансион, Сколков задумал устроить игру в солдатики и сделать из пансиона некоторое подобие полка, само собой разумеется заранее назначая себя главным начальником этого военного отряда. Все с удовольствием согласились на предложение Сколкова и принялись за устройство деревянных ружей и сабель. Несмотря на то, что я не мог терпеть маршировки, танцев и вообще каких бы то ни было упражнений, требующих силы и ловкости, скука заставила меня согласиться, и я, за небольшое денежное пожертвование на вооружение и украшение войска, получил от Сколкова чин офицера. Оверин за свое не-

[1] Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) — автор ряда работ по истории войн России.

усыпное рвение при вербовке войска был назначен ротным командиром в чине майора. Малинина Сколков сделал войсковым писарем, приказав изготовить в наискорейшем времени формулярные списки всех военных чинов. Весь пансион был за работой: клеили, строгали, резали, рубили, плели. Один раскрашивал для Сколкова висячие генеральские эполеты, сплетенные из газетной бумаги; другой выбивал из свинцовых пломб медали, кресты и другие знаки отличия.

Наконец все приготовления были окончены: списки написаны, ордена и медали выбиты, оружие и военные регалии готовы. Сколков велел бить сбор в железное ведро, исполнявшее должность барабана.

— Стройся! — скомандовал Сколков, украшенный бумажными эполетами, лентами и крестами.

Мы построились, как умели. Все держали в руках обструганные деревянные палки. Оверин выровнял своей деревянной саблей ряды, сохраняя такой серьезный вид, как будто он в самом деле был майором. Сколков прошелся по фронту, покручивая воображаемые усы и обводя, как он, вероятно, думал, проницательным взглядом свое подначальное войско.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — крикнули мы в ответ.

— Господин поручик Негорев!

Я вышел.

— Отберите себе десять рядовых, унтер-офицера и ефрейтора. Вы займете пост на главной гауптвахте... у бани,— тихо прибавил Сколков.

Я отправился к месту назначения.

Поставив еще караул под начальством поручика Дерябина у менее главной гауптвахты, у подвала, Сколков велел Оверину делать ученье. Оверин, обыкновенно вялый и сонный, тут оживился до невероятности. Он бегал, кричал, ругался, везде поправлял ошибки, показывал, как нужно делать ружейные приемы и маршировать... Ученье длилось довольно долго. Большая часть моих солдат, соскучившись караулить баню, разошлась в разные стороны. Остались барабанщик с часовым, да и те, сидя на приступице, о чем-то переругивались в преступной забывчивости относительно важности своего поста на главной гауптвахте.

— Отстань. Ей-богу по морде тресну,— клялся барабанщик.

— Тронь, попробуй,— храбро приглашал часовой.

Барабанщик попробовал, и между остатками моего конвоя возгорелась жестокая драка.

— Что это такое? — крикнул Сколков, возвращавшийся с ученья и, вероятно, ожидавший генеральских почестей на главной гауптвахте.— Господин поручик, что это у вас такое?

Несколько генеральских пинков и пощечин успокоили дерущихся, и они, со слезами на глазах, вытянулись во фронт.

— Весь караул обратился в бегство, а вы спите!— кричал на меня Сколков.— Извольте отправляться под арест. Только на первый раз не предаю вас суду... Барабанщик, бей сбор!

Плачущий барабанщик забил сбор, и отряд, под предводительством Оверина, который сохранял самый серьезный вид, предстал, в стройном порядке, пред генеральские очи. Поручику Багрову приказано было сменить меня, майору Грачеву с десятью рядовыми отыскать беглецов, а майору Оверину отправить меня на гауптвахту (в подвал) и держать там под крепким караулом впредь до приказания.

Сырой и холодный подвал проходил под всеми комнатами гимназии. Оверин, отобрав мою деревянную саблю, распорядился отвести меня в самую дальную, глухую и совершенно темную каморку. От сырости едва можно было дышать; под ногами вязла какая-то липкая грязь.

— Я не пойду туда,— серьезно объявил я Оверину.

— Введите его,— сказал Оверин тем хладнокровным тоном, каким доктор приказывает завязать в горячечную рубаху ругающегося и беснующегося сумасшедшего.

— Послушайте! Наконец, здесь страшно! — отчаянно вскричал я.

— Для солдата ничто не должно быть страшно,— утешил меня Оверин, и, несмотря на мои сопротивления, я был втолкнут в каземат.

Под ногами липла вязкая грязь; кругом было черно, как в чернильнице. Вне себя от досады и злости, я начал бороться с двумя мальчиками, поставленными на часах Овериным, но они, по его приказанию, били меня по ру-

кам своими палками, и я принужден был отступить от входа.

— Я не буду больше играть. Это уж не игра,— крикнул я вслед Оверину, но не получил никакого ответа. Я готов был лопнуть от злости, пока, прислонившись к стене, дожидался, скоро ли меня освободят.

Майор Грачев без труда переловил мой беглый караул, и я должен был засвидетельствовать, кто из солдат прежде других решился на преступление побега с часов.

— Вы свободны, господин поручик,— встретил меня Сколков.— Ваш караул пойман. Я назначаю над беглыми военный суд,— добавил он.— Майор Оверин будет председателем суда, а вы — Грачев, Негорев, Дерябин и Багров,— членами, Малинин — делопроизводителем. Судите строже. На первый раз не следует давать потачки.

— Слушаю-с,— почтительно ответил Оверин. Он с важностью сделал генералу фронт и побежал в столовую, откуда немедленно принес «Военно-энциклопедический лексикон», два тома которого он недавно купил ценою тридцати утренних булок, лишившись, таким образом, этих последних на целый месяц. Положив перед собой «Военно-энциклопедический лексикон», Оверин чинно открыл заседание суда. Обвиняемых выводили по одному.

— Ты бежал? — серьезно спрашивал Оверин, как настоящий председатель военно-уголовного суда.

— Бежал,— улыбаясь, отвечал подсудимый.

— Кто тебя подговаривал?

— Никто.

— Напиши.

Подсудимый расписывался на особом листочке, приготовленном Малининым с заголовком: «Показание унтер-офицера Плотникова» или «Показание рядового Петра Фадеева». Когда допрос кончился и последнего из подсудимых увели обратно в тюрьму, неизвестно каким фокусом случилось, но уже Малинин обгрызал нитку у совсем сшитого в толстенькую тетрадку дела: «О побеге с часов унтер-офицера Плотникова, ефрейтора Гуляева, рядовых: Фадеева, Муравьева, Прасолова и др.». Заглавие было написано необыкновенно четко и красиво.

Оверин развернул «Военно-энциклопедический лексикон» на букву *б — беглые* и прочитал, что, смотря по

обстоятельствам, беглые наказываются за первый побег розгами или шпицрутенами, при усиливающих вину обстоятельствах — до нескольких тысяч ударов.

— Их нужно строго наказать,— сказал Оверин.— Господин делопроизводитель, пишите в приговоре: «Плотникову две тысячи сквозь строй». Десять человек... двадцать тысяч,— считал Оверин,— не лучше ли, для сокращения, один удар жгутом за сто ударов шпицрутенами? — спросил он.

Мы молчали.

— Сейчас же и будем наказывать,— весело объявил Сколков, присутствовавший неофициально на заседании суда. Он вил из своего платка крепкий жгут с таким усердием, что в работе даже принимали участие его широкие, как лопатки, зубы.

— Унтер-офицер Плотников, по собственному сознанию бежавший с поста, приговаривается к двум тысячам ударов шпицрутенами,— говорил Оверин, подписывая приговор, изготовленный Малининым.

Мы, улыбаясь, подписали вслед за ним и все другие приговоры.

— Дело кончено,— сказал Оверин, собирая «Военно-энциклопедический лексикон».

Он вел себя, как настоящий майор, только что приговоривший к тяжкому, но справедливому наказанию настоящих преступников.

Когда выстроилось войско, вывели арестантов. Они были очень веселы и довольны своей ролью. Малинин прочитал приговор унтер-офицеру Плотникову; тот с величайшей готовностью протянул руки, которые крепко-накрепко привязали платками к концу палки.

— Крепко ли свиты жгуты? — спросил Сколков и начал осматривать жгуты. Жгуты оказались в достаточной степени жесткими.

Плотникова повели за палку; удары посыпались, и он с первых же шагов съежился и перестал улыбаться.

— Тише, господа! Что вы! ведь больно! — протестовал он.

— Крепче, крепче! — подзадоривал Сколков.

— Ой, ой, ой! — заорал Плотников и начал приплясывать, силясь оторвать руки от палки, но они были привязаны крепко, и он волей-неволей должен был двигаться вперед, под ударами жгутов.

— Я не буду больше играть! — с гневом вскричал Плотников, когда экзекуция окончилась и его отвязали от палки. После этого он счел уже дело конченным и пошел было прочь, но Сколков ударил его по щеке с такой силой, что несчастный свалился на землю.

— Ты не будешь больше? Не будешь? — яростно кричал генерал, наделяя унтер-офицера крепкими пинками и в бока, и в спину, и в плечи.

— О-о-о-й! буду... буду! — закричал Плотников.

После этой сцены преступники перестали улыбаться и со страхом дожидались своей очереди. Ефрейтор Гуляев и восемь рядовых были наказаны не легче Плотникова, и многие из них после, вечером, показывали друг другу на спине довольно изрядные синяки, предостерегающие на будущий раз караулить баню с большей внимательностью. Да и все мы скоро поняли, что не так-то легко избавиться от приятного препровождения времени на часах под дождем, от маршировки и ружейных приемов. Сколков и Оверин каждый день, после обеда, выгоняли нас на двор и муштровали до вечерних занятий. Ни дождь, ни жар, ничто не мешало военным упражнениям, и нам оставалось только утешаться проклятиями, щедро посылаемыми на Оверина, Сколкова, их теток, бабушек..и всех других родственников и родственниц. Сколков вполне утешал свое честолюбие, прохаживаясь по тридцати раз в день мимо главной гауптвахты, заставляя нас всем караулом отдавать ему честь с барабанным боем. Оверин был гораздо несноснее. Он мучил нас по заранее составленной теории и был совершенно беспощаден. Малейшая оплошность со стороны военных чинов вызывала на виновных или град немедленных плюх со стороны Сколкова или град жгутов со стороны Оверина. Последняя мера наказания постигала виновного не вдруг, а по соблюдении известных проволочек и формальностей. Оверин сверялся с «Военно-энциклопедическим лексиконом» и, по здравом размышлении, поручал Малинину писать приговор к десяти или двенадцати тысячам шпицрутенов.

После этого даже приказание Сколкова не могло спасти виновного от ста или ста двадцати ударов жгутом. Сколков кричал, ругался, но Оверин, выпучив глаза, рассеянно отвечал ему, что он поступил по закону, который нарушить ни в коем случае нельзя. Сколков

чувствовал, что поссориться с Овериным — значит бросить всю игру, а генеральские почести были очень заманчивы, и он соглашался со своим главным сотрудником тем охотнее, что под жгуты подставлялась чужая спина, а не его собственная. Дело под конец дошло до того, что Сколков, руководствуясь вышеприведенными соображениями, окончательно подпал под власть Оверина и даже согласился, чтобы мы не стояли в бесполезном карауле, а учились фронту и ружейным приемам. Правда, Сколков выторговал для себя условие, чтобы на одной гауптвахте, у бани, оставалась часть караула, которая бы могла выбегать и отдавать ему честь; но все-таки он уступал, таким образом, половину своих почестей.

Оверин, по-видимому, поклялся заморить нас на ученьях, и мы, обливаясь потом, маршировали по два и по три часа сряду. Наконец ему пришла в голову счастливая мысль — начать обучение саперным работам и приступить к устройству крепости. Но в это время в войске открылся страшный ропот; пошли беспорядки, и Оверин потерял всякую возможность заниматься чем-нибудь другим, кроме заседания в военно-уголовном суде и постановления приговоров.

В промежуток времени между выходом из-за обеда и началом вечерних занятий мы были заняты только нещадным битьем друг друга жгутами. У Малинина образовался в столе целый архив дел о побегах и бунтах, об оскорблениях начальства и других преступлениях. Он сделал им список и разложил по нумерам в величайшем порядке. Почти во всех формулярных списках значилось какое-нибудь преступление и наказание в количестве нескольких тысяч шпицрутенов. Сколков из генерала всецело превратился в палача и исполнял приговоры Оверина с таким рвением и усердием, какого нельзя купить ни за какие деньги. Оверин был беспощаден, настойчив и неумолим, как умалишенный, забивший себе в голову, что он — майор и председатель военно-уголовного суда. Глубоко веря в свой штаб-офицерский чин, он исполнял свои обязанности с спокойной совестью человека, служащего хорошему делу.

Вся эта военщина надоела самым решительным образом, и я от души завидовал Грачеву, которого Сколков уволил недавно в своем приказе в бессрочный отпуск.

С некоторого времени Сколков начал выпускать приказы по полку, и мы в листочках, писанных четким почерком Малинина, читали длинные списки конфирмаций[1] над разными чинами. Тут же, как будто в знак того, что начальство, умея казнить, умеет и миловать, помещались сведения о пожалованных чинах и орденах. Между прочими и я получил капитанский чин и какой-то орден именно в тот самый день, когда Сколков занял у меня на самый короткий срок четвертак.

Между тем положение наше становилось окончательно невыносимым. Надзиратели часто приходили в шесть и семь часов, чтобы прогнать нас для занятий в столовую, и нас мучили за маршировкой еще дольше. Вечера становились темными, но это не препятствовало Оверину производить учения и гонять ослушников сквозь строй. Я совсем потерял терпение и начал искать союзников, чтобы общими силами восстать против возмутительной тирании Сколкова и Оверина. Недовольных было очень много. Один по одному почти все солдаты и офицеры моей роты присоединились к заговору с целию ниспровержения существующего порядка вещей, и мы очень храбро бранили Сколкова на наших тайных совещаниях.

— Не повесят же нас, наконец,— воодушевлял я моих робких соумышленников. — Скажем завтра, что не хотим больше играть, и конец. Силой тащить не смеют.

— Только уж вы первый скажите,— предложил мне один рядовой, бойкий мальчик первого класса, которого почти ежедневно гоняли сквозь строй за непочтение к начальникам.

— Хорошо, я скажу первый,— с отчаянной решимостью проговорил я.

Это обещание, данное в горячую минуту, заставило меня, когда я остался один, очень и очень призадуматься. Признаться сказать, я не без волнения ожидал завтрашнего дня, и несколько раз в мою голову приходила даже мысль отказаться от непосильной войны со Сколковым, но в этом случае меня ожидало позорное обвинение в трусости. Страшны и позорны побои, по всей вероятности ожидающие меня, но они все-таки лучше неуважения, а может быть, и презрения младших...

---

[1] **Конфирмация** — утверждение высшей властью судебного приговора (от лат. *confirmatio* — утверждение).

После обеда, когда настало время идти на двор и вынимать спрятанное в подвале оружие, мы остались в пансионе. Я очень обрадовался, узнав, что Сколков был уже на дворе и ожидал свою армию. Оверин никогда не дрался, и его боялись все-таки меньше Сколкова, а потому мы очень храбро столпились в кучу и ждали открытия военных действий.

— Идите, идите на двор, господа,— задумчиво сказал Оверин, подходя к нам с самым деловым видом.

— Мы не хотим больше играть,— с усилием выговорил я.

— Мы не хотим,— повторили мои сообщники.

— Что? — с неожиданною яростью вскричал Оверин, хватая меня за шиворот с такой силой, что я чуть не задохся.— Бунт! Арестовать его! ведите!

Оверин ткнул меня вперед, и я, не видя ниоткуда помощи, пошел под конвоем моих соумышленников.

Меня отвели в темный подвал, куда скоро явился и Оверин со своим «Военно-энциклопедическим лексиконом». Следствие шло недолго; заговор был открыт сполна, так как многие думали заслужить пощаду чистосердечным сознанием, и подсудимых набралось до пятнадцати человек. Надежды их на пощаду совершенно не оправдались: всех их жестоко отодрали жгутами, а меня как главного злоумышленника Оверин приговорил к расстрелянию. У меня в кармане был отличный перочинный ножик, купленный мной недавно за полтора рубля. Я ощупал его, и мне пришла в голову счастливая мысль. Я объявил, что желаю сделать важные показания и могу их объявить только главнокомандующему (Сколков уже давно возвел себя в это достоинство). Когда он явился, я пожелал говорить с ним один на один и предложил ему принять от меня в подарок перочинный нож.

— Пусть расстреляют,— сказал мне Сколков,— это ничего, ты опять будешь в том же чине.

— Нет, как же это? Ведь ежели расстреляют, я не могу больше служить.

— Это пустяки!

— Нет, ты уж, пожалуйста — я больше не буду...

— Хорошо, хорошо, —торопливо согласился Сколков, запрятывая ножик в кармане.

Но когда меня вывели для исполнения приговора, оказалось, что я совершенно напрасно подкупал Сколкова:

Оверин был того мнения, что расстрелянные как мертвецы не могут занимать каких бы то ни было должностей в армии.

Экзекуция совершилась с должным торжеством. Мне завязали глаза и поставили спиной к столбу, на верху которого была прилеплена страница белой бумаги.

«ИЗМЕННИК И БУНТОВЩИК»

огромными готическими буквами было награвировано на этой странице искусным Малининым. Между пуговиц мне воткнули мой формуляр, и делопроизводитель военно-уголовного суда Малинин начал читать приговор, которым я, на основании известных статей закона, приговаривался за бунт и измену к смертной казни расстрелянием.

— Целься! — командовал Оверин.— Пли! Теперь вы мертвый и изгоняетесь навсегда из общества. Можете уходить,— вяло добавил он, обращаясь ко мне.

По привычке хранить все бумаги, я сохранил и формуляр, торчавшей у меня за пуговицами в то время, когда исполнялась жестокая казнь расстрелянием.

Вот он, написанный прекрасным почерком Малинина:

Николай Негорев. 4 класса. Поступил 17 августа 1857 г. поручиком. 23 августа произведен в штабс-капитаны. 24 пожалован за отличие капитаном и орденом Георгия 2-й степени. Холост. Детей нет. Имеет деревню в Л-ском уезде. В походах и сражениях не был. Находился под судом за измену и бунт. Приговорен к смертной казни расстрелянием. Расстрелян 2 сентября 1857 г.

Главнокомандующий генерал-лейтенант
Е. Сколков.

Начальник штаба и председатель военно-уголовного суда полковник С. Оверин.

Делопроизводитель, адъютант и капитан и кавалер М. Малинин».

Едва ли кто-нибудь когда-нибудь был так рад своей смертной казни, как я. Благодаря ей я навсегда избавлялся от маршировки, ружейных приемов, от караулов и всяких других неприятностей: было чему радоваться. Другие поняли это очень хорошо, и едва ли во всем нашем войске находился хоть один человек, не желавший

от всей души быть как можно скорее расстрелянным. Дня через два Оверин приговорил к расстрелянию Малинина и еще двух других злоумышленников, тыкавших его в брюхо и спину деревянными саблями с очевидной целью лишить жизни председательствующего в военно-уголовном суде.

По всей вероятности, Оверин скоро расстрелял бы и остальную половину армии, а может быть, добрался бы и до самого Сколкова, если бы неожиданно не убедился, что все военные заслуживают такого же презрения, как разбойники и убийцы. После этого он на вопрос Сколкова: «Почему вы нейдете на службу, господин полковник?» — в рассеянности, не совсем почтительно, отвечал: «Убирайтесь к черту, господин дурак», и пообещался пустить в голову главнокомандующего горчичницей, если тот вздумает тронуть его хоть пальцем.

Сколкову ничего больше не оставалось, как вложить свою деревянную саблю в ножны и, скрепя сердце, распустить нерасстрелянную половину своей армии.

III

Я ПРИОБРЕТАЮ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

Новый гувернер Володи заменил не только Альбина Игнатьевича, но, кажется, и гвардейского офицера. По крайней мере, Катерина Григорьевна что-то жмурилась и таяла, слушая, как звучно и плавно катится его «смело и свободно льющееся слово». Иваницкий (его фамилия), картинно развалившись в кресле или прислонившись к притолоке, по целым часам говорил что-то своим звучным гортанным голосом, останавливаясь по временам на секунду, чтобы поправить свои редкие волосы, зачесанные назад и едва прикрывавшие небольшую лысину, которая придавала ему очень интересный вид. Сколько я не силился вслушиваться в однотонные звуки его баритона, смысл его слов как-то ускользал от меня. Это, впрочем, не мешало мне иметь наивное убеждение, что он говорит очень красноречиво, об очень прекрасных вещах. Когда я начинал припоминать и соображать, что такое говорил Иваницкий, в моем уме начинали толпиться какие-то загадочные фразы, которые, несмотря на все

мои усилия, я никак не мог связать. Всегда оказывалось, что из этого пошлого, дряхлого мира душа просится *куда-то,* что воображение носится *где-то,* что становится больно *отчего-то,* что хочется успокоиться на *чем-то* и привязаться всем сердцем к *кому-то* и т. д. и т д.— без конца. Эти *куда-то, что-то, к чему-то,* о которых он постоянно твердил, сбивали меня с толку, и я решительно считал Иваницкого благодаря этим ничего не значащим словам умнейшим и красноречивейшим человеком.

Он иногда приносил журналы и читал их своим ровным баритоном. Я всеми силами старался вслушиваться, но понимал очень мало. Однажды, оставшись один в комнате, я с любопытством начал перелистывать какой-то толстый журнал того времени.

— Вы, кажется, никогда ничего не читаете,— с высокомерной невнимательностью сказал Володя, вошедший в комнату и остановившийся передо мной в позе наблюдателя, заложив руки в карманы панталон.

Слова его произнесены были тем брюзгливым тоном, каким говорят лакею: «Ты, Алексей, кажется, никогда не моешь руки»,— и я не мог не сконфузиться.

— Я хотел вас попросить — не могу ли я взять с собой что-нибудь прочесть? — с величайшей неловкостью едва выговорил я, чувствуя, что лицо мое горит от краски.

— Можете.

Я взял книги, и мы с Малининым засели на целый день, читая по очереди вслух по порядку. В первый же день мы прочли три повести средней величины и какую-то не то обличительную, не то публицистическую статейку, как припомню, называвшуюся «Чудеса в решете».

— Да! да! вот, брат. Славно,— одобрял Малинин.

Мы сразу поняли, что живем в весьма замечательное время, когда происходят вещи очень необыкновенные. Да и были бы мы большими олухами, если б не поняли этого! В одной повести выставлялся богач-откупщик, отъявленный мошенник, охающий и стенающий, что прошло его время и что явились какие-то проклятые либералы. До этого печального положения довел откупщика бедный, но честный писец — представитель проклятого либерализма. Этот восторженный юноша был так красноречив, что мы должны были кряду прокидывать по

нескольку страниц, наполненных превосходными доказательствами, что воровать и подливать воду в водку недобросовестно. Повесть кончалась, однако ж, тем, что порок, при помощи разных незаконных интриг, восторжествовал над добродетелью, и молодой либерал уехал в Петербург, где, впрочем, скоро благодаря своей расторопности и своим талантам обратил на себя внимание начальства и занял важный государственный пост. Узнав об этом, откупщик пришел в ярость и воскликнул: «Вот времена-то — мальчишки, щенки лезут в люди, а почтенный, заслуженный человек ничего не может с ними поделать!»

Другая повесть была юмористическая и, если не ошибаюсь, называлась «Моя тетушка». Тут осмеивалось ханжество, и весь юмор заключался преимущественно в том, что тетушка на целых десятках страниц читала такие молитвы: «Около града Иерусалима спала пречиста дева»...Агашка, ты уж заснула, окаянная! подай платок... «Спала еси дева, видела сон чуден и явен»... выпусти кота-то, вишь он пищит, на двор хочет». Перед тетушкой чем-то особенно провинилась ее девка Агашка, и она заперла ее в комнату, а сама ушла в церковь, молиться богу. Комната, волею автора, оказалась угарной, и Агашка умерла, что, впрочем, нисколько не опечалило набожную тетку: она справила по-христиански, чинно до последних мелочей, Агашкины похороны и начала служить панихиды за упокой Агашкиной грешной души. «Много еще у нас на святой Руси есть таких пустырей,— восклицал в заключение автор,— пустырей, где живут на тучной почве всякие тетушки и дядюшки; но... не лучше ли помолчать до времени?»

— Это цензура не пропустила, должно быть,— с благоговейным удивлением сказал Малинин.

Он говорил шепотом, из предосторожности, чтобы кто-нибудь не подслушал нашего разговора.

Третий рассказ нам понравился больше всего. В нем описывалась какая-то гимназия, «только не Киевского учебного округа», как не без остроумия пояснял автор. Там выставлялся плут эконом, из скаредности коловший сахар собственными руками; выставлялись глупцы учителя, верующие в домовых, и ученики, наряжающиеся домовыми. Один толстый учитель, пробежав по всему двору за таким домовым, настигает его наконец, хва-

тает за шиворот и восклицает: «Ах ты ракалия!» Эту сцену мы с величайшим хохотом перечитали раз пять, находя, что учитель, названный Кустодием Пудовичем, как две капли воды, похож на Ивана Капитоныча.

«Чудеса в решете» мы не совсем поняли, но сочинитель ругался так хлестко, что эту статью нельзя было прочесть без высокого наслаждения. В ней автор спорил с каким-то *Туземцем* (должно быть псевдоним), обличая некоего *Б.* и рассказывая, как лицо, названное этой невинной буквой, похитило несколько тысяч рублей, назначенных на освещение города. «Ткните же свой нос, *г. Туземец,*— я знаю, что ваше гладко выбритое рыльце в пуху!» — восклицал беспрестанно автор и после каждого периода ставил многоточие...

«Очевидно, тут что-нибудь не пропустила цензура»,— с замиранием сердца думали мы.

Чтение нам очень понравилось, и мы положительно не могли оторваться от книг, прочитывая одну статью за другой. К нам присоединились Грачев и еще несколько человек, так что в пансионе образовался некоторого рода литературный кружок, и после обеда, вместо того чтобы скучать и шататься без дела, мы сидели в пустой зале, увешанной портретами сподвижников императора Александра Первого, читая вслух по очереди повести, рассказы и обличительные статейки.

В неделю я успел набраться такой премудрости, что в воскресенье встретил брата с некоторым высокомерием и даже в разговоре сделал тонкий намек, что Андрей еще кой-чего многого не смыслит. Брат, впрочем, не понял этого намека, а может быть, и не слыхал его, так как он в это время показывал Оверину принесенный с собой стереоскоп. Вообще в последнее время они очень подружились, и я не без удивления заметил однажды, что Оверин поправляет какое-то стихотворение, написанное рукою брата и, очевидно, принадлежавшее вдохновенной музе Андрея.

В это воскресенье мы пошли с ним к Шрамам, так как мне нужно было отнести прочитанные книги и взять новые. Андрей был в очень веселом расположении духа, и я решился спросить его о стихах.

— Да. Я каждый вечер пишу стихи,— объявил он мне.— Я тебе покажу: у меня их много.

Андрей вытащил тоненькую тетрадку и подал мне ее.

Там было довольно много стихотворений, помещенных по порядку, под разными рубриками: «оды божественные», «оды торжественные», «размышления», «элегии» и проч. Все это кончалось эпиграммами. Тетрадка, очевидно, побывала в руках Оверина, так как на многих страницах встречались его поправки; даже одна рубрика «оды торжественные» была переделана им в «оды глупые», что, впрочем, вероятно, не понравилось брату: он захерил «оды глупые» и опять написал: «оды торжественные».

— Как же ты хочешь быть поэтом и ничего не читаешь,— сказал я брату, возвращая тетрадь.

— А что ж читать? — с недоумением спросил Андрей.

Я начал ему рассказывать, сколько прекрасных вещей прочитали мы в книгах, которые я нес, и он слушал меня так внимательно, как не слушал, кажется, никогда в жизни. После этого Андрей тоже набрал у Шрамов книг и занялся чтением. По поводу всех этих обстоятельств у нас с братом установились на некоторое время довольно дружественные отношения, и мы начали с ним разговаривать и даже спорить о прочитанных статьях. Так как мы отыскивали везде косвенный смысл, думая, что автор запрятывает свою контрабандную идею как можно дальше, чтобы провести ее через цензорский шлагбаум, то для самых наивных предположений и толков открывалось широкое поле, и спорам не было конца.

Оверин, узнав от брата, что в новых книгах пишется что-то удивительное, тоже пристрастился к чтению и стал просиживать над журналами положительно целые ночи, вытаскивая для этой цели сальные свечи из ночников. Такая усидчивость, само собою разумеется, подавала повод многим молодым людям шутливого характера закутываться в простыни и являться перед Овериным, рыкая не своим голосом. Но он был так увлечен, что часто не замечал, кто и каким родом гасил у него свечку перед самым носом. Один бог знает, чем он объяснял эти удивительные пассажи, но никогда, по-видимому, не удивлялся им и всегда самым хладнокровным образом отыскивал в темноте угашенную свечу, шел в спальню зажечь ее и снова принимался за чтение, как будто ничего особенного не случилось... Когда мы прочитывали книги, Володя покровительственно брал их с собой и на другой день привозил новые.

— Читайте, читайте,— улыбаясь, говорил он, как будто хотел прибавить: «Читайте, забавляйтесь, дети: в этом нет ничего вредного».

Порой он снисходил до некоторых объяснений, и мы узнавали, что такая-то неподписанная статья принадлежит Чернышевскому, который пишет очень хорошо; что над Якушкиным смеяться не следует, что — *бов* — псевдоним Добролюбова и проч. и проч. Впрочем, все эти объяснения он давал, небрежно улыбаясь и показывая вид, что говорит так, больше для собственного удовольствия, чем для нашего поучения.

В занятиях литературой прошло незаметно месяца три, пока мы дождались нового директора. Адам Ильич объявил нам эту новость, прибежав в пансион, как сумасшедший. Нечего и говорить, что тотчас же началась суета, метенье полов, чищение дверных ручек, обтиранье столов и проч. и проч. Нам немедленно выдали чистое белье и новые курточки.

— Ах, да ради бога почистите сапоги! пуговицы пришейте! причешите головы! — с отчаянием кричал в разных местах Адам Ильич, то появляясь в сторожке, то мелькая по коридору, то с отчаянием садясь на кровать в спальне.

Наконец он поймал как-то Оверина, за которого боялся больше всего и которого теперь потащил в сторожку умывать и причесывать. С гребенкой в руке Адам Ильич чесал Оверину волосы и умолял его не делать скандалов.

— Уж вы, пожалуйста, господин Оверин, не брякните чего-нибудь новому директору,— говорил он, вертя в своих проворных руках голову Оверина, как какой-нибудь кочан капусты.

— Мы...— мычал только Оверин, как бык, которого ворочают за рога.

Не успел Адам Ильич покончить с ним, как кто-то прибежал сказать, что директор приехал в пансион.

— Эх, уж спрячьтесь лучше куда-нибудь, — вскричал Адам Ильич, бросая гребенку.

Он побежал встречать директора и прибавлял и прибавлял рыси, с ужасом замечая, что Оверин в незастегнутой курточке преследует его по пятам.

Директор вошел в дверь, складывая свой зонтик. Он очень спокойно снял шляпу и вежливо поклонился нам:

— Здравствуйте, господа!

— Здравствуйте,— громко ответил Оверин, совершенно упустивший из виду, что в этом случае было бы весьма прилично поклониться.

На лице Адама Ильича изобразилось самое пламенное желание провалиться сквозь землю.

— Будьте добры, не кладите так пальто, а повесьте его: оно намокло дождем,— с величайшей вежливостью сказал директор, обращаясь к служителю, который в суете хотел положить его пальто на ларь.

Это *вы,* обращенное к солдату, показалось нам так милым и оригинальным, что мы надолго изгнали из употребления «сердечное ты», и даже мальчишка-сапожник с намазанным ваксой лицом, приходивший отбирать наши сапоги в починку, удостоивался обращений в таком роде: «Потрудитесь, пожалуйста, расколотить и мои сапоги».

Директор был высокий худощавый мужчина, с лицом такого цвета, какого бывает потусклый медный пятак. Вообще наружность его заключала в себе очень мало красивого, но его спокойные манеры, мягкий голос и добродушные складки вокруг рта придавали ему очень симпатичный вид. Мы с первого раза почувствовали к нему некоторую долю почтения и стали совеститься тех доблестных шалостей, которыми гордились некогда.

С приездом нового директора явились и новые порядки. Всякая военная субординация: хождение шеренгами к обеду, пение молитв и проч. были уничтожены; солдатчина значительно стала ослабевать, и из пансиона мало-помалу начал выветриваться казарменный запах. В преподавании также произошли некоторые изменения. Федор Митрич с своими кокосами и ананасами навсегда удалился в отставку. Географию начал преподавать Яков Степанович, а на его место учителем словесности приехал некто Иван Иваныч, бакалавр какой-то духовной академии, маленький человек с такой смешной наружностью, что с первого же раза ему надавали множество названий: «финтик», «мухрышка», «волчок», «фортунка» и проч. и проч. Поджарый, сухой, гибкий и живой, как ящерица, с своим белобрысым лицом и белыми бакенбардами, каждый волос которых торчал отдельно, как в круглой щетке для чищения ламповых стекол, он напоминал тех карикатурных подьячих, которые являют-

ся только на театральных подмостках, с чернилкой на пуговице и пером, заткнутым за ухо.

Поступление нового учителя ознаменовалось пробной лекцией, в ожидании которой Малинин состроил целое здание предположений относительно того, как директор будет экзаменовать при нас Ивана Иваныча и поправлять его ошибки. Но ничего подобного не произошло: директор всю лекцию молча просидел за партой, подле Оверина, между тем как Иван Иваныч, с азартом бегая по классу и ежеминутно угрожая вспрыгнуть на стол, выкрикивал нам историю буквы «юс» и производил слово *ганза* от исконного славянского слова союз, причем он с величайшей энергией гнусавил: «ёнза, гёнза, гонза, ганза» и немилосердно стукал мелом в доску. Он бегал по классу, как мышь, попавшая в ловушку и отыскивающая дырочку для выхода; лоб его морщился, уши двигались, нос попеременно краснел и бледнел, а руками он махал с такой энергией, что надо было удивляться, как они у него не оторвутся.

Иван Иваныч был для нас совсем новый учитель. Он не только не угощал никого кокосами, но даже не распекал никого. Приходя на лекцию, он начинал бегать по классу, махать руками и неистово стучать мелом в доску, выбивая при этом своим языком самую мелкую барабанную дробь. После звонка он вручал нам свою лекцию, четко написанную на голландской бумаге, и оставлял нас блуждать с благоговейным недоумением по глухим трущобам своих ученых терминов и заковыристых определений, вроде «любовь есть идеальность в реальности некоторой части бесконечной общности жизненной сущности, полагаемой в вожделенности и проявляющейся телесностью, потому что я+ты=ему» и т. п. фраз, прекрасных, в наших глазах, больше по своей краткости, нежели ясности.

Но Иван Иваныч был полезен для нас не столько своими ученейшими записками по логике и риторике, сколько тем, что почти всех приохотил к чтению, раздавая свои книги и журналы. Мы от него в первый раз услышали о Белинском и перестали прокидывать в журналах страницы, отмеченные скучным словом *критика*.

Как-то незаметно дни проходили за днями, и мы делались все либеральнее и либеральнее час от часу. Малинин списал в превосходную тетрадку стихотворения

Рылеева и Огарева и даже, с явной опасностью для своей жизни, заучил эти стихотворения наизусть, пряча, впрочем, самую тетрадку под корыто, на чердаке, куда бегал по двадцати раз в день посмотреть, не отыскала ли полиция следов его преступления.

Словом, мы начали мыслить, рассуждать, понимать, смотреть и совершать все другие интеллектуальные отправления несколько иначе, чем прежде. Преподавание пошло как-то осмысленнее, и, ко всеобщему удивлению, много самых застарелых лентяев начали мало-помалу проявлять свои способности к наукам. Яков Степаныч был, по-видимому, этим очень недоволен и, сокрушаясь, что Багров знает свой урок, разводя руками, восклицал: «И ты, Брут!»

В пансионе стало вовсе не скучно, и только уж немногие блаженные бродили из угла в угол, ничего не делая и дожидаясь весны, после которой можно было навсегда возвратиться под родительский кров. К числу этих «сирых и убогих» принадлежал и Сколков, который в последнее время совсем осовел, перестал говорить и дико смотрел на все происходившее вокруг него, может быть, думая, что все помешались и скоро настанет царство антихриста. В самом деле, по тому восторгу, с которым мы жили тогда, нас легко было принять за помешанных. Пансион походил на город, в котором или случилось землетрясение, или выругали губернатора в газетах,— на город в смятении, когда восторженные граждане, забыв все, кроме общего дела, сообщают первым встречным подробности великого события, свои мнения о нем, свои предположения и надежды. Мы с утра до ночи общими силами рассуждали и читали, читали и рассуждали. Здесь хвалили новую критическую статью, там рассказывался сюжет обличительного романа, в третьем месте с пафосом декламировали стихотворения. Все это, конечно, было очень дико отставному главнокомандующему Сколкову, не могшему понять, в чем дело, из-за чего все вокруг него бесятся, кричат, сердятся и радуются. Он чувствовал, что отрезан от своих прежних товарищей, как ломоть, которому уже не пристать к хлебу, и без особой печали, узнав о своем исключении из пансиона, ушел, почти не простившись с нами.

Грачев, терпеливее нас читавший серьезные статьи, скоро сделался нашим руководителем в деле литератур-

ных преуспеяний, тоже некоторым образом главнокомандующим вроде Сколкова. Погрузившись в ученость, он преследовал нас за увлечение романами и повестями и читал вслух скучнейшие ученые статьи, прикидываясь, что чепухистые и никому не понятные трактаты о каких-то божественных чертах по Канту и Гегелю доставляют ему истинное удовольствие. К нашему благополучию, Грачев был не очень стоек в своей учености и иногда, как он выражался, «позволял себе прочесть дельную повесть». Но и тут удовольствие вполне отравлялось тщетными критическими поисками какой-то идеи, которую все авторы, по мнению Грачева, чтобы обмануть цензора, всегда скрывают с величайшим тщанием. Дело доходило до крупных ругательств и распеканий, когда, например, наивный Малинин объявлял смелую догадку о том, что Достоевский в «Бедных людях» хотел высказать чрезвычайно новую мысль: бедность — не порок.

— Бедность умственная — нищета духом — вот это ваш порок! — восклицал Грачев.

— Ну, я ошибся, — жалобно сознавался Малинин.

— Идиот! — отвертывался от него Грачев.

Вообще мы начали побаиваться Грачева, и он без всякого сопротивления забрал бразды деспотического правления над нами. Скоро мы приучились со страхом смотреть на последние страницы дочитываемой повести. Слово *конец* всегда было сигналом к открытию мучительного экзамена: как кто оценил и понял идею повести. Самое лучшее было отвечать: «Я не совсем понял», ибо в этом случае могло постигнуть только злобное замечание: «Не удивительно: у вас в голове ветры ходят». Но высказать прямое мнение о повести значило подвергнуть себя такой нравственной пытке, которая стоила самого жестокого наказания розгами. Происходила сцена вроде следующей:

— Ну, как вы думаете, какую идею хотел здесь провести автор?

— Он хотел выставить характер такого человека...— робко запинаясь, говорил кто-нибудь.

— Какого человека?

— Такого, который ни во что не верит.

— Например, во что же не верит этот человек? — допрашивал Грачев.

— Да ни во что не верит,— отчаянно отвечал экзаменуемый, окончательно выбиваясь из сил.

— Я, например, не верю, что в вас есть хоть капля смыслу,— значит ли это, что я ни во что не верю? По-вашему, выходит так.

— Нет,— совсем сбившись с толку, шептал ответчик.

— Ну, так во что же это *во все* не верит герой? Да, наконец, разве вера или безверие относятся к характеру? Разве мой характер изменится, если я перестану верить, что вы — дурак набитый? — с горячностью кричал Грачев.

— Нет,— произносил совсем убитый ответчик.

— Так что же вы городите чепуху!

Наконец, после множества самых придирчивых вопросов и самых оскорбительных колкостей, Грачев, с уверенностью всякого авторитета, начинал объяснять, что Писемский в романе «Тысяча душ» старался провести иезуитский принцип: «цель оправдывает средства» или что Тургенев в «Дворянском гнезде» ясно доказал, что человек, потерявший энергию и дошедший до отчаяния, никуда не годится.

В январе мы, по предложению Ивана Иваныча, подписались в складчину на несколько газет и журналов. В зале, прежде пустынной и скучной, теперь образовалась очень оживленная читальная комната. Все новые газеты и журналы лежали там на столе, и после обеда, когда приходили своекоштные, там было бы очень весело, если б не мешал Грачев.

— Позвольте-ка мне эту книжку,— сухим, начальническим тоном говорил он.— Вы пустячки читаете, а мне нужно тут посмотреть одну дельную статью.

Своекоштные часто не соглашались уступать дельному человеку дельные статьи, а потому выходили самые неприятные сцены. Раз дело чуть не дошло до драки, когда Грачеву понадобилось прочитать дельную статью, напечатанную именно в той книжке, которую читал Оверин. Сделав свое высокомерное обращение и не получив никакого ответа, Грачев взялся за обложку книги.

— Позвольте-с,— с презрительной настойчивостью сказал он.

Оверин молчал, как бы не замечая его. Когда Грачев потянул к себе книгу, он поднял на него глаза, спокойно

подвинул книгу назад и сосредоточенно продолжал читать.

— Позвольте-с; я вам говорю,— серьезнее повторил Грачев и потянул к себе книгу.

Оверин стукнул его кулаком по протянутой руке, задумчиво подвинул к себе книгу и продолжал читать.

Грачев отдернул руку и замахнулся, чтобы ударить Оверина, но, вероятно, вспомнив, что либеральные принципы запрещают драться, остановился и презрительно сказал:

— Я не мешаю. Забавляйтесь, миленький дурачок, играйте в бирюльки.

От дурачка, само собой разумеется, не последовало никакого ответа.

Весь этот год я почти исключительно был занят чтением посторонних книг, и перед экзаменами мне пришлось позаботиться, чтобы не остаться на другой год в том же классе. Экзамен, впрочем, прошел благополучно. Лотерея с билетами и программами была навсегда отменена, и нас спрашивали все пройденное в течение года. Директору стоило много труда сдерживать инквизиторские замашки учителей, и хотя они по-прежнему видели в нас на экзаменах своих кровных врагов, которых следует всеми силами довести до бедственной единицы, но не смели уже употреблять тех подлых фокусов, какие употребляли прежде для того, чтобы сбить с толку робкого ученика, доказать ему, что он ничего не знает, и поставить в журнале единицу. Яков Степаныч вздумал было спросить кого-то, которым королем от Пипина Короткого был Петр Пустынник, но директор быстро перебил ученика, хотевшего что-то ответить, и велел ему идти на место.

Для меня экзамены кончились как нельзя более благополучно. Грачев и Володя остались на другой год в пятом классе, и, таким образом, все мы: Оверин, Малинин и я — сделались одноклассниками этих великих людей.

В этом году на вакации мне было скучнее, чем когда-нибудь. Я считал себя уже взрослым молодым человеком с «честными убеждениями», а потому, понятно, не мог не дичиться тетушки, Авдотьи Николаевны, Федосьи и Лизы, которая очень выросла и вышла теперь из всякого повиновения старшим. Не говоря уже об Ав-

дотье Николаевне, над которой она смеялась в глаза, она преследовала даже тетушку, заучивая самые пикантные места из тех книг, которые ей строго запрещалось читать, и в виде сюрприза за обедом или чаем, рассказывая лучшие места «Египетских ночей» Пушкина или гоголевскую сцену у ведьмы Солохи.

Тетушка приходила к самому решительному убеждению, что человек, который женится на Лизе, принужден будет или застрелиться от горя, или бежать из отечества за границу.

IV

ЖУРНАЛЫ «ОПЫТ» И «НАБЛЮДЕНИЕ» ПОЛЕМИЗИРУЮТ

По возвращении с вакации, когда вновь начались классы, Иван Иваныч на первый же урок явился с красным лицом и, против обыкновения, прошелся, а не проскакал раза два вдоль комнаты. После этого он, забегав, как всегда из угла в угол, забарабанил следующую речь:

— Когда Пушкин был в лицее, между его товарищами образовался литературный кружок, и начали издавать журналы: «Для удовольствия и пользы», «Юные пловцы», «Неопытное перо», «Лицейский мудрец» (он любил перечисления и мог, не переводя духу, выстрелить имена всех гуманистов). Там Пушкин и его товарищи помещали свои первые опыты, и это, вероятно, много содействовало развитию их. Я хотел вам предложить, господа, вместо сочинений на темы начать род маленького рукописного журнала или сборника. Как вы думаете, можно ли и удобно ли это?

Иван Иваныч замолчал и еще прытче забегал по классу. Мы все тоже молчали.

— Как же, нужно будет поручить редакцию журнала кому-нибудь одному? — спросил Володя, обращавшийся всегда довольно свободно с учителями.

— Да. Я так полагаю. Вот хоть вы, Негорев и Малинин,— обратился к нам Иван Иваныч как к лучшим ученикам в классе.— Обязанность редактора, впрочем,— пассивная обязанность. Вы, надеюсь, господа, не

будете в претензии, что я сразу указал на них. Ведь это все равно. Согласны ли вы?

— Согласны! — ответили все хором.

— Я полагал бы назвать наш журнал «Опытом». Как вы полагаете?

Иван Иваныч от восторга прытче и прытче бегал по классу.

— Можно бы назвать: «Гимназический курьер», «Гимназический вестник», «Телеграф» или что-нибудь вроде этого,— предложил Володя.

— Нет, *гимназический* — это слишком частно, слишком узко: интересы узки. Лучше просто — «Опыт», Статьи разных авторов уж, конечно, придется переписывать в одну тетрадку. Об этом озаботятся редакторы. Они также должны наблюдать за орфографией. Я бы полагал разделить журнал на отделы: *беллетристика, критика* и *смесь*. В *критике* можно бы помещать разборы новых журнальных повестей, а в *смеси* — разные мелкие статьи. Можно помещать и стихотворения. Из вас, господа, никто не пишет стихов?

Не дожидаясь ответа на этот нескромный вопрос, Иван Иваныч продолжал бегать по классу и тараторить о том, как должно вести новый журнал. Рассказы и повести, по его мнению, не должны были иметь предметом исключительно гимназический быт; в *смеси* он советовал не помещать чего бы то ни было, отзывающегося сплетней и личностью, и при этом несколько раз повторил, что он «умывает руки» и предоставляет ведение журнала на полную нашу ответственность.

Все мы очень горячо приняли предложение Ивана Иваныча и почти весь остальной день только и толковали о журнале.

— Ты купи министерской бумаги; знаешь, по шести гривен десть, а я уж перепишу,— говорил мне Малинин.

— Я вам напишу о значении Белинского, в *критику,*— покровительственно заявлял Володя.

— У меня тоже есть на примете кое-что,— конфиденциально радовал редакцию Грачев.

— А вы, Оверин, не напишете что-нибудь? — спросил я.

— Не знаю; мне некогда,— угрюмо отвечал он.

Когда через несколько дней все поуспокоилось и я начал соображать, чем мы наполним первый нумер, ока-

залось, что редакция чересчур изобиловала учеными сотрудниками и терпела большой недостаток в беллетристах. Из поэтических произведений не было ничего, кроме небольшого стихотворения, похищенного Малининым у Оверина, которого я упросил уступить этот плод его невинной музы первому нумеру «Опыта». Как теперь помню, в стихотворении говорилось: «Я лежал на траве и смотрел на небо; взгляд тонул в мягкой лазури, и думалось мне: что, если я оторвусь от земли и полечу в эту бездну? Как только я это подумал, земля перестала держать меня на своем магните, и я полетел в воздух. Вот уже прошло сто лет, а я все лечу, прошла тысяча лет, а я все лечу, не видя под собой дна бездны. Я лечу день и ночь в чистом утреннем воздухе, вдали от земных дел. Хорошо лететь». Стихотворение было названо «Смерть», но, при всей его прелести, довольствоваться им одним для беллетристического отдела было невозможно. Я предложил было Грачеву написать какой-нибудь рассказ, но он с важностью ответил мне, что эти пустячки не его дело и что он занят весьма серьезной ученой статьей о языке животных. Я привязался к Малинину, чтобы он, как редактор, непременно написал к первому нумеру повесть.

— Что же я напишу? Ты уж лучше сам напиши, тебе ловчее,— жалобно отнекивался Малинин.

Не знаю, ловчее ли мне было писать повести, чем Малинину, но делать было нечего, я решился украсить первый нумер «Опыта» своим собственным художественным произведением. Какую же идею выбрать для повести? «Бедность — не порок»? — старо. «Семеро одного не ждут»? «Хлеба край — под елью рай, хлеба ни куска — везде тоска»? — пошлый материализм. Что бы такое? «У семи нянек дитя без глаза»? «Доброму вору все впору»? Глупо, и идея подлая... Я перебрал все пословицы и все-таки не нашел такой идеи, которую бы стоило развить в повести моего сочинения. Не знаю, каким родом, но только после долгих и глубоких соображений мне пришла в голову счастливая мысль показать в повести, что никакие усилия не могут сломить природной склонности к чему-нибудь, или, как говорят, призвания. Я радостно потер руками, и в мыслях у меня мелькнуло хорошее заглавие: «Как волка ни корми, он все в лес глядит».

Но как доказать эту идею? Выставить двух братьев: одного, положим, склонного... к чему? Ну, к музыке, а другого — к живописи. Родители не поняли их склонностей и хотят сделать из музыканта живописца, а из живописца музыканта. Ну, тут их страдания, и наконец они погибают. Отлично!

Я сообщил счастливую идею своей повести Грачеву.

— Ничего, идея так себе, порядочная,— одобрил он, и я решился немедленно приняться за работу.

«Вася и Николя играли в саду. «Какой прекрасный вид!» — сказал Вася, вглядываясь вдаль. «Прислушайся, Вася, к блеянию овец — тут есть своя высокая музыка!» — воскликнул Николя».

Но я их выставляю обоих добродетельными: тут не может быть никакой борьбы с пороком. Гораздо интереснее выставить одного негодяем... Но что же он *негодное* будет делать в детстве? Бить лягушек, мучить собак, давить кошек, а когда вырастет, сделается убийцей. Он — старший сын, его любят отец и мать, а младшего брата, живописца, ненавидят. Старший узнает о склонности младшего к живописи и начинает завидовать, что тот лучше его рисует картинки. Родители хотят отправить младшего в академию художеств, но старший, чтобы сделать зло брату, объявляет, что он сам желает быть в академии. Покорные родители отправляют его в академию, а младшего отдают в гимназию. Старший как будущий убийца любит красный колер, и в его картинах всегда преобладает цвет крови. Ну, потом он как-нибудь сначала делается игроком, проигрывает отцовское имущество, делается нищим, хочет ограбить богатого старика... Дальше очень просто. Младший делается великим живописцем, старшего выводят в кандалах на площадь, к позорному столбу. Младший при этом присутствует, вдохновляется,— и это сюжет его лучшей картины. Заглавие очень подходит: человека, склонного к убийству, учат живописи, но он все-таки делается убийцей. *Как волка ни корми — он все в лес глядит.* Отлично.

Сообразив все это, я присел и дня в два исписал три листа довольно мелким почерком. Когда повесть была окончена, я прочел ее Малинину и Грачеву.

— Отлично! Ты хорошо сочинил,— решил Малинин.

— Да, ничего. Идея проведена довольно верно,— одобрил Грачев.

— Я сегодня же и начну переписывать.

— Нет, я хотел было пустить передовой статьей мою — о языке животных... Впрочем, все равно — переписывайте,— дозволил Грачев.

Ученейшая статья о языке животных подвигалась вперед, однако ж, очень туго и была сдана Малинину после всех. Раньше была доставлена статья о значении Белинского, и Володя прочел ее в нашей зале, которую уже все звали библиотекой.

Чтение это не обошлось без скандала. Володя начал читать свою статью мне, Малинину и Грачеву, но, когда прочитали первую страницу, пришел Оверин.

— Я начну сначала,— сказал Володя и начал опять с первой строки: «Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший впервые заглохшее поле русской критики, был сын бедного лекаря. Он учился...» и проч.

Не успел он дочитать страницы, как пришли новые слушатели, и чтение опять началось с первой строки. Через минуту опять пришлось воротиться к началу, так как Володя не желал лишить новопришедших высокого удовольствия выслушать его красноречивое сообщение о родословной Белинского, и месте его первоначального образования.

С великими препятствиями все-таки удалось добраться до половины высокомудрой статьи о Белинском, но в это время угораздило явиться четырех новых слушателей.

— Позвольте, господа, я начну сначала: «Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший впервые заглохшее поле русской критики, был сын бедного лекаря. Он учился...»

— ...лучше вас и не писал таких гнусных нелепостей,— резко перебил Грачев, выведенный из терпения неделикатностью авторского самолюбия Володи.

— Для меня не интересно мнение таких господ, которые судят, «уперши в землю лбом»,— высокомерно сказал Володя.— Припомните басню Крылова: вы очень похожи на одного ценителя соловьиного пения.

— Так же, как вы на соловья?! Напачкали какую-то чепуху, да и воображаете, что произвели невесть что такое!..

— Где мне производить! Это вот вы произвели — и не удивительно: кому лучше знать язык животных.

например ослов, как не вам? — с чувством своего превосходства сказал Володя.

— Идиот! — презрительно пожимая плечами, воскликнул Грачев.

— Вот уже вы и заговорили на своем языке! — сказал Володя, употребляя все усилия казаться невозмутимо спокойным.

— Я не хочу помещать своей статьи, если вы возьмете эту дрянь,— объявил Грачев, обращаясь ко мне и Малинину.

— И я не дам своей статьи...

Страшно даже вспомнить, сколько упрашиваний, умаливаний и ухаживаний употреблено было с моей стороны и в особенности со стороны Малинина, чтобы прекратить эту распрю двух самолюбивых сотрудников новорожденного журнала. Только при помощи Ивана Иваныча, заявившего, что личные отношения не должны вредить благому общему делу, нам удалось поместить в первом нумере «Опыта» два знаменитых исследования — *о значении Белинского* и *о языке животных*.

Кроме своей повести и этих двух ученых статей, я хотел украсить нумер еще стихотворением Малинина и настоятельно потребовал, чтобы он тоже сделал с своей стороны вклад в общую сокровищницу. Но бедный Малинин, терпеливо промучившись часа полтора и истощив весь свой поэтический талант на первую строку: «Грущу,— все сердце бедное в клочках»,— явился ко мне и печально объявил, что у него нет вдохновения. После этого мне оставалось только посоветовать ему изорвать начало стихов в такие же клочки, в каких находится его сердце, и дожидаться, пока осенит его поэтическое вдохновение.

Наконец нумер был почти совершенно готов и чистенько переписан Малининым на лучшей министерской бумаге по шести гривен за десть. Состав его был следующий: 1) *Два брата,* повесть Николая Негорева, 2) *Смерть,* стих. Сергея Оверина, 3) *Значение Белинского,* статья Владимира Шрама, 4) *Колесо,* стих. Николая Лебедева, 5) *Язык животных,* статья первая Сергея Грачева, 6) *Смесь*: «Замечательное из недавно прочитанного» — Николая Лебедева; «Гипотеза о втором пришествии» — Якова Протопопова.

Когда толстенькая тетрадка нашего журнала была

вполне готова, виньетка превосходно разрисована и точно обозначены, на основании закона, место печатания — в типографии Малинина, фамилии редакторов — того же Малинина и Николая Негорева — и подписано: печатать дозволяется, но с тем, чтобы по отпечатании было представлено в цензурный комитет узаконенное число экземпляров — «цензор С. Грачев»,— когда все это было совершено, мы преподнесли первый нумер «Опыта» на просмотр Ивану Иванычу.

На другой день он принес наш «Опыт», забегал по классу и залпом произнес свой приговор:

— Конечно, monsieur Негорев, у вас еще нетверда рука... Очень хорошенькое стихотворение Оверича. Впрочем, я не советовал бы особенно увлекаться стихотворной формой; об ученых статьях я ничего не скажу, а уж гипотеза о втором пришествии — я не знаю, что это такое.

Эта гипотеза была действительно такой удивительной вещью, что даже наша невзыскательная редакция не вдруг решилась ее поместить в журнал; но так как автор жил на квартире у Ивана Иваныча, мы сочли не совсем удобным отказать ему. По предположению Протопопова, второе пришествие должно совершиться очень нескоро, так как на небе есть бесчисленное множество планет, населенных такими же грешниками, какими были древние евреи, греки и римляне. Иисус Христос, просветив римлян, евреев и греков на земле, по мнению автора, не может оставить грешников других планет непросвещенными, и если он на каждой планете будет проводить по столько же лет, сколько прожил на земле, то второе пришествие не может воспоследовать раньше 35 миллионов лет, даже считая число планет равным всего только одному миллиону.

После того как «Опыт» освятился таким образом, побывав в руках Ивана Иваныча, мы отнесли его в библиотеку и положили для всеобщего сведения рядом с настоящими журналами и газетами. Им тотчас же завладел Оверин и, несмотря ни на какие просьбы, не отдал его до тех пор, покуда не дочитал до конца. После этого «Опыт» был прочитан торжественно вслух при многочисленном стечении слушателей и заслужил всеобщее одобрение.

— Ничего, брат, ловко,— одобряли авторов скромные люди, не читавшие ничего, кроме учебников.

— Слог недурен, и идея есть,— тоном знатоков говорили завзятые посетители библиотеки.

«Опыт» вышел в субботу. На другой день, в воскресенье, напившись чаю, я вошел в библиотеку и застал там брата. В последнее время мы совсем перестали ходить к Шрамам, так как по праздникам в библиотеку приходило много своекоштных и у нас в пансионе было очень весело. Андрей все воскресенья проводил в гимназии; он сошелся почти со всеми на *ты*, сделался совершенно своим человеком и даже обедал и ужинал с нами.

Теперь брат сидел в библиотеке над развернутой тетрадью «Опыта», курил папиросу, и напевал солдатскую песню, которую кадетские патриоты считали очень смешной:

За святую Русь вперед
Двинемтесь рядами:
Зейденштюкер нас ведет,
И Цурмиллен с нами!

— Ты это меня, что ли, убийцей выставил? — спросил Андрей.

— Вовсе нет. Нужно же было как-нибудь провести идею.

— Знаю я — идею! Ишь! себя благонравным живописцем выставил, а меня убийцей!

Брат начал смеяться и не замечал, что Оверин его тащит за руку.

Наконец последний, потеряв терпение, ткнул его кулаком в бок.

— Что? — обернулся Андрей.

— Мне нужно с вами поговорить.

Я вообще не любил разговаривать с братом при посторонних и был очень рад, что Оверин утащил его от меня в коридор. Там они начали прохаживаться, причем Андрей, к всегдашнему негодованию Оверина, не терпевшего никаких ласк, старался повиснуть на его руке и прижаться к нему как можно ближе.

— Так отделаешь их, отделаешь? — с восторгом говорил он, тормоша сонного Оверина.

— Ах, оставьте меня, пожалуйста! — брыкался тот.

— У нас к воскресенью будет готово? да?

— Да,— объявил Оверин. Он самым решительным

образом оттолкнул от себя Андрея и пошел в столовую.

В следующее воскресенье с появлением Андрея появился в библиотеке сюрприз: новый журнал. Рукопись его сохранилась у меня, и, просматривая теперь чистенькую тетрадку, переписанную рукой Бенедиктова, мне живо припоминается то невозвратимое время, когда мы все были вместе, и сердце мое сжимается грустью, как будто сейчас только простился со мной и уехал навсегда любимый, дорогой человек. Чувствуется печальное бессилие возвратить или заменить чем-нибудь минувшее.

Прежде всего мне вспоминается Бенедиктов, каким я видел его в последний раз: в грубой холщевой рясе, в измятой поповской шляпе, румяный и здоровый, он сидел в телеге, рядом с молодой бабенкой — его женой, и, чмокая губами, дергал вожжи заморенной клячонки.

После этого видится мне Оверин, вечно серьезный, ничему не смеющийся и не удивляющийся, смотрящий на все так же спокойно, как смотрит меланхолик на беснующихся, смеющихся, дерущихся, ругающихся, говорящих всякую дичь, плачущих и танцующих своих товарищей. Чрезвычайно правильно и соразмерно сложенный, он очень походил на одного из американских дикарей, в том виде, как их изображают, смелой и красивой поступью прохаживающихся по девственным лесам. Оверин был совсем не цивилизован, и в его манерах не было и тени подленьких ухваток, встречающихся не только у людей, но даже у домашних животных; он везде был прост до поразительности в своих антично-благородных движениях. Все это, с лошадиными глазами, глядевшими без всякого выражения, делало его до последней степени странным и часто очень смешным.

Где-то он теперь, великодушный чудак?

Рукопись начинается следующим образом:

НАБЛЮДЕНИЕ

журнал, ежемесячно падающий с неба, не имеющий ни редактора, ни типографии, ни цензора.

> Будь он проклят, растлевающий,
> Пошлый опыт — ум глупцов!
>
> *Н. Некрасов.*

Один ученый муж посоветовал издавать журнал в гимназии на том основании, что Пушкин в лицее тоже издавал журнал. Начали издавать журнал; вот он вышел — появился; появился причесанный и приглаженный, как благонамеренный Ваня из «Друга детей», Ваня, который всегда чистит свои штаники и сапожки, вследствие чего делается генералом, а через немного времени попадает в царство небесное. Мы не хотим подобиться этому Ване, а предпочитаем появиться со своим «Наблюдением» подобно развратному Феде, который не чистил никогда штаников и сапогов, вследствие чего сделался свинопасом, а через немного времени попал в геенну огненную. Мы предпочитаем потому походить на развратного Федю, что не можем походить на благопристойного Ваню: мы хотим мыслить, а Ваня не может мыслить, потому что благопристойному человеку правилами приличий мыслить строго воспрещается. Благопристойный человек не смеет подумать того, что не думают другие; он хорошо помнит азбуку, в которой учил, что кротость, целомудрие, смирение и щедрость суть добродетели, а гордость, сластолюбие, честолюбие и скупость суть пороки, и не смеет сказать, что честолюбие — добродетель, а лакейское смирение — порок. Мы же, как развратный Федя, не побоимся сделать подобную неблагопристойность. Но не в этом дело. Дело в том, что журнал «Опыт» явился, и явился под редакцией двух благопристойных мальчиков — Николи Негорева и Миши Малинина. Эх вы, пеклеванники с патокой! Кисло-сладкие бублики! Редакторы! Что такое редактор? Человек, дерзко на себя принимающий власть решать, что хочет читать публика и чего она не хочет. Этой-то ужасной язвы общества, этих-то гасильников просвещения, этого-то позора человечества и XIX столетия, редакторов-то, гимназический журнал мог бы вполне избегнуть. Но как же избегнуть? ведь это, значит, поступить так, как не поступают другие; справьтесь хоть в самой азбуке — благопристойному человеку этого делать никогда не полагается. Под статьями принято подписываться — нельзя же было и благопристойным мальчикам не подписаться. Вот и явились все налицо: Николя Негорев, Володя Шрам, Сережа Грачев. Как будто не все равно, Николя или Сережа написал ту или другую нелепость? Они даже цензора и типографию под-

писали, которой не имеется. Нельзя же! другие так делают.

Но что же пишут благопристойные мальчики? Нечего и говорить,— конечно, пишут благопристойные вещи. Николя Негорев доказывает в бесцветнейшей повести очень верную мысль, что сапожник так и родится сапожником, и, сколько его ни учи возить воду, он никогда не сделается водовозом: все будет мечтать о шиле да о дратве. В доказательство этого, он, видите ли, рассказывает, что были два брата: один был рожден убийцей, и, сколько его ни учили живописи, он ничему не научился и совершил все-таки убийство; другой родился живописцем, и, как ни учили его русской грамматике, он остался безграмотным человеком, но отличным живописцем. Ergo [1], если я родился от плотника, я больше имею склонности тесать доски, чем сын министра. Сын министра более сына плотника способен управлять государством, сын полководца — командовать армией, сын солдата — стоять на часах и проч. Поэтому сына хорошего министра нужно как можно скорее сделать министром, а сына полководца — полководцем. Сыну же бедного плотника нечего и думать сделаться художником, писателем или полководцем, а должно полагать свое назначение исключительно в обтесывании досок. Вообще самое лучшее — разделить государство на касты, как это было в Древнем Египте. Так думали в древности, так думали в средние века, передавая сыну хорошего рыцаря титул барона и власть над леном, так думают и теперь; как же благопристойным мальчикам думать иначе?!

Все толкуют, что Белинский был великий критик, и благопристойный мальчик Володя Шрам толкует это же самое. Все хвалят повести Тургенева, и благопристойный мальчик Николя Лебедев хвалит повести Тургенева.

Только к чему они толкуют то, что уже давно перетолковано, и хвалят то, что давно расхвалено?

Знаете ли вы, милые мальчики, что глупейшие из вас на званом пиру оказались умнейшими? Знаете ли, что нелепая и безграмотная статья о языке животных читается с бо́льшим удовольствием, чем ваши умные

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

речи о том, что Белинский был хороший критик, а Тургенев — хороший романист? Прочитав о том, что обезьяны имеют свой язык, я все-таки подумал немного, пока убедился, что обезьяны лишены дара слова. А над вашими писаньями никто не задумается.

Но довольно! Я и так много разметал перед вами бисера, милые паиньки! Патокой вас надо кормить; за то, что вы умно себя ведете, я вам куплю патоки.

После этого «рвет и мечет» (если можно сделать такое существительное) Оверина помещена была следующая чепуха, принадлежащая перу Андрея:

КОМЕДИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ НУМЕРОМ

Действующие лица:

Андрей Негорев, благодетельный гений.

Николай Негорев, редактор «Опыта» и вместе с тем убийца своего родного брата.

Мишка Малинин, разбойник из Мурома и тоже редактор «Опыта».

Владимир Шрам, ископаемый идиот, большая редкость, имеющаяся при редакции «Опыта».

Грачев, из свиней.

Свинья.

Корыто.

Дураки.

Шрам. Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший впервые заглохшее поле русской критики, был сын бедного лекаря.

Слышен собачий лай, петушиный крик, блеяние козлов и другие скверные звуки; входят оба редактора, за ними небольшая свита из дураков.

Николай Негорев *(Малинину)*. Прочти, мой друг, новую повесть.

Малинин *(читает)*. Два брата: Андрюша и Николашка, повесть в двух лицах. Николашка был ужасный подлец, а Андрюша был добрый человек.

Николай Негорев. Поправь: Андрюшка был ужасный подлец, а Николя — хороший человек.

Малинин *(читает)*. Николашка постоянно зани-

мал деньги у доброго Андрюши и никогда не отдавал их ему. Раз Николашка сманил Андрюшу на войнишку...

Шрам *(перебивает)*. Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший впервые...

Один из дураков бьет его по рылу, он умолкает; в это время входят несколько дураков и вносят корыто, вымазанное гущей.

Малинин *(осматривая корыто)*. Я замечаю, на гуще понаделаны какие-то знаки. Это, кажется, какое-то сочинение на свинском языке.

Николай Негорев. Позвать Грачева: он из свиней и хорошо знает свинский язык.

Грачев *(входит)*. Что угодно?

Начинается страшный шум; дураки лают по-собачьи, мяукают по-кошачьи и кукарекают по-петушиному.

Шрам *(читает)*. Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший впервые... *(Грачев бьет его по рылу; он умолкает.)*.

Николай Негорев. В редакцию прислана статья. *(Указывая на корыто.)* Возьмите, пожалуйста, эту рукопись и прочтите нам.

Грачев *(берет от дураков корыто)*. Почерк знакомый, и корыто знакомое: где-то я угощался из этого корыта. *(Читает.)* «Хотя редакция «Опыта» и сотрудники этого журнала принадлежат к презренной двуногой породе людей, но, по своему слогу и по своим прекрасным мыслям, они вполне заслуживают быть поставленными наряду со свиньями».

Дурак *(входя докладывает)*. Один из сотрудников желает видеть редактора.

Николай Негорев. Проси.

Свинья *(входит и останавливается, с удивлением глядя на Грачева)*. Хрю, хрю-рю-хрю!

Грачев. Кого я вижу? Это она — моя божественная Хавронья! Хрю-рю!

Свинья. Хрю-рю-хрю!

Грачев. Хрю-рюх!

Свинья бросается в его объятия, они обнимаются и целуются. Молчание. Немая картина трогательного свидания двух нежных любовников. Грачев о чем-то тихо разговаривает со свиньей на свинском языке.

Свинья (*продолжая находиться в объятиях Грачева*). Рюх-тюх-рю-рю?

Грачев. Предмет моей страсти спрашивает редакцию «Опыта», получена ли ее статья о свинской литературе.

Шрам (*подвертывается*). Виссарион Григорьевич Белинский, распахавший... (*Грачев бьет его по рылу; он отходит.*)

Николай Негорев. Статья вашей невесты будет помещена в следующем нумере.

Грачев. Хрю-хрю.

Нежно обнявшись со свиньей, уходят.

Николай Негорев. Дураки, уведите идиота в хлев, привяжите на цепь и дайте ему немного сена, только посматривайте, чтобы он не ушел.

Дураки уводят под уздцы Шрама; Малинин и Николай Негорев остаются одни.

Друг мой! Добродетельный брат мой не выходит у меня из головы. Я его ненавижу. Он невинен и добр, как ангел, а я зол, как дьявол. Он умен, а я глуп; ты знаешь: я глуп непроходимо...

Малинин. По глупости ты почти равен со мной.

Николай Негорев. Я написал на него канальскую повесть — ничего не подействовало: все знают его ангельскую доброту. Как бы мне убить его? Я пробовал утопить его, но не утопил. Душа горит! Мне хочется пить. Дай пить да посвисти: я не могу пить, если подле меня не свистит кто-нибудь.

Малинин свистит подобно кучеру, поящему лошадь. Николай Негорев пьет.

Я так зол! Мне хочется отвести душу: вели позвать идиота.

Дураки вводят под уздцы Шрама; Николай Негорев бьет его несколько времени и, натешившись вдоволь, приказывает вести идиота на водопой; дураки уводят его.

Малинин. Что, теперь тебе лучше?

Николай Негорев. Нет. Я все думаю, как бы насолить брату. (*В раздумье.*) Теперь я отмстил ему тем, что начал писать свои глупости, срамить его фами-

лию. Но я отмщу ему еще больше: я сочетаюсь законным браком со свиньей, на которой хочет жениться Грачев. Этот тоже очень расхвастался своим свинским языком! Женюсь. Пусть Андрея Негорева, известного всему городу с лучшей стороны, зовут деверем свиньи!

Малинин. Хавронья смотрела на тебя довольно благосклонно.

Николай Негорев. Женюсь.

Андрей Негорев *(неожиданно появляется. Грозно)*. Стой, мерзавец!

Николай Негорев *(падает в ноги брату)*. Прости меня!

Андрей Негорев. Говори: «Простите, ваше превосходительство». *(Величественно.)* Я за заслуги произведен в генералы.

Николай Негорев. Простите, ваше превосходительство! *(Целует у своего благодетеля правую руку и левую ногу.)*

Андрей Негорев. Ты хотел утопить меня — я простил тебя; ты хочешь жениться на свинье — я прощаю тебя, мало этого! — я хочу тебя осчастливить.

Николай Негорев целует полу шинели своего благодетеля.

Я буду издавать журнал «Наблюдение» и беру тебя к себе на посылки.

Николай Негорев прыгает в восторге.

Твоего идиота я возьму к себе в кабинет, посажу в банку со спиртом. Грачеву дам помойную яму — он там может жить без заботы со своей молодой женой. Малинина, Лебедева, Протопопова отошлю в деревню, чтобы выходились на подножном корму, и освобождаю их на год от всяких работ: на них не будут возить ни воды ни сена. Дурацкий журнал прекратите! *(Делает величественный жест.)*

Осчастливленные вконец Николай Негорев и Малинин от восторга благодарности падают ниц и со слезами целуют следы ног своего благодетеля.

После этого шли мелкие известия, вроде этого:

«*Тула*. Местные мастеровые озабочены приготовле-

нием сковороды, которую будет лизать в аду известный клеветник Николай Негорев, оклеветавший своего родного брата» и проч. и проч.

За мелкими известиями идет длинная статья Оверина, названная «Здравый смысл», где он предает последний мучительному распятию и размышляет, так сказать, на вон-тараты. Тут есть доказательства, что взятки полезны, что воду в водку подливать очень хорошо, что Аскоченский[1] — очень умный человек, что Пушкин — дурак, что самое лучшее быть сумасшедшим и проч. и проч.

«Вы меня считаете сумасшедшим,— говорит он в одном месте.— Знаете ли вы, любезные баричи, что вы говорите мне такой комплимент, какого не могут выдумать во сто лет ваши слабые головки? Вы — грязь, а все выделяющееся из грязи — лучше грязи. Вы вода, а сумасшедший — капля масла, плавающая сверху воды и не желающая с ней соединяться. Я горжусь, что вы признаете меня сумасшедшим, и гордился бы в мильон раз больше, если б знал, что я действительно сумасшедший».

«Как почтенен,— говорит он в другом месте,— отец семейства, берущий взятки! Он ведет борьбу с законом и приличиями,— упорную борьбу, в которой он, может быть, изнемогает, но он счастлив при виде радости детей, для счастия которых жертвует своей репутацией и жизнью». «Вы, Николенька Негорев, не будете брать взяток, потому что не смеете: боитесь, что о вас скажут. Ваши дети будут умирать, а вы не возьмете взятки на том основании, что другие считают это пороком».

Журнал заключался двумя письмами в редакцию, сочиненными Андреем. Одно от старика чиновника Чернилкина, героя моей повести, сделавшегося жертвой убийства. Он объясняет, что жив и здоров и что Николай Негорев в своей повести гнусно наклеветал на бедного живописца за то только, что живописец нарисовал ему, Негореву, очень похожий портрет, который вместе с тем

[1] Аскоченский Виктор Ипатьевич (1820—1879) — реакционный журналист и писатель, редактор «Домашней беседы».

имел сходство с серо-яблочной лошадью какого-то поручика Анучина. В другом письме нянька Федосья убеждала читателей не верить Николаю Негореву, так как он сызмалолетства имел врожденную склонность к вранью и даже, играя в дурачки, всегда плутовал и обманывал ее, няньку, и своего честного и великодушного брата Андрея. В конце было помещено стихотворение «Подойник мне снился во сне», из Буренки, с коровьего языка перевел Сергей Грачев. Это была единственная фамилия автора, подписанная под статьей «Наблюдения»: ни Оверин, ни брат не подписались, вероятно, соображая, что решительно все равно, тот или другой написал ту или другую нелепость.

Появление нового журнала возбудило большой фурор, и Андрей не мог успокоиться от хохота, с восторгом видя, как ругаются и отплевываются читатели.

— Ну, что ж ты это написал? — говорил ему обиженный Малинин.— Когда я разбойничал? Я и в Муроме не был никогда!..

— Черт знает, какая чепуха! — сказал я, стараясь скрыть свою досаду.— В заглавии сказано, что я — убийца своего родного брата, а в сцене нет никакого убийства.

— Ну, это сказано для красоты слога,— засмеялся Андрей.

— Вероятно, для красоты слога ты и это написал, что я у тебя постоянно беру в долг деньги и никогда их не отдаю. Ведь найдутся дураки, которые поверят твоим глупостям.

— А пусть верят!

— Это уж положительно бессовестно, тем более, что не я у тебя, а ты у меня берешь деньги и никогда их не отдаешь, точно так же, не я тебя, а ты меня хотел утопить,— сказал я, совсем рассердившись.

Видя это, Андрей пришел в величайший восторг и залился самым веселым хохотом. Я даже плюнул и чуть не попал на Грачева, который в это время подошел к нам.

— Не подумайте, что я сержусь на шутку,— сказал он брату,— я смеялся, как Пальмерстон, читая остроты на свой счет в «Понче».[1]

— Вот как! и в «Понче» даже острят на ваш счет! —

---

[1] «Понч» — английский юмористический журнал.

сказал Андрей, но Грачев не слушал его, так как в это время пришел Оверин, которого автор «Языка животных» не мог терпеть всеми силами своей львиной души.

— Ну, батенька, какую вы тут бесстыдную дичь нагородили! — сказал Грачев, подскакивая к Оверину.

— А вам обидно? — равнодушно спросил Оверин, усаживаясь читать газеты.

— Нисколько! Разве можно обижаться глупостями! — принужденно рассмеялся Грачев.— Я сейчас говорил вот ему, что вовсе не обижаюсь на его шутку... Но все-таки я скажу, что вы написали ужаснейшую чепуху; должно быть, это у вас как-нибудь со сна случилось?

— Со сна? — невнимательно повторил Оверин и погрузился в чтение газеты.

— А! вот и вы! Прочтите-ка, батенька, прочтите-ка! — подскочил Грачев к только что вошедшему Володе, подавая ему тетрадь «Наблюдения».

Грачев вообще в это время был как-то неловок, и хотя всеми силами старался казаться совершенно спокойным и непринужденным, но излишняя развязность выдавала его. Видно было, что он, как говорится, не в своей тарелке, как человек, получивший оплеуху и желающий уверить других, что удар пришелся по плечу. По бойкой развязности, похожей на нахальство, с которой он подал Володе тетрадь «Наблюдения», заметно было, что Грачеву думалось в это время: « Я уж похлебал солоно, попробуй-ка и ты; посмотрим, будешь ли так невозмутимо спокоен, как я».

Шрам взял тетрадь и начал читать статью Оверина. В радостном ожидании той минуты, когда Володя со всего разбега наткнется на его пасквиль, Андрей тихонько потирал руки и корчил очень хитрые гримасы кому-то из стоявших против него гимназистов.

— Кто это писал? — сказал Володя, прочитав первые строки Андреевой комедии.— Так и пахнет кабаком! Какие площадные ругательства!

Не дочитав несколько строк до конца комедии, Володя швырнул от себя тетрадь «Наблюдения».

— Как не совестно класть сюда этакую мерзость!

— Чем же мерзость? Вы прочитайте! — с насмешливой услужливостью сказал Андрей, взяв в руки тетрадь.— «Твоего идиота Шрама возьму к себе в кабинет,

посажу в банку со спиртом»,— громко продекламировал Андрей.

Все захохотали. Володя сознавал, что он находится в очень глупом положении; лицо его побледнело, губы дрожали от злости.

— Где вы воспитывались? — прошипел он.

— В первом р-ском кадетском корпусе,— весело отвечал Андрей.

— В казарме,— пробормотал Володя, взял фуражку и торопливо ушел из зала.

На другой день Шрам еще задолго до начала классов пошел в учительскую комнату и поднес Ивану Иванычу тетрадь «Наблюдения».

— Новое периодическое издание,— с усмешкой сказал он.

Иван Иваныч начал перелистывать журнал с проворной торопливостью белки, роющейся лапками в мешке кедровых орехов. К первому уроку он успел перемять все страницы и явился к нам в класс такой красный, что мне даже показалось, будто его волосы на бакенбардах, каждый из которых торчал совершенно самостоятельно — не в ту сторону, куда другой, немного покрылись краской стыдливости, разлившейся широким заревом по всему лицу Ивана Иваныча. Он побегал-побегал по классу, решительно бросил тетрадку «Наблюдения» на стол, и частая звонкая речь посыпалась у него, точно он опрокинул кадку с сухим горохом.

Только при усиленном внимании можно было понять, что он недоволен статьей Оверина и очень ратует против мысли, что благопристойность исключает возможность мышления.

— Все великие люди были благопристойны,— заключил он.

— Укажите хоть на одного,— вдруг сказал Оверин, не поднимаясь со скамьи, как этого требовала бы вежливость.— Никто из них не был благопристойным.

— Кто же не благопристоен? Русские великие люди? Ермил Костров, что всегда готов за один полштоф написать сто стихов, кончающихся на *ов*? — с горячностью барабанил Иван Иваныч.— Кто же?

— Все. Кто из великих людей говорил то же самое, что все говорили? — сонно спросил Оверин.

— Из действительных великих людей разве только

Жан-Жак Руссо...— барабанил Иван Иваныч, не слушая Оверина.

— Не в том дело, не в Руссо,— почти дерзко сказал Оверин,— а в том, что я — жалкое ничтожество, если мыслю и действую, соображая, что скажут обо мне другие.

— Это нелепость! — вскричал Иван Иваныч, бакенбарды которого решительно покраснели и прыгали и бегали вместе с ушами, с носом и другими частями его тела.

Сухой, звонкий горох сыпался на пол; ничего нельзя было понять из частой речи, похожей на трещанье пожарной трещотки. Оверин несколько раз пытался что-то сказать, но Иван Иваныч несся, как перекати-поле, решительно вне возможности остановиться.

— Ну, этак нельзя говорить,— решил Оверин, разводя руками.

Побегав еще с четверть часа и ни на секунду не умолкая, Иван Иваныч схватил тетрадь «Наблюдения» с такой горячностью, как будто хотел кого-нибудь ударить ею.

— Что это такое? «Один ученый муж посоветовал издавать журнал». Уж и это очень резко! Бокль совершенно справедливо признает резкость верным признаком недостатка образования...

— Разве лучше бы было, если б я сказал «неученый муж»? — как будто нехотя спросил Оверин.

Иван Иваныч покраснел еще сильнее и запрыгал еще прытче.

— Но это еще все ничего,— барабанил он.— Дальше... (Иван Иваныч так яростно перебросил несколько страниц, что чуть их совсем не вырвал из тетрадки.) Уж это ни на что не похоже: *Шрам — ископаемый* — что такое ископаемый? *Идиот*. Разве могут быть ископаемые идиоты? Да, наконец, это просто оскорбление, ругательство!

— Вовсе не ругательство. Идиота нельзя же назвать мудрецом. Идиот — так идиот и есть,— с убеждением отозвался Оверин.

Володя встал с видом несправедливо оскорбленного благородного человека.

— Позвольте мне уйти отсюда,— проговорил он с очевидным намерением обратить на себя внимание Ива-

на Иваныча и устроить сцену. Но Иван Иваныч сыпал горох своей речи, и ничто в мире не могло, кажется, остановить отчаянного потока его красноречия. Володя вышел и сделал большую ошибку, потому что лишился удовольствия слышать, как Иван Иваныч, преследуя фразу за фразой, наголову разбивал обоих авторов «Наблюдения».

— «Что хочет читать публика и чего она не хочет»,— читал Иван Иваныч.— Не досказана фраза: публика может не хотеть многого: не хотеть, чтобы ее поливали водой, чтобы секли и прочее. На конце фразы пропущен вопросительный знак. Во всей фразе вы восстаете против опеки редакторов. Но как же обойтись без редакторов? и прочее и прочее.

Раздался звонок; Иван Иваныч положил под мышку «Наблюдение» и отер пот с лица.

— Я обойду все классы и прочту ваш журнал со своими комментариями,— сказал он.— Все узнали ваши мнения, пусть все узнают и противоположные мнения — мои мнения.

И целый день он бегал по классам, с величайшей горячностью стараясь разрушить авторитет (как он, вероятно, думал) Оверина и Андрея.

— Каково вас на всех вселенских соборах[1] проклинают? — сказал я, отыскав Оверина.

— Глупец! — презрительно сказал он, разумеется относя этот эпитет не ко мне, а к Ивану Иванычу.

После этого Иван Иваныч принял самое горячее участие в судьбе «Опыта» и начал просматривать все статьи прежде их помещения в журнале. Следующий нумер вышел у нас через две недели. В нем были помещены статьи новых сотрудников: прежние, исключая меня и Малинина, кажется, навсегда отказались от участия в гимназической литературе.

— Вы ничего не дадите в этот нумер? — спросил я как-то Володю.

— Нет уж, благодарю вас. Я не желаю быть мишенью для ругательств вашего братца,— высокомерно отвечал он.

---

[1] Негорев иронически сравнивает «разрушение авторитета» Оверина и Андрея Иваном Иванычем с общецерковными съездами представителей высшего духовенства христианской церкви, основной задачей которых была борьба с ересью.

— А вы, Грачев? — обратился я к стоявшему тут же ученому жениху Хавроньи.

— Ну их! все это глупости! — презрительно сказал автор исследования о языке животных.

Во второй нумер втеснились даже четвертоклассники, и я, с крайним моим неудовольствием, должен был согласиться на требование Ивана Иваныча поместить рассказ «Охота за кротами», лишенный всякой идеи. Но, что всего досаднее, этим пустеньким рассказом невежественные читатели интересовались гораздо больше, чем моей повестью, в которой, по всеобщему приговору знающих людей, великая идея о врожденности талантов была проведена очень недурно.

Выпустив второй нумер, мы ждали, что скажут Оверин и Андрей, но они ничего не сказали. С Андреем в это время случилась скверная история. Он очень неосторожно подсмеялся над каким-то толстым офицером в корпусе, и последний вздумал было надрать ему уши, но Андрей, считавший себя уже довольно солидным мужчиной (ему было семнадцать лет), протестовал против этого намерения ударом в брюхо. Такая дерзость кадета против офицерского брюха была величайшим преступлением, и Андрея надолго посадили в какую-то «Потешную цитадель», построенную в корпусном саду еще чуть ли не во времена Петра Первого. Туда сажали только таких важных преступников, для которых обыкновенный карцер считали недостаточно крепким.

Я хотел было навестить брата, и мы ходили вместе с Малининым в корпус, но видели только Потешную цитадель — маленький развалившийся домишко с решетчатыми окнами: к Андрею нас не допустили.

— Скоро ли его выпустят? — спросил я швейцара.

— Не могу знать — как решат.

— А как вы думаете?

Солдат помялся и нерешительно ответил, что Андрей, по всей вероятности, угодит под красную шапку.

— Ведь это нехорошо, если его отдадут в солдаты; ты бы похлопотал, — наивно посоветовал мне Малинин.

Однако ж, при всем желании хлопотать за Андрея, я мог только известить о случившемся отца. Историю, впрочем, при помощи старых знакомых отца удалось кой-как замять, хотя Андрей все-таки просидел в Потеш-

ной цитадели более трех недель. В этих обстоятельствах ему, понятно, было не до «Наблюдения».

Оверин в это время тоже забыл свой журнал. У него умерла тетка, и к нему явился попечитель, некто Аронов — первый р-ский богач, который заявил ему, что он может, если хочет, переселиться из пансиона на вольную квартиру, но Оверин не изъявил на это согласия и попросил только пятьдесят рублей на книги. На эти деньги он купил себе соломенную шляпу (рассуждая, что, чем легче головной убор, тем он меньше отягощает голову и мешает мыслить) и кипу книг. Еще мечтая сделаться великим полководцем, он успел пристраститься к математике и теперь налег на этот предмет с таким усердием, что совершенно перестал ходить в библиотеку. Проводя целые дни с книгой в руках, Оверин переменял только положения своего тела. Уставши сидеть, он становился к окну и, высоко держа перед глазами книгу, простаивал в позе статуэтки Дон-Кихота по нескольку часов, не замечая, что первоклассники и второклассники окружают его в таких же точно позах, как он, с книгами в руках и потешают на его счет присутствующую публику.

Вообще «Наблюдение» прекратилось; но брат не оставил своей литературной деятельности. Он вышел из заключения в какой-то раздумчивости: ему долго стыдно было признаться, что он стал ненавидеть ту военную службу, которой прежде восхищался, но наконец он признался, написав с этой нарочитой целью особую повесть под названием «В Потешной цитадели», которую и принес мне как-то в воскресенье. Герой этого рассказа, вовсе неспособный к военной службе, страдал, по воле деспота-отца, в корпусе, вследствие чего решился сделать преступление, чтобы быть исключенным из ненавистного заведения. Но за преступление его садят только в Потешную цитадель. Здесь Андрей очень трогательно описывал свои страдания под арестом, делая по временам злобные отступления то по поводу деспотизма родительской воли, то по поводу систематической жестокости военной дисциплины и солдатской выправки.

Ивану Иванычу очень понравилась его статья, и мы поместили ее, к удовольствию автора, в ближайшем же нумере «Опыта». Это был последний нумер нашего журнала. Мы выросли, и наша литература казалась нам смешной детской игрой; несмотря на подстрекательство

Ивана Иваныча, никто не хотел больше писать. Да и сам ученый бакалавр скоро стал казаться нам очень наивным и смешным со своими ученейшими записками по логике и теории поэзии.

— Ты сбереги этот нумер,— сказал мне Андрей, принося зачитанную тетрадь «Опыта» со своей статьей.— Как поедешь домой, покажи папаше мою статью.

— Не его ли ты выставляешь под видом тирана-отца?

— Нет, я так хочу... я тебя прошу,— смущенно и серьезно отвечал Андрей. Вообще к нему очень не шла серьезность, и он, в тех редких случаях, когда не смеялся, чувствовал себя очень неловко и казался как будто сердитым.

В последнее время он что-то чаще и чаще начал делаться серьезным. Это было очень странно; к довершению всего отец, никогда ничего не писавший нам, начал присылать на имя Андрея какие-то нелепые письма, «Любезный Андрюша,— писал раз отец,— я глубоко раскаиваюсь и подал в уездный суд прошение: хочу, по твоему совету, определиться писцом и служить впредь по штатской службе. Отец твой Николай Негорев».

— Что это такое? — спросил я брата, прочитав ему письмо.

— Глупости,— мрачно отвечал Андрей.

В другой раз на бумаге, в которую было завернуто наше месячное жалованье, присылавшееся прежде без всяких комментарий, я нашел следующую надпись, сделанную рукой Савушки: «Я не согласен с тобой: стреляется только презренная военщина; штатскому человеку приличнее удавиться. Пистолет в кармане не носи: найдут как-нибудь — выдерут розгами. Отец Николай Негорев».

Брат не давал мне никаких объяснений, и я догадывался только, что это, по всей вероятности, ответы на его письма, посылаемые тайком от меня в деревню.

V

Я ДЕБЮТИРУЮ КАК ОЧЕНЬ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Когда я приехал на вакацию, перейдя из пятого в шестой класс, Авдотьи Николаевны уже не было, и из ком-

нат совершенно исчез отвратительный жасминный запах. Сестра была уж не девочкой, а почти девушкой, и тетка наедине, по секрету, объяснила мне, что с сестрами, в таком возрасте, как она, взрослым братьям не совсем прилично целоваться даже в радостную минуту прибытия на каникулы. Отец хворал и не вставал с кресел.

— Ну, что, как поживаешь? — спросил он меня, когда я пришел в кабинет поздороваться с ним.— Скажи, пожалуйста, что это наш Андрей, с ума сходит, что ли?

— Не знаю,— отвечал я, не понимая, в чем дело.

— Да ты видаешься с ним?

— Видаюсь.

— Что же он такое,— говорил что-нибудь тебе?

— Ничего; он просил меня только дать вам прочесть его повесть.

— Глупость, я думаю, какая-нибудь.

Я все-таки сходил к себе наверх, вынул из чемодана «Опыт» со статьей брата и положил его перед отцом.

— Он показывал тебе свои письма? Нет? ну, вон посмотри в правом ящике...

Тучное тело отца задрожало от смеха.

— Вот бог дал чадо-то! Укоряет меня, что я в военной службе век загубил! Жаль, когда я определялся, с ним нельзя было посоветоваться,— с усилием от душившего его смеха проговорил отец со слезами на глазах.

Я начал разбирать письма; они были написаны как будто в бреду, с такой горячей мальчишеской задорностью, что, читая их, нельзя было не улыбнуться.

Вот одно письмо:

«Любезный папаша! Чаша страданий моих переполнилась. Я не могу больше терпеть. Каждый лишний час в корпусе кажется мне вечностью. Между тем как мой брат развивается и сделается полезным гражданином, я терзаюсь презрением к самому себе. Куда я буду годен в военной службе? Я чувствую в глубине души, что вовсе неспособен быть военным. Если я останусь здесь, если вы меня не возьмете из этого ада, будет что-нибудь одно: или я умру от тоски и отчаяния, или я застрелюсь. Я предпочитаю последнюю смерть и всегда ношу с собой заряженный пистолет. Ради бога поспешите — не доведите меня до отчаяния, до самоубийства! Я приеду в деревню, и в один год догоню Николая; мы вместе по-

ступим в университет. Моя жизнь в ваших руках. Один миг — и меня не будет существовать: я буду лежать с раздробленным черепом».

Когда я кончил пересматривать последние письма Андрея, в которых он беспрестанно выражал самое решительное желание умереть или выйти из корпуса, отец попросил меня прочитать его статью. Он до слез хохотал над наивными усилиями Андрея утопить в ложке воды, обличить и всячески уязвить тирана-отца, томящего сына в военной службе, в то время как тот всеми силами своей благородной души рвется на гражданское поприще.

— Как ты думаешь,— улыбаясь, спросил меня отец, когда я кончил чтение,— в самом деле он хочет в университет или это так, дурь одна?

— Как же не хотеть в университет! Из корпуса его выпустят каким-нибудь жалким прапорщиком, а тут...

— Что же тут?

— Тут открывается широкое поле...

— Какое поле? — насмешливо спросил отец.

Я смотрел в то время на университет как на некое святилище, в которое стоит только войти, чтобы немедленно сделаться уже порядочным мудрецом. Я даже чувствовал какое-то благоговейное недоверие, что настанет когда-нибудь минута, в которую и я, недостойный, ступлю на порог этого святилища. Так думает о Иерусалиме богобоязненная старушка, отправляющаяся из Москвы ко святым местам. Я с таким жаром начал объяснять отцу значение университета, так горячо выставлять преимущества университетского образования перед жалкой выучкой в кадетском корпусе, что долго не замечал, что отец снисходительно подсмеивается надо мной, как подсмеиваются отцы над глупостями своих наивных детей.

— Не мое дело,— вдруг остановил меня отец,— он уж не маленький; пусть идет, коли хочет, в университет, только, кажется, ничего из этого не будет...

— Уж это от него зависит,— с убеждением сказал я как человек, вполне понимающий важность обсуждаемого вопроса.

— Ого! Ты уж басом начал говорить,— засмеялся отец.— Позови-ка сюда вашего американского болотного жителя.

Так отец называл почему-то Савушку, который успел уже совершенно приручиться и сделаться в доме своим человеком, хотя все еще не приобрел достаточного навыка при обращении со столовыми ножами, вилками и ложками. Он жил уже во флигеле, в комнате умершего Михеича, и принял на себя некоторого рода деловой вид. При тетушке Савельев исполнял должность чтеца и, вероятно, мучился не меньше меня над сочинениями разных госпож Жанлис, Ген и других; у отца он был письмоводителем и делопроизводителем по всем его делам, не исключая объяснений с исправником и написания писем к родственникам и знакомым. Несмотря на эти трудные обязанности, Савушка находил время заниматься охотой и употреблял для этой цели отцовское ружье и Барбоску, которого за старостию лет не привязывали больше на цепь.

— Одно ружье уж испортил, портит другое; жду, скоро ли придет за третьим,— с комическим сокрушением говорил отец, видя длинного, носатого, загорелого американского болотного жителя, отправляющегося с огромным ягдташем и Барбосом на охоту или возвращающегося с оной, всегда налегке, без всякой добычи.

Отец с Савушкой занялись сочинением прошения к корпусному начальству, а я взял повесть брата и отправился читать ее тетке и сестре. С первых же строк обе слушательницы начали беспрестанно перебивать меня, и я должен был на время приостановиться, чтобы удовлетворить их жгучее любопытство.

Сестра смеялась и закидывала меня вопросами: что такое Потешная цитадель, есть ли там крысы и какой, примерно, величины, кормили ли там брата, и если кормили, то чем именно, и проч. и проч. Тетка, напротив, не только не выказывала никакого сочувствия к автору, но приходила в положительную ярость от неприличной резкости и грубости тона, уверяя, что она всегда говорила, что из Андрея выйдет большой грубиян, а пожалуй, и разбойник.

— Об отце-то! Ах, ты господи! Показывал ты ему это? — ужасалась тетушка непочтительностью брата к родителям.

— Показывал.

— Что же он?

— Смеется.

— Ему хоть кол на голове теши, он все будет смеяться.

Я хотел было продолжать, но тетушка нашла, что такие мерзости нельзя слушать молодой девушке, а потому велела мне отнести «Опыт» и спрятать в чемодан, как можно дальше от Лизы. Это, однако ж, не помешало мне прочесть Лизе (конечно, один на один) не только «Опыт», но и «Наблюдение» со статьями Оверина, за которые тетушка приговорила бы автора по крайней мере к колесованию.

— Какой он дурак! — вскричала сестра, когда я кончил статью Оверина.

— Ну, не совсем дурак; поумнее нас с тобой,— сказал я, недовольный легкостью, с какой она произнесла свой резкий приговор над моим товарищем.

— Он говорит, что нужно делать все неприличное. Значит, можно садиться на пол, класть ноги на стол, есть руками,— горячо сказала Лиза.

— Вовсе не то. Не нужно только стесняться приличиями. Например, не принято есть руками, но если нет вилок — не нужно оставаться голодным, боясь нарушить приличия. Например, ты встречаешь в обществе глупца, который лжет что-нибудь, обличить его считается неприличным, а ты обличи...

Я был в том возрасте, когда составляются самые великолепные планы будущего и когда человек особенно склонен обращать других в свою веру, поэтому я с особенным удовольствием занялся просвещением сестры и немедленно сказал ей речь страниц в восемь убористой печати, где выложил все свои либеральные сокровища, положительно доказав, что у нас многое и многое, а в особенности приличия, так устарело, что никуда не годится. Сестра с удивлением слушала меня, и, кажется, довольно внимательно.

— Если мне, например, жарко,— спросила она,— значит, я могу ходить без платья, в одной рубашке?

— Конечно, можно,— с уверенностью ответил я.

Лиза засмеялась, но, вероятно, мои доводы произвели на нее свое впечатление, так как после этого она весь вечер шаталась по саду, напевала под нос какую-то песню и что-то обдумывала. Не знаю, до чего она додумалась, только перед чаем Лиза спросила меня,

как выглядит из себя Оверин,— блондин он или брюнет?

Недели через две, когда я только что встал с постели и оделся, в мою комнату неожиданно вошел брат. Он был все еще в военной форме, но погоны были уже оборваны, да и весь свой ненавистный мундир он, кажется, нарочно засалил и порвал во многих местах. В ногах у него терлась какая-то легавая собачонка, смотревшая так же пугливо, как и ее хозяин, теперь очень походивший на отрепанного и грязного блудного сына, возвратившегося в родительский дом после печальных завтраков из одного корыта со свиньями.

— Я прямо к тебе прошел,— сказал он тем осторожным и торопливым голосом, каким переговариваются два вора, влезая в окно.— Что папаша?

— Ничего,— с изумлением отвечал я.

— Ты никому не говори, что я приехал... Папаша очень сердится?

— Конечно, сердится; еще бы, ты писал такие глупости,— постращал я брата, желая ему отплатить за то, что он таился от меня со своими письмами.

— Что же он говорил?

Брат очень часто обманывал и мистифицировал других, и еще недавно мы с Малининым, как дураки, прогулялись, по его милости, в Жидовскую слободку смотреть слона, которого даже и не думали привозить в наш город; мне в это время пришла в голову жестокая мысль отмстить ему сразу и за слона и за все его прежние пакости.

— Он ждет все тебя, говорил что-то Ефиму: кажется, тебя хотят высечь на конюшне,— сказал я.

— А, черт их возьми! пусть же дожидаются! — вдруг крикнул на меня Андрей, точно я его дожидался, чтобы отодрать на конюшне.

Прокричавши это, он схватил шапку, повернулся к дверям и вместе с собакой побежал вниз по лестнице. Я не на шутку испугался и был очень рад, когда мои покаянные крики остановили наконец Андрея. Но он возвратился ко мне в комнату с видимой недоверчивостью, может быть думая, что я устроил ловушку и хочу предать его Ефиму, злорадно дожидающемуся на конюшне возвращения своего прежнего друга.

— Ладно. Пусть! — сказал Андрей, бросая об пол

свою фуражку с отчаянной решимостью человека, восклицающего: «Будь, что будет — живой не сдамся!»

Я кой-как уговорил Андрея; мы заперли в комнате собаку и отправились вместе к отцу.

Брат, впрочем, видимо, не доверял мне. Войдя в кабинет, он остановился из предосторожности в дверях и ждал, как его примет отец, очевидно намереваясь задать стрекача при первом намеке на конюшню.

— Ну что, сочинитель, не раздробил себе черепа? — сказал отец.

Это, кажется, успокоило опасения Андрея насчет конюшни со всеми ее ужасными последствиями.

— Вы не сердитесь, папаша, миленький! — вскричал он и бросился целовать отцу руки и лицо.

Вообще Андрей никогда не сдерживал своих порывов, и, между тем как меня всегда останавливала мысль, понравится ли другому бурное излияние моих чувств, брат, если ему это хотелось, кидался на шею, не справляясь о последствиях. Отец ласково отстранил его рукой и погладил по голове.

— Что же, будешь готовиться в университет? То-то, я думаю, книг-то, книг-то навез с собой!

— Я не привез,— смущенно сказал брат.— Ведь у Николи есть книги.

— Не привез?! — с удивлением воскликнул отец, точно до этого Андрей всегда привозил с собой целые фуры книг.— Куда же ты истратил пятьдесят рублей.

— Я купил понтера,— тихо проговорил Андрей.

— Что?

— Я купил понтера — собаку.

— Это хорошо, я сам слыхал, что с собаками гораздо лучше готовиться в университет, чем с книгами. Где же твой понтер? Ох!

Туловище отца тряхнулось от смеха, точно корона дерева, дрожащая на ветру всеми своими листьями; глаза его наполнились слезами; несколько секунд он сидел с разинутым ртом, захлебнувшись смехом и не будучи в состоянии издать ни одного звука.

— Покажи его...— наконец с усилием проговорил отец.

Андрей нехотя отправился за пойнтером и не совсем нежно втолкнул свою, ни в чем не повинную, покупку в

кабинет. За ним вошли тетка и сестра, с удивлением смотревшие на отрепанную курточку Андрея и на его собаку, которая боязливо поджала хвост и имела большое желание спрятаться куда-нибудь под стол. Отец осмотрел собаку и объявил, что Андрея надули, так как этот пойнтер вовсе не годится для охоты, но что, впрочем, он может быть годен для приготовления в университет.

Несчастный пойнтер все лето не давал брату покоя, и он в конце концов изо всех сил возненавидел это бедное животное. Но, несмотря на это, Андрей не оставлял свою собаку без дела и каждый день таскал ее вместе с Барбоской и Савушкой на охоту. Сначала оба охотника довольствовались одним ружьем, но потом Андрей, вероятно, нашел, что они таким образом сжигают слишком мало пороха и пугают очень недостаточное число воробьев, а потому убедил меня выпросить у отца другое ружье. После этого брат стал исчезать на целые дни, и только громкая и частая пальба около усадьбы давала чувствовать его присутствие. Со мной он почти не говорил и еще меньше объяснялся с сестрой и теткой, которых всеми силами старался избегать, а потому мы ничего не могли ответить отцу на его вопросы касательно намерений Андрея о поступлении в университет.

Мне самому очень хотелось поговорить с Андреем, и, так как для этого всего удобнее было отыскать его где-нибудь в лесу, я отправился на поиски. К моей неудаче, Андрей почему-то в это время перестал стрелять, и я пробродил довольно долго, покуда наткнулся на стог, под которым он сидел вместе с каким-то парнем, жевавшим что-то, подставив руку под подбородок, чтобы крошки не падали на землю.

— Вот зачамкай так у нас — и отпороли бы, — с уверенностью заканчивал Андрей какой-то спор, очевидно происходивший у него с мужиком.

— Конешно, мужиком быть вольнее. Кто говорит! — соглашался его собеседник.

— Если бы я был на твоем месте, я бы ничего не думал, — сказал Андрей, как будто он в самом деле волновался иссушающими думами и заботами.

— Ну, и у нас тоже бывает...

Мужик не договорил, так как в это время я вышел

из-за стога, и он вскочил на ноги, неловко поклонившись мне при этом.

— Ступай, любезный, своею дорогой. Мне с тобой, Андрюша, поговорить нужно, — сказал я, садясь около брата на сено.

— Зачем ты его прогнал? Что такое?

Я помолчал, не зная, с чего начать разговор. Андрей лежал, играя шомполом своего ружья.

— Что же ты, в самом деле хочешь поступить в университет? — наконец неловко сказал я.

— Нет, я шучу!

— Пора бы тебе уж готовиться...

— Убирайся ты, пожалуйста, к черту со своими советами.

— Ты не поступишь в университет, — решительно сказал я.

— Тем лучше.

Андрей встал и ушел, оставив меня в самом обидном положении человека, укушенного собакой, которую он хотел погладить и приласкать. Я полежал, полежал на сене и с досадой пошел домой. Нечего и говорить, что это обстоятельство еще больше разъединило нас с Андреем. Я придумал до тысячи блестящих острот, которыми надоедал брату в течение всего лета, и мы немного примирились с ним только перед моим отъездом в город, когда он начал давать мне разные поручения к Новицкому, Бенедиктову и Оверину. Между письмами и стихами для Оверина Андрей отправлял в город и своего пресловутого пойнтера. Эту редкость он предназначал сначала для Бенедиктова, а так как я весьма основательно заметил, что Бенедиктову самому есть нечего, а потому пойнтер у него, по всей вероятности, скоро издохнет, Андрей переменил свое намерение и велел отдать свою собаку Ольге, которая живет у Шрамов.

— Разве она там? — спросил я.

— Да. Я в нее влюблен, — известил меня на всякий случай брат. — Только к этим Шрамам теперь совсем не стоит ходить: к ним столько набирается всяких проклятых баб, студентов и офицеров, что просто проходу нет.

— Она уж, я думаю, большая, взрослая? — спросил я, вспоминая рыжую девочку, грызшую себе ногти.

— Кто? — засыпая, спросил брат.

Разговор наш происходил вечером, когда мы уж улеглись в постели.

— Да, большая. Настоящая Психея. Что бы ей такое написать с тобой?

— Я не повезу письма.

— Но ведь ты повезешь же пойнтера?

— И пойнтера — уж не знаю...

Брат, впрочем, настоял на том, чтоб я утром забрал письма, которые он приготовит и оставит на столике, а также увез с собой и его пойнтера, которого у него просила уже Ольга и который ему уж давно сделался бельмом на глазу.

Утром он, уходя, запер собаку в комнате, и она разбудила меня своим визгом. Я встал и начал собираться в дорогу. Утро было какое-то серенькое; облака заволакивали солнце, и было довольно холодно. Я очень лениво укладывался, не призывая никого помочь мне, чтобы не ускорить час отъезда. В комнату неожиданно вошла сестра.

— Что нужно? — грубо спросил я, недоволвный, что она помешала мне быть одному.

— Андрюша уж ушел? — спросила Лиза, оглядывая все углы, как будто надеясь найти Андрюшу под столом или в рукомойнике. Этот тщательный обзор, конечно, должен был убедить ее, что брата нет в комнате; но она не уходила, очевидно придя не за тем, чтоб повидаться с Андреем.

— Николя, — сказала она наконец, лаская собаку, чтобы не смотреть на меня. — У тебя цела Андрюшина статья?

— Цела... А что?

— Оставь мне ее...

— Зачем тебе?

— Так, — тихо отвечала она, совсем наклонившись над собакой.

Лиза была очень смущена; мне стало жаль ее. Я понял, что бедная девочка, встречавшаяся с посторонними мужчинами только в романах, создала себе в Оверине героя, которого рвалась всеми силами любить, и ей хотелось иметь у себя какую-нибудь вещь, прикосновенную неизвестному предмету ее страсти.

Я вынул тетрадь «Наблюдения» и отдал ей.

Лиза, сделав небрежный вид, начала перелистывать статью Оверина.

— Как зовут этого Оверина? — нерешительно спросила она.

— Сергей Степаныч.

— Странное имя, — пробормотала сестра, но покушение еще раз улыбнуться совсем погубило ее: она окончательно смешалась, покраснела и, не видя никакого спасения, бросилась с тетрадкой бежать вниз по лестнице.

Когда вещи мои, без всяких дальнейших приключений, были уложены, пришел Савелий и доложил, что готовы лошади. Я попросил его устроить пойнтера как-нибудь в тарантасе, но, впрочем так, чтобы он не убежал; отправился проститься с отцом и чрез несколько минут ехал уже в город, соображая, что женская хитрость чрезвычайна. Мне казалось, что сестра не без тонкого политического расчета откладывала спросить у меня статью Оверина до последних минут перед отъездом, когда я уже не мог, если б и хотел, выдать кому-нибудь ее тайну и выставить ее на смех.

Так как в пансионе было не совсем удобно долго держать собаку, я отправился к Шрамам в первый же праздник и представил Андреева пойнтера Ольге. Ей было лет семнадцать, но она едва ли могла сокрушить своими прелестями еще чье-нибудь сердце, кроме Андреева. Сухая и неуклюжая, как щепка, с пестрым лицом и рыжими волосами, она еще, к довершению всего, согласно тогдашней моде, не носила юбок и стригла волосы в кружок, что делало ее очень похожей на фигуру одного из тех турок, на которых прежде, во время масленицы и пасхи, пробовали силу, ударяя кулаком по голове. Судя по всему, Андрей был очень невзыскателен относительно женской красоты.

— Вот вам собачка, — улыбаясь, сказал я, выдвигая вперед глупого пойнтера, который очень смутился в богатой зале, поджал хвост и лез назад в дверь.

— Зачем он ее возил с собой? — небрежно сказала Ольга, высоко щелкнув пальцами, чтобы подманить к себе собаку, продолжавшую свою ретираду в переднюю.

— Он с ней охотился, — сказал я.

— Что, он думает поступить в университет?

— Да, кажется.

— А вы?

— Я тоже.

— Значит, мы все будем вместе. Если курите, пожалуйста, не стесняйтесь,— проворно проговорила Ольга и убежала от меня, вслед за собакой. В это время она так сильно походила на ободранную кошку и так мало имела сходства с Психеей, что я невольно улыбнулся, припомнив слова брата.

К вечеру собралось довольно много молодых людей — студентов и офицеров, явившихся, за неимением собственных дел, потолковать о делах государственных, и, так как я в то время еще очень мало интересовался судьбами России, мне сделалось немного дико в этом просвещенном и говорливом обществе.

Господи, какое тут было смешение языков! Каждый, по-видимому, употреблял все усилия, чтобы как можно меньше слушать и как можно больше говорить. В одном углу волосатый, жиденький господин умилялся над драгоценными свойствами русского мужичка, находя, что этот мужичок необыкновенно сметлив, добр, великодушен, терпелив, мужествен и вообще так хорош, что господу богу остается только радоваться, создавши такого превосходного мужичка. Молодой человек с грубыми, резкими манерами, сидевший против него, вполне соглашался с ним, но предполагал, что нам не следует увлекаться гением русского народа, а нужно везде кричать, пародируя фразу Дантона:[1] «образованности, образованности, еще и еще образованности». В другом месте какой-то студент доказывал, что чтение романов развращает и что все романы Диккенса не стоят маленького исследования о маленьком животном из породы раков, живущем на его носу. Тут говорилось, что немцы — наши учителя; там слышалось, что немцев следует как можно скорее гнать из России. Один был убежден, что Россия — земледельческая страна; другой доказывал, что она «девственная», а отнюдь не земледельческая; третий находил, что она не земледельческая и не девственная, а переходная. Кто-то считал Тургенева величайшим писателем, и кто-то кричал, что Тургенев отстал от века

---

[1] Дантон Жорж-Жак (1759—1794) — видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века. Николай вспоминает его фразу: «Чтобы победить врага, нужна смелость, смелость и еще раз смелость».

и современных требований... И над всем этим хаосом царствовала Катерина Григорьевна.

Прислушиваясь к стрекотанью неопытных молодых людей, к хлесткому бряканью солидных мужчин и к веским, золотым речам авторитетов, я мог схватить только отдельные русские и французские фразы, и в голове моей ходил какой-то хаос. Я не понимал решительно ничего и хотел уже было удалиться в угол, соображая, что я лишний — с посконным рылом в калашном ряду, как ко мне подскочил какой-то молодой человек в очках и остановил меня.

— Вы, вероятно, поступите к нам в университет? — спросил он так быстро, как будто я сидел в вагоне двигавшегося поезда, а он стоял на платформе. Самое живое любопытство выражалось на его дряблом, бесхарактерном лице, украшенном жиденькой бороденкой, в которой он царапался своими длинными модными ногтями.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — так же быстро спросил он, утешившись, что я имею благое намерение поступить в университет.

— Негорев.

— Стульцев, — с живостью поклонился мне молодой человек, поправив левой рукой свои очки.

После этого он без церемонии взял меня под руку и поставил в печальную необходимость прогуляться таким образом по зале.

— Скажите, пожалуйста, кто этот толстый подле Катерины Григорьевны? — спросил я его в то время, как он готовился что-то заговорить.

— А! — невнимательно сказал Стульцев, видимо недовольный тем, что я интересуюсь толстяком. Он поправил свои очки, craналег слегка на мою руку и конфиденциально сообщил: «Это ужасная свинья, я хочу написать на него повесть».

— Вы пишете? — почтительно спросил я.

— Да-а, — с притворным равнодушием отвечал Стульцев.

— Вы не подписываете своей фамилии?

— Нет, я никогда не подписываю, — сказал Стульцев тем тоном, каким говорит гвардейский офицер: «Нет, я никогда не беру жалованья: отдаю его писарям на водку». — Вы на какой факультет думаете поступить?

— Не знаю, думаю на юридический.

— Берет раздумье? Меня тоже брало, знаете, раздумье, когда я поступал: на какой факультет поступить? Наконец я посоветовался с N., — говорил Стульцев, называя фамилию одного известного писателя.

— Он вам знаком? — спросил я об N.

— Да. Очень милый человек...

— Врет, врет все, вы не слушайте! — смеясь сказал вдруг какой-то студент, подходя к нам.

— Ну! ну! что ты! — сказал Стульцев, стараясь придать своим словам тон легкого удивления, но ничего не вышло: студент громко захохотал. Стульцев задергал очками и уничтожился, однако ж все еще повторял: «Ну, ну! ну! что ты!» — как будто он относил эти слова к брыкавшейся лошади, которую ласково трепал рукой по шее.

— Стыдно, Аркадий Алексеич, стыдно новичков ловить! — смеясь говорил студент.

— Ну, ну! перестань! — уговаривал Стульцев, глядя от нас в другую сторону.

— Ведь этакая торба вранья! Что он вам врал такое?

— Ничего,— отвечал я, отпуская Стульцеву все его грехи относительно меня.

В это время Ольга с другого конца зала позвала зачем-то студента, и он отошел от нас.

— Ведь вот тоже барин! — брюзгливо заговорил Стульцев, и как-то чувствовалось, что все его убогое существо переполнено мелкой бессильной злобой. Он походил на разъяренную овцу, злобно бьющую ногами землю вслед волку, уносящему ее ягненка.

— Вот тоже барин — либерал, — все они либералы! а обольстил девушку, сманил ее от родителей... Ну! и бросил теперь бедную, а она беременна.

Чтоб успокоить как-нибудь его овечью ярость, я поспешил переменить разговор. Правду сказать, мне уж изрядно надоело беседовать с ним, но уйти не было никакой возможности, так как Стульцев прилип к моей руке и выражал самые твердые намерения вступить со мной в продолжительный разговор.

— Вы на каком факультете? — спросил я.

— На естественном; впрочем, я теперь редко бываю в университете: занят посторонней работой. Вы знаете, я описываю флору здешней губернии. Очень интересная работа!

Стульцев начал мне тотчас же сообщать интересные подробности своих интересных занятий, вскользь упомянув, что он — член географического общества и принимает деятельное участие в географическом журнале.

Я убежден, что немного есть положений хуже того, в которое я попал, слушая назойливого враля, злоупотребляющего чужой деликатностью и заставляющего слушателя тоже лгать и прикидываться, что он верит всем его бессовестным лжам. Мне было досадно и обидно, что какой-то пошляк, уверенный в своем превосходстве над другими, так нагло и наивно дурачит меня своими ненавистными, хвастливыми россказнями про то, что он еще в детстве убил волка, что Паскевич[1] был его дядей, что ему по наследству достался аэролит, величиною в кулак, который весит триста пудов, и проч. и проч.

Стульцев, слегка придерживая меня под руку, как будто для того, чтобы я не убежал, не переставал говорить и подергивать свои очки с самым деловым и самоуверенным видом.

Я старался сбить его вопросами, но ничего не помогало. На вопрос, какой он уроженец, Стульцев отвечал, что мать его была испанка, а отец сибиряк и что, благодаря этой счастливой помеси, он получил необыкновенно здоровую комплекцию, позволяющую ему до сих пор, несмотря на разрушительное влияние сидячей жизни, поднимать десять пудов одной рукой. Я спросил, постоянный ли он житель Р. или только приезжий. Стульцев отвечал, что он здесь живет довольно давно, но, имея большую склонность к путешествиям, намерен отправиться к Северному полюсу и уже вступил об этом предмете в переписку со многими немецкими учеными. Словом, сколько я ни пытался остановить поток надоедливого вранья,—родник стульцевской лжи оказывался решительно неиссякаемым. Под конец он мимоходом объявил мне, что состоит членом центрального европейского революционного комитета, и, к величайшему моему удовольствию, освободил мою руку, так как в это время ему принесли чай, который он имел неосторожность потребовать.

---

[1] Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 года.

— Куда же вы? — вскричал Стульцев, видя, что жертва уходит. — Я сейчас.

Но я, пообещав скоро воротиться, поспешил отретироваться с твердым намерением никогда не исполнять своего обещания. Опасаясь могущего быть преследования с его стороны, я направился к дверям на террасу; но там шел такой шум и говор, что я невольно остановился в нерешимости, идти ли туда. В то время как я в раздумье стоял таким образом между огнем и полымем, мы неожиданно столкнулись с Анниькой, которую я узнал потому только, что слышал раньше о ее возвращении из института. Маленькая девушка-снегурушка очень выросла и, на мои глаза, очень похорошела. Ее белые, кудельные волосы были заплетены в две косы и придавали ее круглому лицу с большими открытыми глазами откровенный и простодушный деревенский вид, хотя ее слабосильные манеры, дышавшие особенной женственной мягкостью и нерешительностью, вовсе не напоминали живых и упругих движений рабочих деревенских женщин. Ко всему этому она имела привычку краснеть при каждом слове и так смущаться, что являлось серьезное опасение: вот-вот розовая Аннинька провалится сквозь землю.

— Здравствуйте, Аннинька, — остановил я ее за руку. — Давно вы приехали?

Она не узнала меня, покраснела до кончика ушей и дико смотрела на мое лицо своими большими глазами.

— Где вы были целый день, что я вас не видал?

— Я гостила, — едва слышно ответила она.

— Вы, верно, меня не узнаете. Помните, вы у нас бывали в Негоревке?

— Вы были маленьким мальчиком. А где ваш брат?

Аннинька, очевидно, не знала, что ей говорить. Волнение ее было чрезвычайно, и она спросила о брате едва слышным шепотом.

— Брат был в корпусе, а теперь он вышел оттуда, хочет поступить в университет. Он живет теперь в деревне. Как вам нравится здесь после Петербурга?

Но Аннинька, вместо того чтобы ответить мне, проскользнула в дверь на террасу, торопливо протолкалась до лесенки и убежала в сад, оставив меня на жертву Стульцеву. Он уже подходил...

Я бросился к своей фуражке и, не прощаясь ни с кем, убежал от Шрамов почти с той же поспешностью, с какой мы бежали некогда с Андреем после нелепого грома у дверей кабинета Катерины Григорьевны. Теперь я отправился в Жидовскую слободку, чтобы доставить братнины письма по адресу.

В маленькой каморке я застал одного Бенедиктова. Он лежал на койке, которая сделалась ему уже давно коротка, читал какие-то записки и, упираясь ногами в потолок, старался перевернуться. Бенедиктов любил смешивать полезное с приятным.

— Наш Семен Новицкий теперь барином сделался,— известил он меня с своей обыкновенной широкой улыбкой.

— Как так?

— Добыл уроки и переехал отсюда. Теперь я здесь один остался. «Я — царь, я — раб, я — червь, я— бог», — пояснил Бенедиктов и захохотал. — А где Андрюшка?

— Он в деревне. Вот вам письмо. Где же теперь живет Новицкий?

Уже было довольно поздно, и, взяв адрес Новицкого, я раздумал — заходить ли к нему сегодня, так как нужно было торопиться в пансион. Но, простившись с Бенедиктовым и идя к гимназии, я проходил почти мимо квартиры Семена.

Судьба, кажется, в этот день назначила испытать мое терпение в разных назойливых беседах, и я зашел к Новицкому на минутку.

Он нанимал довольно большую, но сырую, холодную и почти пустую комнату. Я застал Семена в очень странной агитации[1]. Он, сняв сюртук, в одном жилете ходил по комнате, с живостью размахивал руками и о чем-то, кажется, говорил сам с собой. Судя по всему, его обстоятельства очень изменились к лучшему, и на нем была полотняная, а не ситцевая рубашка, когда-то возбудившая у Андрея столь чувствительные намерения купить Семену новое белье. Но на меня произвело очень неприятное впечатление то, что от Новицкого пахло водкой и, кажется, он был немного пьян.

---

[1] Агитация, или ажитация — волнение, возбуждение (от франц. *agitation*).

— Вот хорошо, что вы приехали; я давно вас ждал, — сказал он мне. — У вас, в гимназии, основана, кажется, маленькая библиотека? Нельзя ли нашим семинаристам присоединиться?

— Отчего же? Я думаю, можно.

— Оно, конечно... как бы это сказать? — конный пешему не товарищ... А все-таки, знаете...

— Почему же? — сказал я.

— Как же можно сравнить, например, вас и меня?

Очевидно, Новицкий придирался к какому-то разговору.

— Вы немного выше меня ростом, — улыбаясь, сказал я.

— Нет, не то. Вы в пеленках узнали то, что, может быть, я и теперь не знаю. Вам говорили: не хватайся за огонь — он жжет, а мы узнали, что он жжет, уж тогда, когда все руки себе пережгли. Доходи тут до всего своим умом! Хочешь шагнуть в эту сторону, смотришь — тебя за это били, шагаешь в другую сторону — тебя за это бьют...

Попав на эту дорогу, Новицкий, разгоряченный вином, мог так шагнуть в откровенном разговоре, что ему пришлось бы потом долго стыдиться за свою слабость, и я, очень недовольный, что он выбрал меня мишенью своих откровений, поспешил прервать его вопросом, как он устроился.

— Устроился! Что устроился! Устроился из кулька в рогожку! где нам! Я вам серьезно говорю. Эта негодная бедность изломала меня, да и многих нас. У бедняков отнимают не один кусок хлеба, а и честь, и нравственность, и совесть — все божьи дары... Вот, например, вы имели средства еще в детстве узнать, что воровать дурно, а я... Помните, как я украл ножик?

— Когда это? — спросил я, вполне понимая, что о таких вещах лучше говорить забывчиво.

— Как будто вы не помните! Знаете ли, вы произвели во мне переворот. Душа — ненужная роскошь для нищего. У нас и не признавали души, да у меня и не было ее, кажется. Нас били, драли, ругали, но всего этого я не боялся. Встретив вас, я начал бояться заслужить презрение. Да. Вы открыли во мне нравственную сторону...

— Извините, мне некогда, — сказал я, даже немного оскорбленный этим пьяным разговором.

— Нет, видите ли, вы имели громадное влияние на мое развитие...

— До свиданья, — решительно проговорил я.

Новицкий сказал мне на дорогу еще несколько глупостей и проводил, объявив, что завтра, рано утром, он зайдет в гимназию поговорить со мной еще об этом же предмете.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Я ДЕЛАЮСЬ ВПОЛНЕ ВЗРОСЛЫМ

Через несколько месяцев по приезде с вакации я получил письмо за черной печатью, писанное рукой брата и начинавшееся, как начинаются обыкновенно все письма этого рода: «С душевным прискорбием я поставлен в необходимость известить тебя об общем нашем горе» и проч. Отец скончался.

Спустя неделю после этого письма я получил другое письмо, писанное рукой сестры, под диктовку тетушки, которая тоже с душевным прискорбием извещала меня, что брат до того увлекся охотой, что грозит окончательно сделаться лесным бродягой и никогда не поступить в университет. На ее желание переехать в город, так как «жалко было бы губить в деревне жизнь молодой девушки», брат отвечал самым решительным протестом, вероятно принимая в соображение, что на городских улицах воспрещено стрелять из ружей полицейскими правилами. В конце — тетушка спрашивала мое мнение, переезжать им или не переезжать в город, выражая решительно намерение не обращать больше внимания ни на какие братнины протесты в случае моего согласия на их переезд.

Читая это письмо, я испытал то поразительно приятное чувство, которое, вероятно, испытывает новопожа-

лованный генерал, слыша в первый раз титул превосходительства. Тетушка за мной признавала право решительного голоса в семейных делах, и я чувствовал, что теперь в моих руках радостные думы сестры о городской жизни и упрямое желание тетушки восторжествовать над Андреем. В моей власти было обрадовать их или опечалить. К брату я был совершенно равнодушен; к сестре же я чувствовал если не привязанность, то некоторого рода жалость, и мне нечего было колебаться. Я в тот же вечер послал письмо, в котором изъявлял решительное мое желание видеть тетушку и сестру в городе, прибавляя, что брат может поступать как ему угодно, может даже переселиться совсем в лес и вести там жизнь царя Навуходоносора[1]. Вместе с этим письмом я отправил брату длинное послание, которое написал сгоряча, совершенно упустив из виду, что я все-таки еще не глава семейства, хотя тетушка и обращается ко мне за советами. Я упрекал Андрея в праздности и лености, обличал в жестокости относительно тетки и сестры и заклинал оставить праздность — мать всех пороков, рисуя мрачную картину его будущего раскаяния, когда он не поступит в университет и останется навсегда не кончившим курс кадетом, умеющим только есть, пить и стрелять из ружья.

Но я упустил из виду то, с кем имею дело. Через неделю брат прислал мне ответ. «Возлюбленный отец и наставник! — писал он, — я провожу время в праздности, а вы занимаетесь науками, и, вероятно, от усиленных занятий, у вас совершенно помрачилось то очень маленькое зернышко здравого смысла, которое мы едва заметили», и проч. и проч.

Письмо мое, однако ж, сделало свое дело: брат, несмотря на свой ругательский ответ, решился приехать в город. После этого началась длинная переписка о том, способен ли Савушка остаться в деревне за управляющего, о том, сколько будет стоить переделка нашего дома в городе, и проч. и проч. По поводу последнего обстоятельства мне пришлось отправиться к нашему попечителю Бурову, и я с удивлением узнал, что это именно

---

[1] По преданию, вавилонский царь Навуходоносор II (605—562 до н. э.) за тщеславие и высокомерие был наказан богом: вообразив себя волом, удалился от людей и стал питаться травой.

тот толстый либерал, которого я встречал в салоне Катерины Григорьевны и которого Стульцев похвастал выставить целиком в какой-нибудь своей повести. Он жил со своим громадным семейством в большом каменном доме, и я, под конвоем лакея, едва добрался до его кабинета, проходя через длинный ряд комнат, где я встречал то играющих девочек, то даму, читающую книгу, то молодого человека за фортепиано. «Ну, уж следующая комната, должно быть, кабинет», — думал я; но в следующей комнате сидела девушка и вышивала что-то в пяльцах, и мы проходили ее так же, как другие.

— Садитесь, пожалуйста, — с кротким деловым выражением сказал Буров, когда я отрекомендовался ему и объяснил, в чем дело. Он имел странную привычку махать рукой по своим гладко обстриженным волосам, как будто они всегда были в поту и ему было всегда жарко. Рыхлое белое лицо его имело какое-то жалостное, плачущее выражение; белые, мягкие, точно ватные, руки постоянно тряслись, как будто над каким сокровищем, и, видя его в просторном кабинете, перед большим столом, заваленным книгами и бумагами, я почему-то вспомнил Плюшкина, хотя изящно одетый, полный и во всех отношениях приличный Буров нисколько не походил по своей наружности на Плюшкина.

— Я получил вчера письмо от вашей тетушки, — каким-то тихим, жалостным голосом сказал Буров, тщательно вычистив перо и втыкая его в дробь. Тут же он осторожно сдунул маленькую пылинку с белого листа и, взяв в свои дрожащие руки костяной ножик, медленно заговорил: — Я завтра поговорю с архитектором и попрошу его осмотреть ваш дом. Все необходимые переделки будут зависеть, конечно, от вас, а потому вы потрудитесь осмотреть дом вместе с ним. С ним вы поговорите и сделайте ему свои указания. Вы как думаете, здесь остаться по окончании курса?

— Да, я буду в университете.

— А после?

— Я думаю здесь.

— В таком случае нечего жалеть на перестройку. Впрочем, все это будет зависеть от вас. Вы зайдете уж сами к архитектору.

Я встал. Буров тоже вскочил на ноги и махнул ла-

донью раза два над своими стрижеными волосами, как будто сгоняя муху. Он подал мне свою мягкую, ватную руку, и мы распростились.

Это было мое новое торжество; я был рад, но изо всех сил наблюдал за собой, чтобы не иметь глупо-торжественного вида именинника или вновь пожалованного генерала. Мысль, что я официально признан взрослым, что теперь кое-что будет *зависеть от меня*, ласкала и щекотала мою гордость, и мне даже как-то неловко было видеть себя в курточке и верить, что я все еще нахожусь в пансионе. Все старания мои были направлены к тому, чтоб не выдать своих мыслей, не высказать радости, гордости или вообще какой бы то ни было перемены характера. В последнее время я как-то привык всюду ходить с Малининым и не хотел на этот раз нарушить своей привычки, чтобы не подумали, что перемена моего положения произвела на меня какое-нибудь впечатление. Впрочем, я с торжеством выдержал свою роль и, проходя вместе с архитектором по запыленным комнатам пустого дома, довольно легко делал равнодушный вид человека, привыкшего вести серьезные разговоры о переделке дома.

— Однако ж тут хорошо будет устроено, — сказал Малинин, когда мы, простившись с архитектором, возвращались назад в гимназию.— Неужели ты не рад, что тебе достался такой дом? Ведь хороший дом!

— Не особенно, — с важностью вполне понимающего человека сказал я.

По окончании работ мы с Малининым обошли по только что просохшей краске полов все пустые комнаты и нашли, что все сделано вполне удовлетворительно. Через день я переехал из пансиона в новый дом; Малинин с грустью проводил меня.

— К тебе можно будет когда-нибудь прийти? — спросил он, прощаясь, чтоб воротиться в пансион.

— Что за дикий вопрос! Конечно — можно.

— Нет, может быть, неловко, когда приедут...

Я поспешил успокоить Малинина, что приедут не звери, а люди, и потому большой неловкости в его посещениях быть не может.

В начале мая явился Андрей с прислугой, в лице мальчишки Сеньки, и поселился в доме, развлекаясь на первое время продолжительными совещаниями с порт-

ными и сапожниками. Со мной он был очень ласков и нежно благодарил, что я устроил его комнату с выходом в сад, так, как он желал. Всегда неумеренный в своих чувствах, он предлагал мне даже, в знак благодарности, поменяться комнатами, так как моя была несколько меньше и значительно скромнее его. На другой день по приезде он собрал всех своих друзей: Бенедиктова, Оверина и Новицкого — и повел их осматривать дом.

— Молодец! молодец!—широко улыбаясь, говорил Бенедиктов, как будто брат сам своими руками так хорошо наклеил обои, выкрасил полы и выштукатурил потолки.

Оверин нашел, что все сделано хорошо, но в зале следовало бы поставить гиеронов фонтан для освежения воздуха, тем более что такой фонтан стоит очень недорого; кроме этого, он находил нужным заменить в комнате Андрея обыкновенную кровать висячей матросской койкой, на которой очень здорово спать и притом очень приятно качаться.

По окончании осмотра Андрей отправил Сеньку за вином, и мы, как следует благовоспитанным людям, роспили полбутылки шампанского за прочность и благополучие вновь устроенного дома.

Вскоре приехала и тетушка с сестрой и целым обозом всякого хозяйства. Тетка осталась очень довольна переделками в доме, а восторг сестры мог разве сравниться только с восторгом ее горничной Натальи. Обе они в почтительном молчании обошли раза два все комнаты, осторожно притрагиваясь по пути к обоям, пробуя дверные ручки и посматривая в зеркала. Оставшись довольны обоями, ручками и зеркалами, они ушли в Лизину спальню и стрекотали там до вечера самым восторженным образом.

На другой день тетка с сестрой отправились с визитом к близким родственникам, и за обедом мы узнали, что тетушке очень не понравилась Катерина Григорьевна, а сестра почему-то с первого взгляда возненавидела Володю и уверилась, что Ольга сделалась гордянкой и возмечтала о себе невесть что такое. Тетушка остроумно уверяла, что Катерина Григорьевна, на старости лет, штукатурится, точно кукла из парикмахерской. Сестра, с своей стороны, находила, что Володя модничает еще больше матери и для этой цели носит длинные волосы,

которые, к стыду своему, вероятно, каждое утро завивает железными щипцами. Володя действительно в последнее время начал носить пиджаки какого-то дикого серого цвета, модные широкие брюки и длинные волосы; ко всему этому он иногда прибавлял синие очки и мягкую пуховую шляпу, прозванную в гимназии *анафемской* — до того она была либеральна.

Тетушка, всегда уверявшая, что она была принята в высшем московском обществе, не поцеремонилась, однако ж, так холодно принять у себя Катерину Григорьевну, что та надолго перестала нас беспокоить своими визитами. Володя, всегда оказывавший некоторую брюзгливость к нашему сообществу, на первый раз посетил нас довольно благосклонно, и я, может быть, сошелся бы с ним в это свидание значительно ближе, если б не мешали Андрей и Лиза, которые вообще смотрели на него очень недружелюбно.

Наша жизнь в новом доме потекла совершенно наподобие жизни в деревне, с той только разницей, что не было такой скуки. Андрей, просиживая до полуночи, перестал вставать с зарей, что, впрочем, не мешало ему подолгу не давать мне спать вечером, когда он обыкновенно являлся в мою комнату и, сидя на моей постели, рассказывал на сон грядущий свои дневные похождения. Обедали мы в те же часы, в те же часы пили чай, и после чая тетушка так же читала краткие наставления о том, как следует себя вести молодой девушке, не желающей, чтобы ее будущий муж застрелился или бежал из отечества за границу. Лиза в это время сделалась предметом всеобщих попечений, и на нее изливались со всех сторон самые противоположные наставления. Андрей сделался ультрарадикалом и проповедовал ей полную свободу и равноправность женщин; тетушка тянула ее в крайне консервативную сторону, а я воспитывал в ней умеренно-либеральные принципы тогдашнего «Русского вестника», который был в большой моде.

У нас ежедневно бывали Новицкий и Малинин; последний, в первый же визит по приезде Лизы, объявил мне, что он в нее влюблен.

— От сна и от еды отбило, — известил он меня через несколько времени.

Я шутя посоветовал ему принять слабительного,

и он пришел в такое негодование, которое было вовсе не свойственно его кроткой душе. Любовь делает чудеса.

— Ты не понимаешь чувств!.. Циник. Слабительное! — разазартился Малинин.

Вообще по всему было заметно, что его существование отравлено не на шутку. Приходя к нам, он по большей части молча садился в угол и, предаваясь тоскливым мечтам, сопел носом, как влюбленный купидон.

Новицкий тоже сделался у нас своим человеком. Тетушка решительно влюбилась в него и ничего не делала без его совета, выставляя Семена образцом почтительности, столь редкой в молодых людях. Она значительно постарела и не замечала, что под почтительностью Новицкого, с которой он ставил ей под ноги скамейку, заключалось много оскорбительной снисходительности к старухе. Чтобы каким-нибудь деликатным манером доставить Семену, в вознаграждение за почтительность, несколько лишних рублей месячного дохода, тетушка предложила ему давать уроки Лизе. Лиза, к великому неудовольствию Малинина, согласилась учиться, и уроки пошли довольно аккуратно.

Я не мог смотреть без смеха, как несчастный Малинин млел, тлел и облизывался, глядя на Лизу, сидящую рядом с Новицким, которого он возненавидел всеми силами своей души. Каждая ошибка Семена на уроке приводила бедняка в настоящий восторг, и он немедленно сообщал мне об ней, вероятно надеясь подорвать авторитет Новицкого в педагогическом деле.

Андрей тоже как-то подметил, что Малинин собирает пуговки и ленточки, которые случалось терять Лизе, и потом, удаляясь в сад, вздыхает над этими предметами, целуя пуговицы и съедая целиком ленточки. Вследствие этого брат уговорил Лизу терять как можно больше лент и пуговиц, вероятно, ожидая, что Малинин когда-нибудь объестся лентами или подавится пуговицей. Кроме всего этого, он убедил влюбленного поднести предмету своей страсти какое-нибудь стихотворение и рекомендовал, как самое лучшее и подходящее к случаю, «По синим волнам океана». Малинин хотя и ел ленточки, но все-таки был не так глуп, и поднес Лизе другое стихотворение: «В полдневный жар, в долине Дагестана» — с рисунком, как он лежал в этой долине и как у него «глубокая в груди чернела рана».

Вообще эта несчастная любовь доставляла нам много удовольствия, и порой мы хохотали, как сумасшедшие. К довершению нашей веселости, Андрей познакомился со Стульцевым и в короткое время узнал, что он имеет странную привычку сдергивать очки, когда его бьют, становиться к стене и кричать: «Ну, ну, полно, что за шутки! Очки разобьешь!» Над Стульцевым даже не брезговала смеяться тетушка, приходившая в крайнее изумление перед этим морем вранья. За столом, если у нас обедал Стульцев, обыкновенно происходил турнир, в котором принимали участие все без исключения, соперничествуя друг перед другом в изобретении самых нелепых лжей. Стоило Стульцеву рассказать, что он видел китайскую кошку величиною в кулак, чтобы брат тотчас же рассказал про мышей с горошину, которых ловит стульцевская кошка, а Новицкий сообщил устройство наперстка, которым ловят этих мышей, и проч. и проч.

— Отчего ты, Стульцев, всегда врешь? — убедительно говорил ему Малинин.

— Ну. Ну что? — отлынивал Стульцев, притворяясь, что он вовсе не слышит слов Малинина.

Утром, по обыкновению, брат провожал меня в гимназию и часто просиживал в библиотеке до окончания классов. Так как в седьмом классе повторялось все старое, знакомое, то мы часто не ходили на уроки, проводя время в библиотеке, где собиралось много народа из гимназистов и семинаристов и было очень весело. Оверину к этому времени почему-то не понравился русский шрифт. Дойдя до мысли, что печатный шрифт должен вполне соответствовать современному письменному шрифту, а не древнему полууставу, он после многочисленных математических выкладок изобрел новый русский шрифт и читал нам в библиотеке длинные лекции о красоте и преимуществах своих букв перед теми, которые употребляются теперь. Не довольствуясь этим, он забрал у своего попечителя за несколько месяцев вперед свое жалованье, заказал пунсоны[1] и предполагал не только отлить новые буквы, но даже напечатать ими свое сочинение о новом русском шрифте.

Грачев к этому времени окончил нелепейшую статью

---

[1] Пунсон — в полиграфии стальной штамп с рельефным изображением буквы или знака.

под названием «Ученость и религиозность» и наводил на всех ужас, предлагая прочесть хоть небольшие отрывки из своего произведения. Новицкий предлагал ему поставить эпиграфом к этому сочинению «Ничего в волнах не видно», а Андрей находил, что следует совсем переменить заглавие и назвать: «Утреннее размышление кота в сапогах». После серьезных опасений, чтобы рукопись не пропала как-нибудь на почте, Грачев наконец отправил свой труд в одну петербургскую редакцию и начал нетерпеливо рыться в журналах, не отпечатана ли его статья. Кто-то помог ему отыскать на последней страничке журнала следующий ответ: «В г. Р. г. Г — ву. Ваша религиозность не подвержена никакому сомнению; к сожалению, мы того же не можем сказать о вашей учености. Со статьей вам можно приютиться в «Домашней беседе»[1]. Над этим последним журналом, как известно, в то время тяготело такое проклятие, что одно прикосновение к нему могло навсегда погубить репутацию человека, и насмешкам над Грачевым не было конца. После этого все его значение утратилось, и он навсегда перестал уже свысока обличать других в бездельничестве, выставляя себя жрецом настоящего серьезного дела, мучеником ученой скуки и сухости.

После Грачева тон общественному мнению библиотеки начал задавать Шрам, который в своем серо-диком пиджаке, в широких штанах, с синими золотыми очками на носу, стоял на такой высоте либерализма, до которой никто из нас не мог достичь. Он делал свои замечания еще более свысока, чем Грачев, и его презрительных насмешек боялись все гораздо больше, чем прежних дубовых грачевских острот. Под угрозой этих насмешек мы ревностно наблюдали друг за другом, и я могу поручиться, что в то время мы были истинными, чистокровными либералами, более чем когда-нибудь в жизни. Володя был строг, пожалуй, еще больше, чем Грачев. Тот дозволял по крайней мере читать, что угодно, а теперь держать в руках повесть, которая почему-нибудь не нравилась главнокомандующему, было уже величайшим преступлением.

---

[1] «Домашняя беседа» — реакционная еженедельная газета, выходившая в Петербурге в 1858—1877 годах; печатала церковные проповеди и поучения, вела травлю прогрессивных журналистов.

Оверин в этом случае мог, по всей справедливости, гордиться своим сумасшествием. Он совсем не подпадал стеснениям, относившимся до других, и без всякого страха читал, говорил и делал все, что ему вздумается. Впрочем, слишком занятый, с одной стороны, математикой, а с другой — русским шрифтом, Оверин стал совсем мало читать и даже редко просматривал газеты. Он начертал себе следующую программу: прежде всего он изучит математику, потом примется за естественные науки, затем перейдет к социальным, изучит философию и сделается великим писателем. До тех же пор, покуда он не покончит с математикой, заниматься чем-нибудь другим было бы, по его мнению, глупым упражнением сапожника в печении пирогов. Этот план Оверин открыл Малинину, в котором находил всегда терпеливого и ласкового слушателя, согласного с каким угодно парадоксом. Впрочем, я этим не хочу сказать, что Оверин искал или желал иметь когда-нибудь слушателей; я уверен, что, чувствуя сильную потребность высказаться, он без всяких затруднений объяснил бы все, что нужно, первому дереву, попавшемуся в саду. Он и относился к своим слушателям так, как к деревьям, разговаривая, точно актер с суфлерской будкой. Малинин, выслушав оверинский план, вдруг вздумал заметить, по какой же причине Оверин, подобно презренному сапожнику, отрывается от математики и заботится о красотах русского шрифта.

Замечание попало не в бровь, а в глаз, и Оверин очень смутился.

— Отчего? — переспросил он. — Во-первых, я тут тоже занимаюсь математикой: это задача, а во-вторых... Видишь ли ты, математика для меня обед, а шрифт — пирожное.

Вероятно, в радостном порыве, что он так легко выпутался из затруднения, Оверин улыбнулся и слегка ударил ничего не понимающего Малинина по плечу.

— Послушай, Оверин, отчего ты такой пентюх? — сказал вдруг Малинин, — все ты с книгами, вон и руки у тебя всегда в мелу перепачканы. Ты этак скоро умрешь; человеку нужны развлечения. Ты прежде хоть купаться ходил, а теперь и купаться тебе лень ходить: как старуха, все сидишь над книгами.

— Да-а, — в размышлении сказал Оверин, отхо-

дя, однако ж, опять к своим книгам, к своему мелу и доске.

Но, сверх всякого чаяния, замечание Малинина не пропало даром. Оверин решил, что для него необходимы удовольствия. Но какие же удовольствия? Оверин, вероятно, довольно долго думал над этим вопросом, потому что выдумал наконец для себя очень занимательное удовольствие.

Раз в воскресенье мы с братом зашли мимоходом в гимназию узнать, не получены ли новые журналы, и, так как их не было, стали спускаться назад по лестнице. Нас догнал Оверин.

— Куда ты? — спросил Андрей.

— Тут, недалеко.

— Да куда же?

— Тут... не знаешь ли, где поближе кабак?

Оверин произнес свой вопрос с такой заботливой серьезностью, с какой возвратившийся на родину солдат спрашивает, не знают ли, куда девалась избушка его родных. Слова всякого другого были бы приняты, конечно, за шутку, но, услышав от Оверина, что он направляется в кабак, мы ни на минуту не усомнились, что цель его настоящего путешествия действительно ближайший питейный дом.

— В кабак! — вскричал Андрей.— Зачем же?

— Хочу напиться,— задумчиво отвечал Оверин таким тоном, каким говорят: «Хочу купить тысячу билетов первого займа с выигрышами».

— С горя? — спросил я.

— Нет, видите ли,— озабоченно начал Оверин,— видите ли, мне действительно нужны удовольствия. Нельзя же все сидеть над книгами нелюдимом! Я думал — что бы такое? Другие находят удовольствие в танцах. Я не умею танцевать, а то сходил бы в сад, когда никто не мешает, протанцевал там где-нибудь и воротился бы...

Напряженная серьезность Оверина вызвала с нашей стороны такой хохот, что мы долго не могли слушать его.

— Театры отнимают много времени,— продолжал Оверин, вероятно изумляясь, чему мы смеемся.— Верховая езда — ничего бы; надо опять много денег: лошадь надо покупать, да, наконец, я не умею и ездить. Ну, и

верховая езда, кроме того, не всем же нравится. Пьянство нравится всем. Мастеровой работает целую неделю, а в воскресенье напивается. Вот и я так буду напиваться теперь...

Оверин с уверенностью смотрел вдаль и ровным, твердым шагом шел вперед. Намерение его было непреклонно.

— И напьешься? — смеясь, спросил брат.

— Напьюсь. И тебе тоже советую,— с любезным простодушием предложил Оверин.— Я знаю, вы не пьете даже шампанского,— обратился он ко мне,— а потому вас не приглашаю. Нам с тобой двух штофов достаточно. У меня есть деньги.

Брат пришел в восторг и немедленно объявил свою твердую решимость тоже идти в кабак.

— Пойдемте лучше к нам — там есть водка, можете напиться как угодно,— уговаривал я.

— Нет, мы пойдем в кабак! — ответил Андрей.

— Отчего же не пить в кабаке на свои деньги! — удивился Оверин.

— Вас там отколотят...

— Мы сами отколотим. Ну, вон кабак. Пойдем и ты с нами,— весело говорил Андрей, обрадовавшийся скандалу.

— Я еще не сошел с ума. Андрей, ведь ты делаешь скандал на весь город! У нас есть сестра...— истощался я в убеждениях.

— У меня нет сестры,— рассудительно объявил Оверин.— До свидания!

И оба они скрылись в дверях, из которых выхлынул какой-то безобразный гам и визгливый голос, покрывавший этот гам:

Хлеба — нет,
Соли — нет,
Смех какой!

— Черт с ними,— пробормотал я и с яростью воротился домой один.

На вопрос сестры, где Андрюша, я объявил, что Оверин положительно сошел с ума, а так как брат всегда был дураком, то не удивительно, что они сошлись теперь и отправились вместе в кабак. Я был очень раздражен и не щадил колкостей, чтобы всячески унизить Ове-

рина и брата. Но на сестру слова мои произвели совершенно обратное действие. Она покраснела, и, взглянув на ее лицо, я ясно увидел, что она готова бы сию же минуту полететь в кабак, вслед за предметом своей нелепой страсти, которого она, впрочем, не видала еще ни разу в жизни!

Я замолчал.

— Отчего этот Оверин не ходит к нам? — через минуту нерешительно спросила меня сестра.

— Если ты хочешь вешаться на шею к этому сумасшедшему, можешь сама сходить к нему. Он тебе докажет, как дважды два, что буква ш безобразна, как... вот как ты! — почти закричал я на сестру, покрасневшую от досады.

— Что ты кричишь! Шел бы с ними в кабак, там и кричал бы,— раздражительно сказала Лиза и ушла от меня.

Я остался один злиться и проклинать всех, начиная с Оверина до сестры. Когда перед обедом пришел Малинин, я даже не утерпел не обругать и его за то, что он навел Оверина на поганую мысль об удовольствиях.

— Что такое? ничего,— простодушно объяснил мне Малинин.— Оверин упал в обморок, ему сделалось дурно. Ну, Андрей и привез его на извозчике домой. Мы вместе с Андрюшей пришли.

В это время явился Андрей, и я значительно успокоился тем, что он не был пьян. Оказалось, что Оверин, основательно рассуждая, что по малости пить не стоит, спросил в кабаке сразу четверть ведра. Но когда они с Андреем выпили по третьей рюмке, Оверину сделалось дурно, и он, что называется, раскис вполне. Брат отдал водку чиновникам, сидевшим в кабаке, и привез больного Оверина без всяких дальнейших приключений в гимназию.

На другой день у Оверина была головная боль, что, конечно, ему очень не нравилось, и он объявил, что никогда больше не намерен развлекаться какими бы то ни было удовольствиями, объявив, что математика для него такой же завлекательный роман, как «Три мушкетера», что каждое место, на котором он останавливается, для него лучшая патетическая сцена и он не может успокоиться от волнения, что будет дальше.

II

ЛЮБОВНЫЕ ДЕЛА ОВЕРИНА И МАЛИНИНА

Начались экзамены; через неделю мы должны были навсегда проститься с гимназией. Все очень были заняты последними, выпускными, экзаменами, а Малинин и Грачев, соперничествовавшие получить единственную гимназическую стипендию в университете, с каким-то яростным азартом ходили из угла в угол и зубрили вслух всякую чепуху, долженствовавшую составить их земное благополучие. Впрочем, Малинину очень мешало в его занятиях составление особой *росписи покупок,* которые предстояло ему сделать по окончании курса, чтобы обзавестись хозяйством. Эта работа представляла неодолимые затруднения, так как в первой росписи заключалось 307 предметов, начиная от циммермановской шляпы до стеклянной плевальницы,— на сумму до двух тысяч рублей, а Малинин не мог даже и мечтать получить из казны более 80 рублей на экипировку. Приходилось сокращать роспись и на каждом шагу решать очень трудные дилеммы, вроде того, что нужнее, этажерка или фланелевые штаны.

Погруженный, с одной стороны, в составление *росписи,* с другой — в приготовление к экзаменам, Малинин почти перестал вздыхать о Лизе и совершенно не трогал прекрасного альбома, который недавно купил и успел уже наполовину испачкать стишками Фета, Бешенцова, Всеволода Крестовского и иных.

Оверин совершенно игнорировал экзамены и не только не готовился к ним, но даже не пришел ни на один из них. Он переехал из пансиона к Новицкому, где ему очень понравился продавленный клеенчатый диван, на котором, как он находил, было столь же удобно спать, как в лодке, и по целым дням, не вставая, лежал с книжкой в руках.

Грачев готовился к экзамену, кажется, за всех и без устали ходил по коридору, обременяя свою память и космографией, и славянскими глаголами, и русскими основными законами, и новейшей историей по Гервинусу [1]. Кто-

---

[1] Гервинус Георг Готфрид (1805—1871) — немецкий буржуазный историк и политический деятель, автор работ по истории XIX в.

то заметил ему, что стипендия, по всей вероятности, достанется Малинину.

— Пусть достается; я все-таки пойду в университет, поступлю сторожем и буду слушать лекции, как Мартин Лютер, через щелку! — с хвастливой горячностью истинного героя отвечал Грачев.

К сожалению, он на деле был далеко не так привержен к наукам, как Мартин Лютер, да, наконец, и романтическое желание сделаться из любви к науке университетским сторожем в наше время смешно, а потому Грачев, когда стипендия досталась не ему, а Малинину, предпочел сделаться писцом, оставив намерение слушать лекции через щели и замочные скважины.

Экзамены кончились 20 июня; 21-го числа был день моего рождения, и мы с братом решились задать приличное этим двум случаям торжество.

Решено было пригласить Шрамов, Буровых, некоторых гимназистов и, самое главное, Оверина и Стульцева, без которого, как выразился брат, и праздник будет не в праздник.

После обеда, за которым мы, накануне моего рождения, совещались, кого пригласить, Малинин шепнул мне, что хочет о чем-то поговорить со мной по секрету. Мы отправились в мою комнату; Малинин сел на стул и начал рассеянно смотреть на черное полотно, висевшее над моим письменным столом в золотой раме и долженствовавшее изображать собою ночь в Обдорске. В Обдорске, как известно, ночи бывают темные, так что разглядеть что-нибудь довольно трудно, но, очевидно, Малинин, уставивши глаза в картину, вовсе не хотел ничего разглядывать, а только старался протянуть время, не решаясь начать своего объяснения.

— Ну, что же надо? — спросил я его.

— Видишь ты, у нас вообще в России этот глупый канцелярский порядок... Везде приходится начинать с старшего помощника младшего подсекретаря, товарища хранителя ниток для сшивания дел...

— Ты, верно, не о хранителе ниток хотел говорить по секрету.

— Нет.

Малинин начал с горечью порицать формализм, который поглощает деньги на то, чтобы у нас же еще отнимать время, а время — те же деньги, говорят англичане.

Англичане — хороший народ и не терпят таких глупых порядков, как мы. У них парламент...

Я понял, что подвергаюсь опасности выслушать дифирамб английскому парламентаризму, и самым решительным образом потребовал, чтобы Малинин открыл мне наконец свой секрет. Секрет этот, как оказалось, заключался в том, что благодаря канцелярскому порядку Малинин, к величайшему своему огорчению, не может получить своих восьмидесяти рублей ранее двух недель, а так как ему не хотелось явиться на наш праздник в курточке, то он просил меня дать ему теперь же средства приобресть приличный его возрасту костюм.

— Зачем же ты мне говорил об английском парламенте?

— Совестно,— пробормотал Малинин и начал пристальнее всматриваться в непроглядный мрак обдорской ночи.

— Что же ты купишь себе?

— Я уж выбрал: такой же пиджак, как у Шрама.

И действительно, на другой день у нас вечером среди многочисленного собрания красовались два серо-диких пиджака. Но какая разница была между ними! Между тем как Малинина никто не замечал, Володя просто царствовал: в одном месте он ругал Шульце-Делича[1], в другом острил над Воскобойниковым[2]; здесь рассказывал анекдот про Бакунина, там смеялся над Стульцевым, который дергал очками и с наивным непониманием бормотал: «Ну, ну,— ну что?»

Во всех комнатах стояли, ходили, сидели, курили и пили чай множество народа. Кто толковал о рочдельском обществе[3], кто о комедии Львова, кто сообщал ненапечатанное стихотворение Некрасова... все говорили. Володя переходил от группы к группе, и нам оставалось только завидовать той свободе и легкости, с какой он умел сказать вовремя остроту, вовремя поправить очки, где сле-

---

[1] Шульце-Делич Герман (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист и политический деятель.

[2] Воскобойников Николай Николаевич (1838—1882) — публицист, один из сотрудников газеты «Московские ведомости».

[3] Рочдельское общество — «Общество справедливых пионеров», первое рабочее кооперативное потребительское общество, основанное в 1844 году в городе Рочдейле (Англия) группой рабочих, преимущественно ткачей.

дует, улыбнуться или небрежно пощелкать своими длинными ногтями и с задумчивым видом почмокать языком, как будто что-нибудь пробуя и смакуя. Его небрежная легкость и свобода в обществе могли сравниться разве только с той беззаботностью, с которой путались между ногами Ольгин пойнтер и Оверин. Последний явился в замазанной мелом курточке, и когда притащивший его Андрей, насильно напялив на него свой сюртук, выпустил его в залу, то начал задумчиво разгуливать по комнатам, точно он был в пансионском коридоре. Столкнувшись носом к носу с Ольгой, он спросил ее, не помнит ли она, какую даму, в отеле Рамбулье, лечил Вуатюр от лихорадки, пугая ее медведями; но, не получив ответа, сам тотчас же заметил, что это, впрочем, все пустяки и что тут дело не в имени, а в факте. Видя дикаря, свободно и беспонятно расхаживающего по всем комнатам, многие обратили на него внимание, и скоро Оверин сделался предметом общего разговора.

— Говорят, он сильно занимается математикой,— сообщали в одном месте.

— У него идея-фикс,— решил один из бесчисленных племянников Бурова и начал доказывать, что великие люди отличаются от обыкновенных смертных только тем, что имеют идею-фикс, вследствие чего в общежитии они обыкновенно кажутся сумасшедшими.

Андрей рассказал несколько анекдотов об Оверине, и они начали переходить из кружка в кружок.

— Кто знает, может быть он гений,— томно сказала Катерина Григорьевна.

— Да, все великие люди отличаются странностями,— снисходительно заметил сидевший подле нее Буров, махнув ладонью над своими стрижеными волосами.

В это время ко мне подошел Новицкий. Он нечаянно оборвал часовую цепочку и попросил у меня щипчиков поправить ее. Мы отправились ко мне в комнату и на дороге я спросил у него, как они зажили с Овериным и, кстати, почему Оверин не купил себе никакого платья, тогда как, я слышал, он не дальше недели взял у своего попечителя двести рублей.

— Если б я знал, как он распорядится с этими деньгами, я бы не поцеремонился отнять их у него,— сказал Новицкий.— Покуда он доехал до меня, уж у него не было и половины, но и с остальной он хорошо распорядился!

Действительно, Оверин очень оригинально распорядился со своим достоянием. Из первой сотни он дал двадцатипятирублевую бумажку служителю в гимназии, чтобы тот кормил какую-то собаку, и, уходя из пансиона, столько же роздал на чай служителям. На улице его остановила какая-то нищая, а у него не было меньше пятидесятирублевой бумажки; он подумал, что уж если на собаку истрачено двадцать пять рублей, то на человека совершенно справедливо истратить вдвое больше, и отдал деньги. Остальные сто рублей пошли более дельно: Оверин купил груду колбас, полпуда свеч, два каравая хлеба, стопу бумаги и проч., а остальные отдал хозяйке вперед за квартиру, кажется года за полтора.

Когда рассказывал мне все это Новицкий, в соседней комнате, у Андрея, послышался шум: брат торопливо запирал дверь на замок.

— Стойте-ка, что это делает Андрей? — сказал Новицкий, опуская щипчики, которыми правил свою цепочку.

Мы начали прислушиваться. Оказалось, что Андрей выдумал очень скверную шутку.

Услышав, что Оверин ходил в кабак, выпил там три рюмки и захмелел, Стульцев, со свойственной ему неумеренностью, объявил, что прежде выпивал по четверти ведра один и не хмелел, а теперь может выпить четверть не четверть, а все штофа два. Андрей позвал его в свою комнату, вынул из чемодана пистолет, который некогда носил в кармане с целью безвременно лишить себя жизни, и объявил Стульцеву, что он должен умереть или выпить полный графин водки.

— Ну, ну — я виноват! ну! — поджав хвост и выставив вперед руки, чтобы не видать грозное дуло Андреева оружия, забормотал Стульцев.

Андрей в порыве благородного негодования повторил, что Стульцев не должен ждать пощады, что ему следует или пить водку, или читать «Отче наш» в ожидании близкой кончины.

— Ну, я виноват! ну, ударь меня! (Стульцев сдернул очки и выставил вперед свое лицо). Ну! что же ты? — почти плача, проговорил он.

— Нет, я тебя убью. Молись.

— Ну, ну! — заплакал Стульцев, падая на колени и закрывая себя руками, выставленными вперед вместе с

очками, о которых он уже перестал заботиться, расставаясь с жизнью. Андрей уверял, что тогдашняя поза Стульцева очень напоминала позу Моисея, ужаснувшегося перед купиной огненной, как это изображено в иллюстрированном Ветхом Завете. Брат чуть-чуть не расхохотался и поспешил спустить курок своего пистолета, трагически вскрикнув: «Умри, злодей!» Несмотря на то, что, за неимением пистона, собачка произвела только легкий щелчок, со Стульцевым случилось такое скверное обстоятельство, что Андрей принужден был дать ему свое белье.

— Ну, ну, господа... ну, вы только, ради бога, не говорите,— со слезами умолял Стульцев, совершая свой туалет при помощи Сеньки, который не мог удержаться от смеха и фыркал себе в кулак.

Мы дали Стульцеву клятвенное обещание в скромности и воротились к гостям. Стульцев, точно рыбка, выпущенная в свежую воду, весело заходил по зале как ни в чем не бывало, а вскоре ему удалось поймать какого-то новичка, и он, уверяя последнего, что имеет серебряную медаль за спасение погибавших, совершенно забыл, что час назад сам едва спасся от смерти.

Воротясь в залу и не видя Оверина, я начал беспокоиться, не случилось бы какого скандала. С этой мыслью я обошел все комнаты, но его нигде не было. Правда, фуражка его находилась налицо, но от такого человека, как Оверин, можно было ожидать всего, и не было бы ничего удивительного, если б он по забывчивости, несмотря на довольно холодный вечер, отправился домой без фуражки. Впрочем, прежде чем окончательно убедиться в этом, я решился осмотреть сад, хотя холод вовсе не располагал к прогулкам.

Я пошел через комнату Андрея и, когда начал спускаться по лестнице из фонарика, к величайшему удивлению, увидел идущих по дальней аллее Оверина и Лизу. Они шли под руку. Оверин шел, опустив голову, как бы нехотя, тем же шагом, каким он прогуливался по пансионскому коридору, не замечая, что Малинин или Андрей держат его под руку. Сестра шла боком, смотрела в лицо Оверину и, казалось, что-то с оживлением говорила ему. Роман обещал быть юмористическим, и я не мог стерпеть, чтобы не узнать лучшую сцену — объяснение в любви. Скрывшись за густо переплетенной изгородью кра-

тегуса [1], я скоро догнал их, и, так как сестра в это время весело пригласила Оверина сесть на скамейку, мне оставалось только прикурнуть под ветвями изгороди и приготовиться слушать, что я и исполнил.

Оба молчали. Я слышал трепетное дыхание сестры — очевидно, она на что-то решалась. Оверин, выпучив глаза, смотрел вдаль, на край неба, где уже начинали выплывать звезды.

— Вы знаете, это я вам писала,— проговорила наконец Лиза.

Оверин не слыхал.

— Послушайте, Оверин, это я вам писала, а не Наталья Петровна... у меня ваши письма, я их берегу,— сказала сестра, захлебываясь от волнения.

— А! — приятно изумился Оверин.

— Оверин, поцелуйте меня! — вдруг страстно вскрикнула сестра, прижимаясь к нему.

— Зачем? — не двигаясь, спросил Оверин.

Сестра, очевидно, была поражена; она даже не отодвинулась от Оверина, не сделала никакого движения и долго не могла сказать ни слова. Оверин спокойно и сосредоточенно смотрел вперед, на небо, точно он держал чью-нибудь руку и считал удары пульса.

— Вы не любите меня? — тихо спросила сестра.

— Нет... люблю; отчего же не любить?

— Я не красива,— прошептала Лиза.

Оверин посмотрел на нее. Мне как-то никогда не приходило в голову справиться, красива или некрасива сестра, и я теперь тоже взглянул на нее, чтобы решить этот вопрос. Увидев ее блестящие глаза с большими ресницами, крупные волны волос и тонкую талию, как змея выбегавшую из-под кожаного пояса, я сразу решил, что она очень и очень недурна и что всякий другой на месте Оверина не был бы таким олухом.

— Нет, вы очень красивы,— с убеждением сказал Оверин, окончив свой осмотр.

Сестра вскочила, обвила его шею руками и звонко поцеловала. Оверин, по-видимому, нисколько этому не удивился; он только слегка отстранил ее рукою и тихо перевел дух.

— Видите вы эту звезду,— сказал он,— вон направо?

---

[1] **Кратегус** — боярышник.

— Где?

Сестра, вероятно, еще надеялась, что Оверин от звезды поэтически перейдет к излиянию чувств, но она горько ошиблась. Оверин скоро заговорил об Уране, о Нептуне и начал объяснять ей вычисления Леверье, послужившие к открытию новой планеты. Так как ни Уран, ни Нептун, ни Леверье вовсе не интересовали меня, а кроме того, с одной стороны, было холодно, с другой же — нельзя было сомневаться в целомудрии Оверина, а потому я решился воротиться домой, оставив Лизу, в виде наказания, поскучать часок-другой на холодке, слушая математические пояснения Оверина. Я пошел, и до меня доносились еще по ветру спокойные слова Оверина: «Притягательная сила... центростремительная сила... отклонение...»

Когда я проходил в свою комнату, чтобы обсушить немного промокшие ноги, зала уже значительно опустела, но по дороге меня все-таки задевали слова: эмансипация, непогрешимость, Гарибальди, обскуранты, знамя прогресса, Тургенев, патриотизм и проч. и проч. У дверей моей комнаты со мной столкнулся Малинин. Толки этого вечера на него произвели, по-видимому, потрясающее впечатление, и он смотрел очень расстроенно.

— А у нас, должно быть, скоро будет революция? — тихо сказал он не то с большим страхом, не то с большой уверенностью.

— Где «у нас»? — раздражительно спросил я, предчувствуя услышать глупость.

— У нас, в России.

— Ты останешься у нас ночевать?

— Нет, уж я домой пойду. Неловко, в первый же день — и вдруг дома не ночевать. Хозяйка черт знает что обо мне подумает.

— Не видал ты — Шрамы уехали?

— Уехали.

— Ну, так я лягу спать.

— Прощай. Пойду на новоселье. Вот что, Николай Николаич (Малинин в первый раз в жизни называл меня таким образом, и эти слова вышли у него как-то застенчиво), я хотел завтра... Нечто вроде новоселья... Можно? И хотел пригласить Лизавету Николаевну... А? Как ты думаешь, Николай Николаич? Я думаю, кофей...

Малинин совсем расстроился.

— Хорошо, завтра.

— Ну, так я буду ждать...

— До свиданья.

Я лег и начал было дремать, когда в соседней комнате брат зашаркал спичками и через минуту явился ко мне с зажженной свечой.

— Ты не спишь? Где Малинин?

— Он ушел. Зачем тебе?

— У него завтра кофей...

Брат сел ко мне на постель и начал говорить об Аниньке, в которую он был влюблен. Его восторженные похвалы ее белым волосам, розовому лицу и ее необыкновенно приятной наивной глупости очень мешали мне задуматься над маленьким выговором, который я приготовлял для сестры по поводу ее любовных похождений. К утру, впрочем, я успел составить довольно назидательную речь и отправился к Лизе.

Когда я вошел, она лежала на диване и читала книгу. Я с медленной серьезностью поставил стул к дивану, сел на него и дожидался, что Лиза спросит меня, зачем я пришел; но она молчала.

— Что ты писала Оверину? — спросил я наконец.

— Ничего не писала,— небрежно отвечала Лиза.

Она продолжала глядеть в книгу, вероятно, думая, что разговор будет не настолько интересен, чтобы для него стоило отрываться от чтения.

— Что ты писала Оверину? — настойчивее спросил я.

— Ничего.

— Я знаю, что ты писала, что он тоже писал к тебе и что ты бережешь его письма. Я знаю, что ты вчера...

Лиза вскочила с дивана и, очень покраснев, посмотрела мне в глаза.

— Как ты узнал?

— Как я узнал — тебе все равно. Дело в том, что я все знаю.

— Хорошо,— пробормотала Лиза. Она бросилась к комоду и начала дрожащими руками с лихорадочной поспешностью перебирать стоявшие там безделушки, причем флакон с какими-то духами полетел на пол. Это раздражило Лизу, и она начала кидать вслед за ним на пол все, что ни попадало под руку. По лицу ее текли молчаливые слезы, губы дрожали от злобы и оскорбле-

ния, и она изо всей силы метала об пол и гребенки, и банки с помадой, и щетки. Я молчал. Она нашла наконец ключ, сердито выдвинула верхний ящик комода и начала там рыться так азартно, что оттуда вылетело на пол несколько носовых платков и какая-то коробочка. Скоро она выхватила из комода какие-то бумаги и хотела их разорвать, но я схватил ее за руки.

— Отдай,— сказал я.

— Ни за что! — захлебываясь злыми слезами, проговорила Лиза.

Она, впрочем, не думала сопротивляться мне серьезно и скоро уступила моим усилиям, в изнеможении упавши на диван и разразившись громкими рыданиями.

Я начал разбирать бумаги. Это были три длинных письма Оверина, обращенных, как видно было из первых строк, к Наталье Петровне,— так звали горничную Лизы, от имени которой, вероятно, и писала ему сестра.

— Отдай их ему...— с усилием проговорила Лиза среди рыданий, которые душили ее и коверкали ее лицо в безобразные гримасы.— Он надо мной смеется! Пусть! Смейтесь надо мной! Я не боюсь!

Рыдания ее становились громче и громче. Я подошел к ней и взял ее за руки.

— Лиза, голубушка, полно — успокойся! никто не будет смеяться,— ласково сказал я.

Сестра прижалась к моей груди своим заплаканным лицом.

— Тебе он все рассказал? смеялся? — прошептала она.

— Он мне ничего не говорил и никогда никому не скажет. Я сам все слышал...

— Никому не говори,— опять прошептала сестра, прижимаясь ко мне, как будто просила защиты.

— Никому не скажу.

— И отдай мне письма,— нерешительно прибавила Лиза.

Она успокоилась и села на диван.

Уж много раз сравнивали улыбку на плачущем лице хорошенькой женщины с солнцем, весело освещающим землю, только что омытую дождем. Глядя на улыбающуюся Лизу, по щекам которой еще блестели полоски слез, я был совсем обезоружен и целиком забыл назидательную речь, приготовленную мной для изобличения всего неприличия ее поступков с Овериным.

— Нашла же ты предмет для ухаживания,— смеясь сказал я,— вот скорее этот (я разумел бюст Крылова, стоявший на камине) слезет отсюда и будет объясняться в любви, чем Оверин.

— Я люблю его,— в порыве откровенности решительно объявила Лиза.

— С чего ты начала писать ему? Черт знает, дичь какая!

— Так... Он отвечал мне; я думала, что и он меня любит, а он говорит, что вообще всех любит... Я не знаю, что это за чудак! Впрочем, он сказал, что я хорошенькая, и звал к себе пить чай с паюсной икрой. Я ему назначаю свидание на валу, а он мне говорит: лучше ко мне придите — у меня есть паюсная икра, и мы будем пить чай с икрой... Ничего не понимает. Паюсная икра, говорит, очень питательна и с сладким чаем очень вкусна!

Лиза начала смеяться. Я разбирал оверинские письма. Каждая красная строка начиналась так: «Вы спрашиваете, как я смотрю на назначение женщины. Женщина прежде всего — человек, допустим даже, что человек слабосильный и слабоумный» и проч., или: «Вы спрашиваете, как я смотрю на брак. Я не думал еще об этом и не могу сообщить своего решительного мнения; впрочем, судя по тому, что некоторые животные, напр. аисты, по-видимому, признают брак...» и проч. и проч. Последнее письмо оканчивалось очень деликатным приглашением прекратить переписку: «Мне совсем некогда теперь обдумывать ответы на ваши вопросы. Вы читайте книги, сами дойдете как-нибудь до всего». Тон писем везде был таков, как будто они были писаны не к незнакомой женщине, а к хорошему приятелю. Оверин, очевидно, нисколько не удивлялся, что какая-то Наталья Петровна интересуется его воззрениями на брак, на положение женщин и другие предметы, вызывающие на размышление.

— Во всяком случае ты, пожалуйста, оставь Оверина в покое,— сказал я, свертывая письма и возвращая их сестре.— Из этого ничего не выйдет, кроме того, что над тобой будут потешаться, как над Малининым.

— Бедненький! Посмотри, я думаю, он исходил верст десять (сестра показала мне букет из каких-то дрянных желтеньких цветочков). Просил меня никому не гово-

рить. Я как-то смотрела атлас и сказала, что никогда не видала этого цветка,— он вот и принес.

Сестра засмеялась.

— Вот влюбись в него. За него можешь выйти замуж, он будет ухаживать за тобой.

— Ну, что! — презрительно сказала сестра.— Он какой-то кисель!

Кисель был легок на помине. Он постучался в дверь и робко вошел к нам в своем серо-диком пиджаке. Я совершенно забыл о его новоселье с кофеем, и Малинин, вероятно, соскучившись дожидаться, явился поторопить нас собственной персоной.

— Что же вы... не хотите... Николай Николаич! Лизавета Николаевна! — бормотал он.

Андрея не было дома, и мы отправились к Малинину вдвоем с сестрой. Он нанимал небольшую чистенькую комнату, в которой пахло уютным теплом. Надобно было удивляться, откуда Малинин, заняв у меня всего третьего дня деньги, набрал для своего гнезда столько белизны и чистоты, и я сильно подозреваю, что он не спал на подушках, которые были убраны в белоснежные наволочки со старенькими кружевами. Одеяло было белое, так что кровать Малинина изображала из себя некоторым образом ложе невинности. У изголовья стоял маленький столик, вероятно недавно натертый деревянным маслом — так он блестел. На столике стояла стеариновая свечка в блестящем подсвечнике, должно быть для того, чтобы показать, что Малинин иногда наслаждается чтением, лежа в постели. На комоде, точно так же натертом деревянным маслом, был расставлен целый ряд всяких зеркальцев, щеточек, баночек, скляночек, коробок, коробочек, тетрадок и книжечек, расположенных очень красиво и симметрично. На письменном столе Малинина была тоже выставка разных дешевых галантерейных вещей. Чернильница, перья, чугунные пепельницы, пресс-папье разных сортов, ножницы, ножички, печатки, костяные счеты и проч. были расставлены так искусно, что к столу было боязно прикоснуться, чтобы не разрушить гармонии порядка и красоты, писать же на нем не было никакой возможности. Словом, сердце радовалось, глядя на благоустройство малининской комнаты, и Малинин, как добрый бобер, видимо, очень дорожил этим благоустройством, так что, когда Лиза се-

ла на кровать, он с большой торопливостью бросился пересаживать ее на стул.

— Вам так удобнее,— трогательно говорил он.— Вот Николай Николаич, сигары...

— Да ведь ты знаешь, что я не курю.

— Ну, все равно.

Я открыл у него письменный стол, где лежало множество прекрасных тетрадей; мне бросился в глаза какой-то листочек, лежавший сверху. Это была смета: «Сигар гаванских, лучших, десять штук; сигар рижских — десять штук; папирос Сырейщикова двадцать пять штук; кофе — фунт».

Малинин подкрался сзади и вырвал у меня листок.

— Ну, зачем же? — раскрасневшись, сказал он.

— Это твои покупки?

— Да...

— Зачем же табак? — спросила Лиза.— Ведь вы не курите.

— А гости...

Малинин сказал это с такой наивной уверенностью, что Лиза пришла в восторг, схватила его за голову и взъерошила ему густо напомаженные волосы.

Малинин совсем потерялся и умер бы от счастья, если бы в это время его хозяйка не принесла на подносе кофе со всякими печеньями. Он, как облитый кипятком, бросился к столу и чуть не повалил по дороге маленький столик со свечой, поставленный у кровати. Не помня себя от счастья, он начал так растерянно хлопотать и угощать нас, что сердце сжималось от жалости. И было от чего растеряться самым жалким образом: он в этот день был именинником в квадрате.

III

СВЯТИЛИЩЕ НАУК

Дни проходили за днями; приближалось время начала лекций в университете, и мы начали толковать о выборе факультетов. Впрочем, все это делалось мимоходом: летние дни проходили скоро и весело, и говорить хоть о мало-мальски серьезных вещах как-то не хотелось. У нас с утра обыкновенно собиралось довольно

много знакомых, и уже непременно присутствовали Новицкий, Малинин и Аннинька, которая очень подружилась с сестрой. Лиза приняла ее некоторым образом под свое покровительство и не жалела трудов, посвящая Анниньку во все тяжкие тогдашнего либерализма. Бедная институтка, казалось, ничего не понимала; она краснела, мигала своими хорошенькими глазками и старалась оборвать розовенькими пальчиками кончик носового платка. Я был долгое время в глубоком убеждении, что Аннинька, по милости институтского воспитания, отупела и оглупела до состояния настоящих провинциальных барышень, в том виде, как их всегда изображают в комедиях и повестях, но мало-помалу начал в этом разубеждаться. Как оказалось, она тоже знает толк в идейках и даже имеет оригинальный способ выражения их — прелестно-простодушный и застенчивый.

Очень хорошо понимая, что лучший способ стать заметным и выделиться хоть немного из несметных дюжин либералов — это проповедовать (в то время необходимо было что-нибудь проповедовать) консервативные идеи, я сделался консерватором и любил обрывать Малинина, Лизу, Андрея и других либералов, которые мне были под силу. Мои проповеди не пропадали для Анниньки даром.

Я в этом убедился, когда Лиза как-то занеслась на модную тему об угнетении женщин. Само собой разумеется, при этом варварство мужчин, закрывших перед бедной женщиной все дороги к самостоятельности, было выставлено в заслуженно-гнусном виде.

— Кто хочет быть самостоятельной, это нетрудно,— сказала вдруг Аннинька.

Нечего и говорить, что Лиза пришла в изумление, близкое к негодованию.

— Я могу наняться в прачки и не буду ни от кого зависеть,— кротко пояснила Аннинька.

Лиза с горячностью возразила, что у бедной прачки как у женщины нет никакой карьеры, между тем как мужчина может сделаться из писца министром.

— И мы бы, может быть, составили карьеру, если бы умели писать и могли сделаться писцами. Нет, Лизанька, уж так устроено, что мужчина должен работать, а мы наслаждаться... Так ведь, Николай Николаич?

Аннинька пела с моего голоса, и я тем с большим удовольствием слушал ее наивную песенку.

Андрей, влюбившийся в Анниньку «со всем пылом юношеской страсти», тоже находил, что к ней очень идет консерватизм и либералкой она была бы не так мила. По поводу своей несчастной страсти брат начал меня особенно долго беспокоить по ночам, то объясняясь в любви, то читая свои стихи, которые он целыми грудами отправлял в петербургские журналы, вырезывая потом напечатанные стихотворения и наклеивая их на стены у себя в комнате, чтобы каждый приходящий мог видеть, что тут живет поэт. Относительно любовных успехов Андрея мне приходилось выслушивать очень странные вещи. Брат был вовсе не такой человек, чтобы молчаливо страдать и вздыхать, подобно Малинину. Нечего и говорить, что он, почувствовав себя влюбленным, тотчас же объяснился в любви, и так как не получил от Анниньки никакого решительного ответа, то продолжал привязываться к ней каждый день.

— Я ее решительно не понимаю,— говорил он мне, бывало, сидя на моей постели.— Сегодня в саду я начал ее целовать, она кинулась ко мне, но потом вдруг оттолкнула меня, начала плакать и кричит: «Отойдите, отойдите, не троньте меня». Боится, должно быть.

Такие сцены, конечно, охладили бы пыл всякого другого, но не Андрея. У него дело дошло до того, что он показал мне однажды изрядный синяк на груди, полученный во время горячего объяснения в любви, когда Аннинька, побежав от него, неосторожно захлопнула двери.

— Нет, она, должно быть, влюблена в кого-нибудь,— в раздумье говорил Андрей.— Она на тебя что-то смотрит очень странно; все краснеет.

Я имел так мало претензий влюблять кого-нибудь в себя, что предположение Андрея показалось мне смешным; но потом я и сам стал замечать, что Аннинька смотрит на меня действительно несколько странно и как-то боязливо протягивает мне свою руку. Впрочем, на все это, среди споров, шума и смеха, которые царствовали у нас, я мало обращал внимания.

Почти каждое утро, являясь к нам, Новицкий сообщал какое-нибудь происшествие с Овериным, и день уже начинался смехом. Оверин к этому времени успел свести некоторые очень приятные знакомства, как-то: со своей прачкой и с пьяницей-сапожником, жившим в их доме. Старуха прачка, вероятно, считала его за блаженного

и приходила к нему под окно поговорить то о пропавшей простыне, то о сыне, который был в солдатах, и Оверин всегда очень внимательно успокаивал и утешал ее. Менее невинны были его отношения с сапожником. Этот последний познакомился с ним очень оригинальным образом, попросив Христа ради пятачок на опохмелку. У Оверина были деньги, и он дал ему. Через четверть часа сапожник явился, уже значительно повеселевший, благодарить своего благодетеля.

— Что теперь лучше? — спросил Оверин.

— Лучше.

— И голова не болит?

— Нет, совсем хорошо.

— А если теперь еще выпить?

— Еще будет лучше.

Оверин удивился и дал ему еще пятачок. Сапожник явился через несколько времени и действительно был еще веселее.

— А если теперь еще вы выпьете? — спросил Оверин.

— Теперь отлично бы еще выпить.

Оверин передавал в этот день сапожнику до десяти пятачков и с удивлением наблюдал, что новый его знакомый час от часу пьянеет сильнее и сильнее, а наконец, взяв последний пятачок, не может уже выразить языком своей глубокой благодарности и замертво падает на землю.

Выспавшись под оверинским окошком, сапожник уже не попросил, а потребовал у Оверина пятачка, как у единственного виновника своей болезни.

Так как вообще отказывать, да еще в деньгах, было вовсе не в характере Оверина, то сапожник скоро понял всю выгоду своего положения и в короткое время пропил у своего благодетеля все деньги. Дело дошло до того, что Оверин занял у Семена шестьдесят копеек и решился питаться одним хлебом впредь до получки своего жалованья.

Но у Оверина было платье. Попечитель его, видя, с каким ребенком ему пришлось водиться, сам распорядился сшить Оверину довольно приличную одежду. К сожалению, не вся она пошла в прок. В то время, когда Оверин питался одним хлебом, его приятель сапожник вовсе не полагал оставить своей привычки напиваться пьяным, несмотря на то, что ему было категорически объяснено, что денег больше нет.

— У вас есть разные вещицы — можно бы заложить на время,— намекнул как-то сапожник, окончательно истомленный продолжительной трезвостью.

— А вот фрак — я его все равно не ношу! — догадался Оверин.

Фрак был пропит, очередь доходила до сюртука, когда Новицкий заметил, что не все платье у Оверина налицо, и отобрал у него посредством какой-то хитрости ключ от комода. С этого времени, когда в распоряжении Оверина ничего не осталось, кроме хлеба (он всегда покупал его караваями, на том основании, что черствый хлеб удобоваримее мягкого), свеч, колбасы, паюсной икры и мелу, сапожнику взять было нечего, и дружба начала значительно охлаждаться, тем более, что. в это время Оверин, занятый усовершенствованием лейденской банки, не находил даже времени разговаривать со своим другом.

Нечего и говорить, что он поступал на математический факультет.

Остальные мои знакомые стремились на медицинский или на естественный факультет (естественные науки только что начали входить тогда в моду). Не говоря уже о Шраме и брате, даже Малинин однажды сказал мне:

— Я думаю, что лучше изучать естественные науки, например физиологию... Нужно же, наконец, знать строение своего собственного тела.

— Чем же ты после будешь питать это тело, когда узнаешь его строение? — спросил я.

Малинин не понял.

— Сделаешься пьяницей-учителем естественных наук? — яснее спросил я.— Дальше не пойдешь со своей физиологией.

— Да, это правда — нет карьеры, но все-таки естественные науки... Впрочем, на какой ты факультет поступишь, на такой и я.

— Естественные науки скоро выйдут из моды,— сказал я,— мы лучше поступим на юридический. Вон толкуют все о новом судопроизводстве.

— Это действительно! — с восторгом вскричал Малинин, очевидно удивляясь, что ему не пришла в голову раньше эта простая мысль.

Таким образом, решено было осчастливить Россию двумя новыми юристами. Вскоре я узнал, что и Новицкий тоже поступает на юридический факультет, разду-

мав сделаться медиком по той причине, как он объяснил, что «плохой медик вреден, а плохой юрист, при честных намерениях, все-таки может быть полезным».

Все наши дамы тоже рвались в университет, и преимущественно для изучения естественных наук и «узнания строения своего собственного тела». Ольга, знавшая довольно порядочно новые языки, вбила себе в голову, что ей стоит только поучиться немного древним языкам и истории, чтобы сделаться русским Маколеем. Лиза и Леночка (одна из бесчисленных племянниц Бурова) вместе с другими решились изучать естественные науки и составили даже какой-то адрес к университетскому начальству, который я, впрочем, разорвал, рассердившись на Лизу по поводу одного скандала. Как-то раз, перессорившись с Ольгой (ссорились они каждый день), она убежала от Шрамов домой одна. Недалеко от нашего дома ее остановил пьяный извозчик и пригласил куда-то ехать с собой.

— Сейчас,— сказала Лиза, поставила ногу на тумбу, сняла с ноги резиновую галошу и успела ею ударить раз пять по лицу извозчика, остолбеневшего от удивления. К счастию в это время шел мимо квартальный, знавший сестру в лицо, и ее сумасбродство сошло ей с рук совершенно безнаказанно. Андрей, восхищавшийся всякой глупостью, не мог нарадоваться геройству сестры и всякий раз целовал ее, вспоминая историю с галошей. Я смотрел на ее подвиг несколько иначе и, даже разорвав адрес, считал сестру недостаточно наказанной, заявив, что сверх этого никогда не пущу ее в университет.

Впрочем, последней угрозы невозможно было выполнить, так как в первый же день открытия университетских лекций у нас произошла жестокая перепалка, обещавшая повторяться каждое утро до тех пор, покуда я не сведу Лизу в университет. Пришлось успокоить ее уверениями, что завтра она будет в университете. В первый день мне хотелось как можно внимательнее заняться лекциями, и я был рад, что избавился от сестры, которая могла нарушить мое спокойствие даже в таком случае, если бы Андрей, вообще не терпевший возиться с женщинами, согласился взять ее на свое попечение.

Наконец мы вступили в святилище наук со страхом божиим и трепетом, с белыми тетрадками в карманах, а Малинин, сверх того, с пучком тщательно и остро-пре-

остро очиненных карандашиков. Это было во вторник. В расписании, прилепленном в сенях среди объявлений: «Продаются прошлогодние записки политической экономии профессора Слепцова», «Продаются логарифмы Коллета», «Ищут товарища в комнату» и проч.,— в расписании значилось, что в этот день на первом курсе юридического факультета имеют быть три лекции: закон божий, история русского законодательства и энциклопедия юридических наук.

Когда мы пришли, в коридоре уже толпился народ и царствовало шмелиное жужжание, столь знакомое мне по гимназии. Между молодежью, по большей части одетой довольно неказисто, виднелись и солидные старички с крестами на шеях, и офицеры, и два-три женских платья. Старые студенты ходили с новичками и посвящали их в университетские тайны; новички с замиранием сердца внимали их сообщениям и мотали на ус их советы.

— У вас что вторая лекция? — спрашивал старый студент новичка, которого он, по-видимому, принял под свое милостивое пестование и покровительство.

— История русского законодательства,— скромно отвечал новичок.

— Фиалковский?! — презрительно сказал студент.— Мины под фортецию правды подводить будет. А потом?

— Энциклопедия.

— Герц. «Декарт — отец науки»,— прошамкал студент, вероятно, передразнивая профессора Герца.

— Вот Фиалковский — это дельный малый,— слышалось в другом месте,— а Герц — этот был, кажется, гувернером при Симе, Хаме и Иафете.

— Годится в Погодинское Древлехранилище,[1] — прибавлял кто-то.

— Вы не подписывайтесь сгоряча на записки,— советовал дальше студент новичку.— Тут иногда фокусы бывают.

— Эй, математики, идите в аудиторию!

— Я вам, пожалуй, подарю герцовские записки...

— Надо будет купить Менделеева...

— У вас на первой лекции поп?

---

[1] Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, публицист, писатель; создал «Древлехранилище» — собрание памятников русской старины.

— Поп. Да я не пойду слушать...

«Либеральство», высказанное с такой хвастливостью, мне очень не понравилось, и я нарочно скорее пошел в аудиторию. Там почти никого не было, но Малинин уже сидел на передней скамейке, перед ним лежали раскрытая тетрадка и остро очиненный карандашик. Я сел подле него.

— Скоро ли он придет? — благоговейным шепотом спросил Малинин, точно мы были в алтаре.

Я не отвечал. Вскоре пришел Новицкий, сел подле меня и начал рассказывать, что Андрей чуть не подрался в курильной комнате с каким-то семинаристом, который целой непобедимой армией силлогизмов доказывал, что поступать в университет тому, кто хочет учиться, глупо и что он, семинарист, поступил сюда с единственным намерением сделаться как можно скорее титулярным советником.

— Андрюша еще не знает, какие диковинки наш брат, семинарист, сможет доказать, если захочет,— сказал Новицкий.

— Оверин здесь? — спросил я.

— Нет, не пошел. «Чего я, говорит, там не видал». Купил ведерную бутыль и устраивает из нее лейденскую банку.

В это время вошел священник, сопровождаемый толпою слушателей, которые начали торопливо размещаться. Подле Новицкого сел какой-то господин с седыми бакенбардами и начал неподвижно смотреть на кафедру, точно какая-нибудь статуя. Священник поправил, или, как говорят, выпростал, волосы, по привычке всех священников, и начал довольно скромно, без всякой аффектации делать очерк сторонних источников для истории первых времен христианства. Он говорил очень спокойно и внятно; мне лекция его очень понравилась, тем более, что он сообщал факты, совершенно для меня новые. Я даже несколько сердился, когда не совсем вежливые слушатели, входя и выходя из аудитории, нарушали тишину. Между прочими пришел и Стульцев. Он с деловым выражением на лету кивнул нам головой и остановился у притолоки, на самом видном месте. Когда профессор произнес последнюю стереотипную фразу: «Это мы рассмотрим в следующей лекции», Стульцев подскочил к нам.

— Я нарочно пришел сюда, чтобы поймать вас,— сказал он.— Не видали ли вы здесь Владимира Александровича и Ольгу Петровну?

— Не видал,— сказал я.

Малинин начал спрашивать у него что-то о священнике, а мы с Новицким пошли вслед за другими в коридор.

— Ну, ну, и он тоже ошибается — он материалист,— говорил сзади нас Стульцев Малинину.

— Вон, кажется, наш либерал и кавалер с семейством,— указал Новицкий на Володю, проталкивавшегося вдали вслед за двумя какими-то юбками.— Не пойдемте к ним. Пойдемте в курильную... Боже мой, Софья Васильевна! вас здесь совсем затолкали. Как вы здесь?— вскричал Новицкий, протягивая обе руки маленькой девушке, которую толпа народа действительно прижала к стене, и жаль было смотреть, как она трусливо оглядывалась по сторонам, выжидая возможности пройти.

— Не знаю, как и выбраться,— проговорила девушка, как будто прося прощения, таким мягким голосом, каким говорятся самые задушевные слова. Этому мягкому, до крайности симпатичному и теплому голосу вполне соответствовала вся ее робкая, скромная детская фигурка с тихими и робкими манерами. Глазки ее смотрели с такой мольбой о пощаде, с такой выжидательной боязливостью, улыбка имела такой жалостный характер, и, наконец, не то вздрагиванья, не то ужимки ее маленького, беззащитного тельца были так характерны, что все это придавало ей вид забитого, болезненного ребенка, над головой которого занесен тяжелый кулак. Этот ребенок уже давно потерял надежду умилостивить чем-нибудь своих гонителей, кроме безропотной готовности переносить всякие пытки и наказания; он даже считает за дерзость просить пощады словами: о ней робко молит болезненная улыбка и тоскующий взгляд. Софья Васильевна не была красива; маленькое личико ее было смугло, черные волосы были гладко и скромно причесаны, в платье замечалась бедная опрятность, вопреки тогдашней моде дыр и пятен, из которых, по выражению Диогена[1], глядело честолюбие; но в этой маленькой женщине

---

[1] Диоген из Синопа (404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, проповедник аскетизма.

видно было столько простой нежности и женственности, что чувствовалось как-то хорошо и мягко, глядя на нее.

— Постойте, я вас выведу,— сказал Новицкий.

— Ах, будьте столько добры.

Это *столько добры,* сказанное ее мягким, всегда просящим прощения голосом, вовсе не походило на обыкновенное *будьте столь добры.*

— Как вы сюда попали?

— Я хотела подписаться на записки, да, оказывается, очень поторопилась.

Мы проводили ее в швейцарскую. Новицкий подал ей потертый черный бурнус; она взяла зонтик и протянула нам руку.

— Скажите, пожалуйста, когда это надо прийти?

— Да уж вы не ходите; я вам подпишусь,— улыбаясь, сказал Новицкий.

Софья Васильевна, стоя с протянутой рукой, объяснила, какие ей нужны записки, и начала прощаться.

— До свиданья, господин Новицкий. Благодарю вас. До свиданья, господин...

Она затруднилась и покраснела.

— Негорев,— подсказал Новицкий.— Это — Софья Васильевна Лохова.

— До свиданья, господин Негорев.

Софья Васильевна подала мне свою маленькую ручку, боязливо улыбнулась и пошла своей мягкой торопливой походкой, про которую можно было сказать: «Идет, как пишет».

— Знаете вы, кто это? — спросил Новицкий, когда мы поднимались вверх по лестнице.

— Лохова — фамилия что-то знакомая.

— Это дочь известного Лохова.

— Неужели!

«Известный Лохов» был известен с очень дурной стороны — как шулер и мошенник, надувший на несколько тысяч простодушное р-ское купечество водопроводами и уже содержавшийся в это время в остроге.

— Да, замечательная женщина,— сказал Новицкий.

— Это он ее так забил? — спросил я, думая про Лохова.

— Вовсе нет; с чего вы взяли, что она забитая? Это только с виду так кажется; она не забитая.

— Она, верно, не с ним живет?

— Нет, когда он был на свободе, они жили вместе, и теперь она помогает ему в остроге. Вот не надо ли вам переписчицу — вы хотели издавать записки?

— А разве она переписчица?

— И переводчица и гувернантка. Покупает книги, занимается ботаникой и перебивается с хлеба на квас. Я думаю, никогда и не обедает: так, чаек с булочкой, да и будет. Однако пойдемте; кажется, уж у нас профессор.

Действительно, когда мы пришли, профессор уже входил на кафедру. Это был молодой человек высокого роста, очень красивой наружности, изысканно одетый. Безукоризненная рубашка с плойкой, украшенная тонким, как червячок, черным галстучком, была застегнута золотыми пуговками. На открытом жилете красовалась новомодная часовая цепь с широкими кольцами, сапоги блестели, как зеркало, и весь он блестел особенной, щеголеватой элегантностью. Взойдя на кафедру, он навалился на нее и небрежно, слегка свесил к нам голову. Звучный гортанный голос отдавался по всей аудитории той тресковатостью, какая слышна, когда щепают лучину.

В моих ушах до сих пор слышится его речь, пересыпанная всякими цитатами из регламентов, указов, манифестов и летописей. Он читал веселые лекции, и его аудитория всегда была полна слушателями — «бить батоги нещадно»,— отчеканивал он — и мы хохотали. «Мучился Шишков на колу и пел псалмы. Курбский прибавляет, обращаясь к царю: *тебя было, пса, на этакой вострой престол посадить альта припевать.* Надо думать, Шишков пел басом»,— серьезно говорил он — и мы хохотали. Лекция прошла очень весело. Когда я начал соображать, в чем она состояла, в голове моей почему-то вылез образ Якова Степановича, рассказывающего забавный анекдот о Баркове[1]. В лекции не было никакой связи, хотя профессор заявил вначале, что намерен разделить историю русского законодательства на периоды, но о периодах он не сказал ни слова. Цитируя для смеха Котошихина[2], как Иван Грозный своего сына «осном своим в гроб пре-

---

[1] Барков Иван Семенович или Степанович (ок. 1731—1768) — поэт и переводчик, был известен своими скабрезными стихотворениями.

[2] Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — подьячий Посольского приказа, автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича».

твори», он переходил к петровской дубине, ни с того ни с сего рассказывал анекдот о князе-папе, припоминал, по поводу пьянства последнего, изречение Владимира Красного Солнышка: «Руси есть веселие пити», и обращался к временам начала Руси. «Мины под фортецию правды подводит»,— припомнились мне слова студента о Фиалковском, и мне эта фраза, взятая тоже из указа Петра Первого, показалась очень меткой.

— Отличный профессор! — с восторгом сказал Малинин. Мы шли в это время по коридору.

— Яков Степаныч,— раздражительно поправил я.— Скоро будет рассказывать анекдоты о Баркове.

— Ну, уж ты!..— выразил свое неудовольствие Малинин.

— Вот невинная душа,— похвалил его Новицкий.— Помнишь что-нибудь из лекции? Шишков басом пел? а?

— Не только это, а все! — с твердостью отвечал Малинин.

— И фендриков помнишь? Умник.

— Ну, что, как у вас? — весело подошел к нам Андрей.— У нас химию Штокгауер отлично читает.

— Два фокуса показал,— добавил чей-то неуклюжий голос сзади Андрея.

Оказалось, что голос этот принадлежал семинаристу — оппоненту Андрея. Он был небольшой сухощавый человек с арбузной головой, перерезанной почти пополам широчайшим ртом, который он, по-видимому, очень заботился держать закрытым, потому что, разинув свою пасть, чтобы сказать фразу, он тотчас же стукал челюстью и наглухо сжимал губы, которые были так тонки, что от закрытого рта оставался на арбузной голове только небольшой красноватый шрам.

— Послушайте, что вы ко мне привязались? — шутя сказал ему Андрей.

Рот семинариста был плотно закрыт, и он не отвечал ничего.

— У вас были дамы? — спросил Малинин у Андрея.

— Одна, зато целых два генерала и один юнкер.

— Шалопаи! — проговорил семинарист, спеша закрыть свой рот.

— Почему же?

— Я не скажу: не хочу спорить.

— Никогда не спорь; скорее будешь титулярным советником,— посоветовал Новицкий.

— У нас больше ничего нет, я пойду домой,— сказал Андрей.— Monsieur Крестоцветов, пойдемте ко мне завтракать,— обратился он к семинаристу.

— И я пойду с вами: что-то есть хочется,— лениво потягиваясь, проговорил Новицкий.

— А третья лекция? — остановил я его.

— Ну ее! эту дребедень можно и дома узнать... Сегодня, для первого дня, вероятно, поверки шинелей не будет...

Для Новицкого и Крестоцветова, как и для всех стипендиатов, существовала очень неприятная поверка шинелей, производимая одним усердным субинспектором, и для них очень важно было присутствовать в университете со своим верхним платьем, так как стипендиата, не явившегося десять раз в течение месяца, лишали стипендии. Впоследствии, когда бесполезная затрата времени на слушание лекций сделалась особенно обременительной, многие изобретательные люди нашли возможным вполне заменять себя верхним платьем, и сговорчивый Малинин, всегда посещавший лекции с большей аккуратностью, часто носил в университет по пяти фуражек, чтобы вывесить их там на нумера отсутствующих товарищей, вводя, таким образом, в большое заблуждение бдительного субинспектора.

Оставшись один с Малининым, я воротился в аудиторию и сел там в углу. Какое-то тяжелое недоумение угнетало меня, и все мои попытки рассеять его были тщетны; наконец я просто решил, что у меня сегодня расстроены нервы и я воспринимаю впечатления не так, как следует. Я постарался раздуть свое внимание и приготовился как можно сосредоточеннее слушать вошедшего профессора. Это был едва двигавшийся от дряхлости желтый старик, утонувший своей маленькой головкой в огромном, туго накрахмаленном жабо. Он шамкал так тихо, что я едва расслышал половину говоренного, хотя сидел довольно близко к кафедре. Говорилось о Бэконе Веруламском, и профессор делал столько ошибок, что становилось жаль, зачем он не просмотрел перед лекцией хоть какого-нибудь нового учебника по истории литературы. Я очень мало читал по предмету, о котором говорилось, но и мне отжившие понятия старика казались ка-

ким-то смешным, ничтожным лепетом ребенка, рассуждающего о политике.

Я возвращался домой из храма науки в самом неприятном расположении духа. Не знаю, потому ли, что я ожидал встретить настоящий храм, университет произвел на меня точь-в-точь такое же впечатление, как «Битва русских с кабардинцами» — роман, над которым плакал в гимназии палач Жилинский и разыскивая который я обходил все книжные лавки, имевшиеся в городе. Купив книгу, я приступил к ней, как к причастью, и — о, разочарование! — так озлобился, что бросил книгой в невинного Малинина, поинтересовавшегося узнать, что я читаю. Возвращаясь из университета под влиянием самого тяжелого разочарования, я и теперь поступил с Малининым немного деликатнее, чем прежде, назвавши его глупцом за то только, что он спросил, не забыл ли я свою тетрадь. Я ее бросил в аудитории вместе с карандашом.

Бедный Малинин, видя, что я не в духе, поспешил проститься со мной у какого-то трактира, куда пошел обедать, и я воротился домой один. В коридоре меня встретил Савелий и конфиденциально сообщил, что у Андрея гости.

— Сенька-то, Сенька — так ящиками пиво и таскает! — с сокрушением добавил он. Вообще этот верный слуга, считавший меня барином, а Андрея — баричем, себя — дворецким, а Сеньку — казачком, ненавидел последнего до мозга костей и употреблял все усилия, чтобы всячески напакостить своему легкомысленному врагу, являвшемуся некоторым образом представителем молодого лакейского поколения, столь ненавистного старой дворовой прислуге.

Когда я вошел в свою комнату, за дверями, у брата, шел громкий спор: Андрей и Крестоцветов не давали друг другу говорить.

— Все это чепуха, и англичане чепуха,— слышался голос Крестоцветова.

— Отчего же на севере не было такого рабства, как на юге? — кричал Андрей.

— И на севере было рабство,— вмешивался голос Стульцева.

Я вошел в комнату Андрея; там было ужасно накурено; у дверей стояла корзина с пустыми бутылками. Новицкий сидел с ногами на двух стульях и курил сигару;

Стульцев лежал на кушетке; Андрей с жаром ходил по комнате, подскакивая по временам к Крестоцветову, сидевшему на подоконнике, свесив ноги, которыми он болтал для развлечения.

Новицкий немного покраснел уже от пива и весело сказал мне, что тут разыгрывается в лицах басня о трех мужиках и что он очень вошел в роль того благоразумного человека, который, не вступая в бесполезные споры, предпочитает заботиться о своем желудке.

— Два мужика спорят, а третий пьет,— смеясь сказал он, выпивая стакан пива.

Мне хотелось чем-нибудь разъяснить свои недоумения, и я решился пощупать Новицкого, как он думает об университете. Не вступая ни в какие умные разговоры, он вообще редко высказывал о чем-нибудь свои мнения, но веселость, внушенная ему выпитым пивом, подавала мне надежду на успех.

— Как вам нравится университет? — спросил я, чокаясь с ним стаканами.

— Да как вам сказать? ничего...

— Знаете, я, пожалуй, согласен с monsieur Крестоцветовым, что в нашем университете немногому научишься. Как вы думаете?

— Я, право, ничего не думаю, а просто буду получать по двадцать три рубля в месяц и буду ходить в университет до тех пор, пока не представится возможности получать больше.

— Но если б вы не получили стипендии, вы не ходили бы в университет?

— Не знаю, как бы нашел выгоднее. Университет отправляет на казенный счет за границу и удостоивает звания профессора с жалованьем в три тысячи рублей в год... Но, впрочем, все это пустяки; не подумайте, что я мечу в профессора.

— Какой пошлый материализм! — проворчал Стульцев на своей кушетке.

— Скажи, пожалуйста, Стульцев, я давно тебя хотел спросить: верно, тебя в детстве сильно били палкой по голове? — спросил Новицкий.

— Ну! Зачем? Никто не бил.

— Отчего же ты так глуп?

Стульцев, не найдя нужным отвечать на этот вопрос праздного любопытства, отворотил от нашего стола свою

поганую бороденку и начал слушать спорящих. Новицкий вскоре встал и ушел в залу, где хохотали и шумели Лиза, Леночка и офицер — буровский племянник; так как Новицкий тоже был в веселом расположении духа, то с его появлением хохот еще более увеличился, началась возня и беганье по всем комнатам, чего я вообще терпеть не мог. Можно было уйти в свою комнату и заняться чем-нибудь вдали от шума, но на этот раз за стеной тянулся спор о преимуществах вольнонаемного труда перед обязательным; брат ругал Тенгоборского[1]; Крестоцветов, не защищая последнего, находил, что труд того и другого рода различаются только по названию. Читать под музыку этого спора не было никакой возможности, и я надел пальто, чтобы успокоиться как-нибудь на чистом воздухе, но меня увидал Стульцев и навязался идти гулять вместе. Дорогой он начал мне рассказывать какую-то сплетню про Новицкого, уверяя, что тот еще в семинарии судился за растление невинной девушки. Я его не слушал и был очень рад, когда он расстался со мной у одного дома, объявив, что тут живет его любовница, какая-то образованная женщина, знающая ботанику не хуже его самого, Стульцева.

Идя без всякой цели вперед по улице, я как-то незаметно дошел до дому Шрамов. «Не зайти ли? — мелькнуло у меня в голове,— узнаю, как понравился университет Володе, и кстати посмотрю эту стыдливую институточку Анниньку».

Когда я вошел и снимал пальто, меня увидела горничная Катерины Григорьевны и сказала, что Владимир Александрович и все уехали куда-то, а дома осталась одна барышня, да и у той болят зубы. Ожидая политического разговора с Ольгой, я уже начал раскаиваться, что пришел, но уйти назад было неловко.

Комнаты были пусты; на террасе белелось чье-то платье, и я пошел туда. Там сидела Аннинька и о чем-то думала над раскрытой книгой.

Встретив ее вместо Ольги, я был больше чем приятно изумлен; у меня в груди ударилось сердце и дрогнуло под коленками.

---

[1] Тенгоборский Людвиг Валерианович (1793—1857) — экономист и статистик; вероятно, речь идет о его книге «О производительных силах России».

— Вы одне? — сказал я больше для того, чтобы сказать что-нибудь.

Аннинька отвечала мне не вдруг. Она была заметно смущена моим приходом, и краска широкой волной покрыла ее лицо. Она закрыла книгу и слегка оттолкнула ее от себя.

— У вас болят зубы? — с участием спросил я.

— Нет, не особенно. Мне не хотелось ехать сегодня.

Между нами началось самое неловкое молчание. У меня билось сердце от страсти, которая овладела всем моим существом и которую я не мог подавить. Впрочем, не знаю, пробовал ли я в то время подавить ее. Я думал, как бы поумнее выйти из затруднительного молчания.

— Что вы читали? — наконец спросил я, чувствуя, что глупее и несвоевременнее этого вопроса ничего не может быть. Я взял книгу и развернул ее. Это были стихотворения Баратынского.— Как вам нравится?

— Ничего. Вы читали?

— Читал.

Опять воцарилось глупое молчание. Я чувствовал, что краснею не меньше Анниньки, мной овладела какая-то пронзительная холодная дрожь, и я поднялся с места с отчаянною решимостью покончить чем-нибудь наши взаимные томления.

— Пройдемтесь, Аннинька, здесь что-то как будто жарко, — с большой неловкостью сказал я.

— Пойдемте.

Она быстро подала мне свою дрожавшую горячую руку. Мы пошли по дрянному шрамовскому садику, точно разрисованному на земле; деревьев совсем не было, так что две мыши, объясняющиеся в любви, были бы видны в нем за версту. Я шел и проклинал себя, не будучи в состоянии совладеть с какой-то бессмысленной нерешительностью, мешавшей мне свободно говорить и действовать. Между тем от волнения или от чего другого Аннинька тяжело повисла на моей руке.

— Аннинька, любите вы меня? — едва выговорил я, прижимая ее руку к своим губам. Она порывисто выхватила ее у меня, крепко обняла мою шею, и мы начали лихорадочно целоваться с какой-то дикой радостью, с каким-то упоением, сжигавшим нас обоих.

— Пойдем в беседку,—едва слышно прошептала Аннинька, прижимая свое пылавшее лицо к моей щеке.

Это было очень кстати, так как нас давно могли заметить. Мы бегом побежали в беседку.

Сумасшедшие полчаса, проведенные там, я никогда не забуду. Анниька плакала, смеялась, целовала меня, но ничего не говорила. Всякие слова опошлили бы нашу восторженность, и как только я заговорил, мы тотчас же отрезвились.

— Поправь волосы,— улыбаясь и целуя Анниньку, сказал я.

— Никому не говори! — прошептала она и закрыла лицо руками.

— Разве такие вещи рассказывают!

Я засмеялся и начал целовать ей лицо и руки. Она вся дрожала и горела, как загнанная горячая лошадь; ноздри ее широко раздувались, и она дышала очень неровно.

— Пойдем поскорее назад; пожалуй, заметят,— со страхом прошептала она.— Впрочем, пусть заметят! О мой милый!

Анниька крепко сжала меня и впилась губами в мою щеку.

— Не беспокойся, никто не заметит,— сказал я, погладив ее по волосам.

— Пойдем в разные стороны, как будто мы были не вместе,— металась Анниька, решительно не понимая, что она делает и говорит.

— Что за нелепость! Пойдем вместе!

Анниька еще раз обняла меня и крепко прижалась ко мне своей грудью.

— Прощай... завтра я буду у вас,— прошептала она.

— Приходи в университет. Я там буду вместе с сестрой, и пройдешь к нам.

— Хорошо,— проговорила Анниька и бросилась было бежать.

Мне стоило большого труда успокоить ее и возвратить ей память, которую она, кажется, совсем потеряла, запутавшись в чрезвычайных волнениях, потрясавших все ее чувства. Я ее оставил дрожавшую, изнеможенную и почти больную.

Я воротился домой в очень довольном настроении духа; в сердце у меня лежало тайное сокровище, которым я один только мог любоваться. Крестоцветова уже не было; брат ходил один по комнате и свистал. Я почему-то

не мог удержаться, чтобы, против всякого обыкновения, не пойти к нему и не вступить с ним в какой-нибудь разговор. Я понимал, что это очень глупо, но радость, сидевшая в моей груди, толкала меня; я пошел и немедленно затеял с ним бесконечный спор о значении университетов. Я, как пьяный, сделался весел и болтлив, так что за обедом, когда длился еще наш спор с братом, Новицкий заметил ненормальное настроение моего духа.

— Что это с вами сегодня? — спросил он.— Не уведомил ли вас Савушка, что все коровы отелились в один день?

Это замечание очень смутило меня; я даже не нашелся, что ответить Новицкому. Я уже давно гордился сознанием, что вполне умею владеть собой, и очень заботился иметь ровный, ничем не возмутимый характер истинного джентльмена; мне теперь было очень досадно, что глупенькая радость влюбленного нарушила обыкновенное расположение моего духа. Впрочем, я скоро овладел собой, прекратил спор с Андреем, объявив, что все это пустяки, и слегка заметив, что я совершенно напрасно выпил утром два стакана пива.

На другой день мы отправились с Лизой в университет и как раз попали на лекцию профессора Слепцова, бывшего в некотором роде притчей во языцех не только для всего университета, но чуть ли не для всей России. Он читал политическую экономию, и имя его как автора безобразнейшего руководства сделалось уже давно очень оскорбительным ругательством в литературе. Прежде студенты устраивали на его лекциях безобразные скандалы, свистали и кидали даже в него паренками, но раз, во время одной чрезвычайно бурной сцены со свистками и пареной репой, он поднял кверху руки и отчаянно закричал: «Господа, вы хотите, чтобы я ушел,— я остаюсь без куска хлеба, но повинуюсь вам — ухожу. Все ли вы желаете, чтобы я ушел?»

Все молчали. Никто не хотел первым занести руку на профессорский кусок хлеба.

— Мы желаем, чтобы вы удалились,— сказал чей-то одинокий голос.

— Неправда. Мы желаем, чтобы вы остались. Оставайтесь! Оставайтесь!

— Я повинуюсь, господа,— я остаюсь,— почтительно ответил Слепцов и с тех пор начал не только с кафедры

высказывать комплименты молодому поколению, но даже в коридоре здороваться со студентами за руки и говорить им всякие любезности с самой заискивающей улыбкой. За это его все терпели и равнодушно слушали этого Фальстава[1] на кафедре, рассказывающего со своей сальной улыбкой похвальные речи молодой России.

Придя в университет, я долго смотрел, нет ли Шрамов, и, поверив Лизу попечениям Малинина, обегал все аудитории и коридоры, но их не было. Мне стало досадно, что Аннинька не поторопилась, и я всю слепцовскую лекцию пробеспокоился, думая о ней. Малинин, сидевший подле меня, тоже, по-видимому, не очень был занят политической экономией; по крайней мере сестра, среди всеобщей тишины, вынуждена была довольно громко заметить ему: «Зачем вы давите мою ногу?» К счастью, это восклицание заглушила громкая фраза профессора: «Вперед! Собирайте жатву, которую мы посеяли в поте лица своего!»

После лекции, выходя вслед за толпой слушателей из аудитории, я прямо наткнулся на Ольгу, Володю и Анниньку, стоявших в углу. Аннинька была красна, как пион, и, когда я подошел к ней, она окончательно растерялась, зажмурила от стыда глаза и, казалось, готова была расплакаться.

— Вы здесь? — сказал я, здороваясь с ней.

— Здесь,— прошептала Аннинька, таинственно пожимая мою руку. Она краснела, бледнела, дрожала и вообще вела себя так, что я опасался каждую минуту: вот заметит Ольга, и пойдет вселенский хохот над нашими голубиными нежностями.

Я чувствовал себя немного неловко и, не зная, что сказать, зевнул.

— Что вы зеваете? Слепцов, кажется, в вашем вкусе,— сказала Ольга.

— Да, он хорошо читает.

— Вот ваш брат восхищается Слепцовым,— сказала Ольга Андрею, который в это время тоже подошел к нам.— Вы кем восхищаетесь?

— Никем, кроме вас.

---

[1] Фальстав, или Фальстаф,— комический персонаж исторической хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские кумушки» В. Шекспира; обжора, пьяница, хвастун и обманщик.

Андрей, всегда пикировавшийся с Ольгой, никогда не лазил в карман за словом, и разговор грозил принять очень неприятный характер; Ольга уже передернула своими костлявыми плечами, приготовляясь что-то ответить, когда Новицкий слегка толкнул брата под локоть.

— Вон идет! — торжественно сказал он. По коридору шел Оверин. Одна штанина была запрятана у него в желтое голенище, другая оправлена по-человечески, но он не замечал этой возмутительной дисгармонии. Его сюртук, сшитый из тончайшего английского сукна, был уже значительно перепачкан в мелу, что, при отсутствии галстуха, придавало ему большое сходство с пьяным маляром.

Ольга схватила его за руку и привела к нам.

— Ну! — вздохнул Оверин, перездоровавшись со всеми нами, как будто он кончил наконец очень утомительную дорогу.

— Куда вы это шли? — спросила его Ольга.

— Домой.

— Там вас сапожник ждет, вероятно? — прищуриваясь, спросил Володя.

— Ты, брат, что-то совсем того...— с участием сказал Малинин, вытирая своим платком пятна на сюртуке Оверина.

— Что же вы не слушаете лекций? — спросила Ольга, дергая Оверина за рукав, чтобы обратить на себя его внимание.

— Оставь же! Ну, что ты там? — недовольно откачнулся Оверин от чистившего его Малинина.

— Ты, кажется, как будто нездоров,— сказал Малинин, продолжая хлопать платком по оверинскому сюртуку.

Оверин отворотился от него с видом человека, которому неприятно, что его чистят, но который снисходит к слабостям своих чистоплотных друзей и безропотно покоряется своей горькой участи.

— Отчего вы не слушаете лекций? — переспросила Ольга, тормоша Оверина за рукав.

— Все знакомое, скучно! — невнимательно ответил он, озираясь во все стороны, как бы поудобнее ускользнуть от нас восвояси.

— Скажите, пожалуйста, вы теперь одним хлебом питаетесь? — спросил Володя, небрежно поправляя свои очки.

— Нет, теперь у меня есть колбасы... До свиданья.

— Нет, подождите,— Ольга взяла его за обе руки.— Поговоримте с нами.

— Не о чем. Позвольте... До свиданья.

Оверин потерялся, как волк, попавший в яму, и дико озирался кругом, не зная, что ему делать.

— Поговоримте. Какие вы колбасы больше любите? — приставала Ольга.

— Я ем всякие.

— Любите вы сыр?

— Нет. До свиданья.

— Постойте.

В это время Оверину пришла, по-видимому, гениальная мысль. Он сжал изо всей силы руки Ольги, так что та закричала, пробормотал: «До свиданья» — и пошел со своей желтой голенищей.

— Пошел, пошел! — скорбно проговорил Малинин и бросился поправлять Оверину штанину, но так как последний не останавливался и Малинин должен был работать на ходу, то произошло значительное замешательство, при котором чуть-чуть не сбили с ног профессора Слепцова, бежавшего куда-то вперед брюхом, со своей заискивающей, сладкой улыбкой.

— Жаль, что он совсем тебе не раздавил руки,— сказала Лиза.— Человек занят делом, а ты к нему привязалась с сыром.

— Прибереги свои наставления для себя: ты в них очень нуждаешься,— гордо ответила Ольга.

— У меня что-то болит голова, я бы пошла домой,— тихо проговорила Аннинька, до неприличия выразительно глядя на меня. К счастию, в это время все смеялись по поводу какого-то замечания Андрея насчет проходившего мимо субинспектора, и никто не заметил, как смотрела на меня Аннинька, тихонько прикасаясь к моей руке своими пальцами.

— Если вы пойдете к нам, я вас, пожалуй, провожу, Анна Петровна,— сказал я, давая энергическим жестом понять Анниньке всю несообразность ее поведения. Но, вместо того чтоб ободриться, она, видя, что я чем-то недоволен, еще больше покраснела и едва пробормотала: «Будьте добры».

Само собой разумеется, как только мы вышли, разговор пошел о том, что при посторонних неприлично по-

стоянно краснеть и бросать такие взгляды, какие она бросала на меня в университете.

— Что же мне делать, когда я не могу. Я тебя люблю,— проговорила Аннинька с таким выражением страсти, что я поопасался, не кинулась бы она целовать меня на улице. Она крепко прижалась ко мне и ломала мои пальцы в своей руке.

— Но ведь ты сама себя выдаешь. Узнают — нас поднимут на смех.

— Пусть. Все равно когда-нибудь узнают. Пусть смеются, если хотят...— Эти слова Аннинька не выговорила, а выдохнула, почти до боли сжимая мою руку.

— Но зачем же выставлять себя на позорище, если можно обойтись без этого?

— Мне все равно,— сказала Аннинька с такой энергией, какой я не подозревал в ней. Она крепко стиснула зубы и сладострастным шепотом прибавила: — Знаешь, мне бы хотелось, чтобы меня преследовали, мучили, били за то, что я тебя люблю...

Я хотел было заметить, что такое желание несколько странно, но, взглянув на Анниньку, глаза которой горели, как у кошки, зубы были стиснуты, ноздри раздуты,— я понял, что лучше молчать.

Когда мы пришли домой, Аннинька, среди бешеных поцелуев, с горящими глазами, с раскрасневшимся лицом, вдруг остановилась и спросила меня:

— Знаешь, за что я тебя люблю?

— За что?

— За то, что ты меня не любишь!

— Нет, я люблю.

— Нет, ты не можешь никого любить. У тебя нет души.

— Дичь какая!

— Правда, правда! Если б ты был влюблен, я бы и не посмотрела на тебя. Это обыкновенно. А вот рыба — хороша, холодная рыба!..

Аннинька впилась в мою шею — и я просто думал, что она укусит меня. Она с такой силой и энергией тормошила и жала меня, что надо было удивляться, откуда берется столько тигровой страсти в слабом, женственном теле всегда красневшей, невинной институтки.

— Только ты, пожалуйста, веди себя лучше при посторонних,— резонно говорил я, и моя рассудительность еще больше пришпоривала ее безумие.

— Будем вести себя лучше! — задыхаясь от страсти, шептала она и впивалась в меня губами и руками.

Но мне пришлось ждать довольно долго, пока Аннинька действительно начала вести себя лучше при посторонних, освоившись наконец с чрезвычайным счастьем иметь настоящего любовника-мужчину, которого она может обнимать и целовать сколько ей угодно. До тех же пор, пока у нас все не успокоилось и не убродилось, наши отношения не были замечены разве потому только, что все очень были заняты судьбами России и близким освобождением крестьян. Впрочем, Аннинька все-таки посвятила в нашу тайну Андрея, совершив для этого очень оскорбительную глупость. Она как-то кинулась мне на шею при брате и, расточая поцелуи, проговорила: «Андрюша! посмотри — я люблю его, люблю!».

IV

ОЛЬГА ИЩЕТ СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Ходить в университет затем, чтобы слушать комплименты Слепцова, балаганные выходки Фиалковского или допотопные метафизические бредни Герца, мне надоело через неделю, и я начал вести прежний образ жизни, с той только разницей, что реже стал выходить из своей комнаты и занимался серьезнее, чем занимался летом. Новицкий, знавший лучше меня немецкий язык, очень помогал мне в моих занятиях немецкими юристами, которых я читал тогда с лексиконом. Время проходило незаметно, и скоро настала зима. Наши дамы давно уже перестали бредить университетом, и даже Лиза смеялась над профессорами. Они придумали себе очень любопытное занятие. Успенским постом Фиалковский читал публичные лекции об исправительных мерах для малолетних преступников (в то время всякие чтения, лекции, диспуты и вообще все, где можно было сделать шум, наше общество очень любило), и Катерина Григорьевна вбила себе в голову, что в Р. необходимо основать исправительную школу на манер абердинского приюта[1]. Для

[1] Абердинский приют — приют в городе Абердине (Англия), где воспитывались и обучались дети бедняков; основан в 1729 году.

этой цели было основано особое общество, проект устава которого, написанный Володей, представлен был на усмотрение начальства, и, в ожидании утверждения устава, открыта в пустом загородном доме Бурова школа, где Лиза и Ольга с особенным рвением начали шпиговать мальчишек всякими науками, давая им за дневные страдания слишком слабое вознаграждение в виде скромного обеда из щей и каши. Об этом благом деле Володя написал корреспонденцию в «Петербургские ведомости», где, без излишней скромности, отдал должную дань похвалы себе и Катерине Григорьевне как людям, тоже некоторым образом ведущим Россию по пути прогресса.

Из всех нас один Малинин, аккуратный, как немецкий гомеопат, ходил в университет каждый день и извещал меня, что «сегодня ничего — Фиалковский очень недурно говорил о наказе Екатерины: все смеялись»; или: «сегодня ничего, Слепцов начал лекцию хорошо: *Стефенсон называл свой паровоз силой, Гутенберг мог назвать свою деревянную литеру еще большей силой»,* и проч.

Андрей еще раньше меня перестал ходить в университет, купил себе токарный станок и, раздумав сделаться естествоиспытателем, решился, кажется, быть токарем, потому что днем решительно не давал мне покоя шипеньем и грохотом своего станка.

Раз откуда-то он воротился домой в необычайном восторге. Вообще веселое состояние духа всегда очень невыгодно отражалось на его усах, которые Андрей крутил без всякого милосердия; в этот раз удовольствие его было так велико, что он, казалось, решительно вознамерился открутить у себя верхнюю губу.

— Чрезвычайное происшествие! — сказал он, когда мы остались с ним одни.— Я нашел такую женщину, что... словом — золото.

Андрей загадочно улыбался, очевидно дожидаясь от меня вопроса насчет «золота». Я нарочно молчал.

— Ты знаешь ее,— загадочно сказал он, стараясь раздразнить мое любопытство.

Я молчал самым коварным образом.

— Иду я по улице и догоняю крохотную женщину, в пол-аршина ростом, в огромной шляпке...

Андрей приостановился, надеясь, что достаточно поразил меня. Я догадался, что он встретил Софью Васильевну, но все-таки промолчал до тех пор, пока брат не

начал мне по порядку рассказывать про свою встречу. Он сначала принял Софью Васильевну за старуху (дело было вечером), но, увидев ее лицо, не утерпел не заговорить с ней. Она ответила ему, как уличному нахалу, очень умно и кротко, так что Андрей расчувствовался и рассыпался в извинениях. В разговоре, узнав фамилию брата, Софья Васильевна упомянула обо мне, это еще более утвердило Андрея в намерении не отставать от своей спутницы; он проводил ее до квартиры и вымолил позволение прийти когда-нибудь вместе со мной.

Софья Васильевна произвела на брата очень благоприятное впечатление; он находил, что манеры ее грациозны, как манеры сонного котенка, что голос у ней бархатный, что взгляд у нее такой мягкий и теплый, какой должен быть у ангелов и святых.

— Послушай,— сказал мне Андрей, окончив обзор прелестей Софьи Васильевны,— ты поступаешь относительно меня положительно бессовестно. Я к тебе всей душой, а ты ко мне всей пятерней. Про Анниньку ничего не говорил и теперь...

— Я не знал, что ты пристаешь к женщинам на улице,— смеясь сказал я.

— Кто же она, купеческая дочка — такая забитая?

Я рассказал Андрею все, что знал про Софью Васильевну, и это еще больше его обеспокоило. Он ушел в свою комнату и далеко за полночь все ходил и свистал, поминутно шаркая спичками, чтобы закуривать папиросы.

Утром я не успел еще встать с постели, как Андрей явился ко мне совершенно одетый в перчатках и со шляпой в руке.

Представив Андрею некоторые слабые замечания о неблаговидности нашего визита к Софье Васильевне, я начал одеваться нарочно медленнее, чтобы не выдать брату мое нетерпение увидеть нашу новую знакомую, к которой я был далеко не равнодушен.

Квартира Софьи Васильевны была от нас недалеко, именно в том самом доме (кирпичном, небеленом и очень заметном на вид), у которого как-то расстался со мной Стульцев, объявив, что здесь живет его любовница, знающая ботанику, пожалуй, не хуже его самого. Когда Андрей указал мне на этот дом, я сразу догадался, что Стульцев, говоря о любовнице, разумел Софью Васильевну, и догадка моя подтвердилась вполне, как мы только

вошли в ее комнату. Там прежде всего мы увидели Стульцева. Он сидел близ этажерки, заваленной книгами, на коленях у него лежала пачка белой бумаги, которою были переложены сушеные растения; Стульцев вертел перед носом какой-то сухой стебелек и спрашивал: «Ведь это ranunculus acris?[1] да? ranunculus acris?» Софья Васильевна сидела у чайного стола, около простывшего самовара, и с пером в руке и тетрадкой внимательно просматривала какую-то книгу. Присутствия Стульцева она, по-видимому, не замечала.

Несмотря на десятый час утра, она была одета и причесана безукоризненно, как богобоязненная старушка немка, идущая с книжечкой в церковь. Комната Софьи Васильевны, перегороженная ширмами, была как-то разумно уютна и в меру тепла, так что не было ничего, свидетельствующего о домашности хозяйки, и вместе с тем ничего, свидетельствующего о том, что тут ждут гостей. Не было видно никаких мягких, теплых, прочных и удобных вещей старосветских помещиков; не было и гардин, и тонконогих стульев, и других вещей, выставляемых на вид, чтобы гость чувствовал, что хозяин не простой человек и имеет кое-что. Нигде не было видно пыли или грязи, но книги не стояли во фронт, и для чернильницы не было отведено своего специального места, как у Малинина; каждый предмет лежал там, где случилось и откуда ближе его можно было взять, но в то же время ничего не было разбросано. Словом, комната Софьи Васильевны мне очень нравилась, и я всегда с удовольствием входил в нее.

— Мы к вам с визитом,— сказал Андрей после того, как мы втискались в дверь не без некоторого замешательства, по той причине, что отворялась всего одна половина двери, а другая была наглухо заколочена.

Хотя Софья Васильевна нас, вероятно, ожидала, но она как будто вздрогнула; взглянула на нас своим боязливым взглядом, и перо выпало из ее тоненьких пальчиков, которыми она владела с такой ловкостью, что в секунду распутывала самый спутанный моток шелку; когда она писала, у ней работали больше эти проворные пальчики, чем вся коротенькая рука.

— Вы нас не бойтесь, Софья Васильевна, если мы

---

[1] Лютик едкий (*лат.*).

порой брехаем, то никогда не кусаемся,— сказал Андрей, устанавливая свою шляпу на пол.

— Нет, нет, я не дам вам руки — вы опять будете издеваться,— смеясь сказала Софья Васильевна, отстраняясь от протянутой руки Андрея.— Вот ваш брат — другое дело.

— Он еще безнравственнее меня. Зачем у вас это чучело? — спросил Андрей, хлопнув Стульцева по плечу.

— Это не чучело, а очень услужливый человек, который, видите, собирает мне цветы.

— Ну, ну! ну, что! — закричал Стульцев, точно кот, которого ударили пальцем по носу.

— Вы, кажется, были заняты — мы вам помешали,— сказал я, предупреждая какое-то замечание Андрея относительно Стульцева.

— Нет, вовсе нет,— быстро проговорила Софья Васильевна, играя в своих проворных пальчиках ручкой стального пера и как будто стараясь скрыть некоторого рода смущение.— Хотите чаю?

— Давайте,— сказал Андрей, шаркая спичкой о спину Стульцева.— У вас можно курить?

— Можете.

Софья Васильевна встала, обдернула платье и вышла со своей больной улыбкой распорядиться насчет самовара.

— Можно шутить, но не в присутствии женщины, которая...— брюзгливо заговорил обиженный Стульцев, но возвращение Софьи Васильевны прервало его.

— Вы, кажется, серьезно занимаетесь ботаникой? — спросил я.

— Нет, когда случится.

— У нас есть сестра, которая совсем не занимается ботаникой; что, если бы вы познакомились с ней, Софья Васильевна? — сказал Андрей.

— Вы, вероятно, не шутя хотите за мной ухаживать! — кротко засмеявшись и слегка покраснев, сказала Софья Васильевна.

— Шутя или не шутя — отчего бы не ухаживать?

— Удивительно умно! — пробормотал у меня за спиной Стульцев, продолжая вертеть перед своим носом разные сушеные цветки.

— Шутя или не шутя,— вдруг серьезно, почти грустно заговорила Софья Васильевна,— а я вам вот что ска-

жу: я не боюсь сплетен, но они могут отнять у меня последнее средство существования...

— За кого же вы меня принимаете! Ведь я не Стульцев! — воскликнул Андрей.

— Пожалуйста, не употребляй моей фамилии! — во все горло закричал неожиданно взбунтовавшийся Стульцев, вероятно с намерением напугать Андрея, но, конечно, только насмешил.

— Вообще вы меня оскорбите,— заговорила Софья Васильевна, когда шум, произведенный Стульцевым, поуспокоился,— оскорбите, если не будете смотреть как на своего товарища и будете помнить, что я женщина... Вы должны забыть мой пол. Согласны? — весело спросила Софья Васильевна.

— Согласен.

— Я для вас мужчина. Помните.

— Не сделать ли, для памяти, маленького грамматического нововведения — говорить: Софья Васильевна ходил, говорил, пил? Это очень оригинально. Софья Васильевна ехал верхом на войну и курил трубку,— болтал Андрей, между тем как Софья Васильевна хлопотала около чая.

— Вы мне не беспокойтесь наливать,— с важностью сказал Стульцев, продолжавший корчить сердитую рожу.

— Не беспокоюсь: ведь вы уж пили...

— Эта скотина любит пойло,— заметил Андрей.

Софья Васильевна с легкой укоризной взглянула на него и покачала головой.

— Ну, ну! ты пожалуйста...— угрожающе проворчал Стульцев.

Во время этого разговора я встал и подошел к окну. Там к обоям была приколота булавкой страничка бумаги — расписание Софьи Васильевны. В нем значилось: «*Понедельник* — с утра до 10-ти часов свободное время, с 10-ти до 12½ — ботаника; с 12-ти до 3-х часов — урок у Абрамовых» и проч. Я посмотрел среду: «До 11-ти часов частная работа, а если нет — переводы и извлечения. С 11-ти часов до обеда — русские журналы. Обед. С 2-х до 4-х часов урок Феде. С 4-х до 5-ти — у отца. С 5-ти до 8-ми часов — в библиотеке. Чай и свободное время до 10-ти часов. С 10-ти до 12-ти часов переписка, раскрашивание, а если нет работы, то шитье и вообще починка белья и других старых вещей».

Софья Васильевна, кончив побрякиванье чайными ложками и стаканами, повернулась ко мне и очень смутилась, увидев, что я читаю ее расписание. Она как-то съежилась и посмотрела на меня своим просящим извинения взглядом.

— Это не хорошо,— тихо проговорила она.

— Извините. Но этого вовсе не следует стыдиться: напротив, следует гордиться такой деловой аккуратностью,— сказал я.— Только у вас тут, кажется, есть ошибки.

— Грамматические?

— О, вовсе нет. Например, сегодня днем вы гуляете, а вечером, при огне, назначаете портить себе глаза, переписывая и раскрашивая что-то.

— Неужели вы, кроме уроков, берете еще переписку и раскрашиваете политипажи?[1]— спросил Андрей, подходя к расписанию.

— Да. Это очень веселая работа, если ею заниматься изредка

— Позвольте списать, когда у вас свободное время,— насмешливо сказал Андрей,— а то как-нибудь зайдешь к вам и наткнешься на переводы или починку чулков.

— Вам смешно? — своим беззащитным тоном сказала Софья Васильевна.— Нет, вы лучше объясните, почему вам это кажется глупо?

Андрей сделал серьезную физиономию, что к нему вообще очень не шло.

— Как-то странно так распределять свое время,— сказал он.— Представьте, что вы читаете очень интересную статью в русском журнале — вам остается дочитать всего две странички, самые любопытные, но бьют часы, и вы должны бросить книгу, может быть, на половине фразы.

— Зачем же? это гипербола. Я дочитаю две страницы и начну обедать десятью минутами позже.

По поводу расписания загорелся спор, в котором принял участие и Стульцев, оставив сушеные цветки и начав врать, что его добрый знакомый, Иван Сергеич Тургенев, тоже имеет расписание и что у Шиллера было такое расписание, вследствие которого он, написавши страницу, ставил ноги в теплую воду и выпивал бутылку вина.

---

[1] Политипаж — старинное название гравюры на дереве в книге.

— По этому расписанию после двенадцатой страницы следовало падать под стол, и он всегда исполнял это с большой аккуратностью,— вскользь заметил Андрей, обращаясь опять к Софье Васильевне с какими-то резонами относительно того, что ригоризм[1] в русском переводе значит самоуродование.

— Однако уж десять минут двенадцатого,— сказал я.— Софье Васильевне пора бы сидеть за журналами.

— Вот видите, какой мой ригоризм,— мягко сказала Софья Васильевна.

Я встал и начал раскланиваться; то же сделал и Андрей, продолжая подшучивать над необходимостью со стороны Софьи Васильевны прекратить приятную беседу с нами и обратиться к русским журналам.

— Мы его возьмем с собой,— сказал Андрей, толкая Стульцева.— Это — дрянной журнал — «Пустозвон»[2] (журнал с таким названием находился, несколько времени назад, в Петербурге),— им не стоит заниматься.

— Вы позволите нам когда-нибудь зайти к вам еще? — спросил я.

— Когда-нибудь в *свободное время?* — добавил Андрей.

— Можете даже в *переводы и штопанье чулок,*— с улыбкой, провожая нас, сказала Софья Васильевна.

Когда мы вышли, Стульцев скорчил очень серьезную рожу и, царапаясь ногтями в своей бороденке, что означало затруднительное состояние его интеллекта, сказал брату:

— Я имею с женщиной связь уж другой год, и ты вдруг приходишь...

— Чего приходишь? — спросил Андрей, вероятно, недослышав начала стульцевской фразы.

— Он находится с ней в связи,— подсказал я.

— Ах ты, свиное рыло!

— Ну, ну — что ж тут удивительного! — самодовольно улыбаясь, подивился Стульцев.

— И давно? — спросил Андрей.

— Скоро два года.

— Хорошо. Я с тобой разделаюсь.

---

[1] Ригоризм — строгое соблюдение каких-либо принципов (от лат. *rigos* — строгость).

[2] «Пустозвон» — журнал, выходивший в Петербурге в 1858 году.

— Вы, Стульцев, к нам пойдете?— спросил я в полной уверенности, что брат не замедлит сегодня же исполнить свое обещание относительно разделки, если Стульцев не поопасается идти к нам.

Оказалось, что Стульцев, не подозревая явной опасности, не только пришел к нам, но спокойно отправился, по приглашению Андрея, в его комнату, и через три минуты, когда я, поговоривши о каких-то пустяках с Аннинькой, проходил к себе, Савелий с глубоким сокрушением известил меня: «Привели гостя; барич держит пистолет, а Сенька бреет».

— Как бреет?

— Тот на кровати лежит, а они ему бреют бороду.

Стульцев был очень высокого мнения о своей дрянной бороденке и очень дорожил ею. Вообразив его отчаянное положение между пистолетом и бритвой, я не мог не рассмеяться и прошел к себе, вовсе не думая помешать Андрею привести его пакость к вожделенному концу. Она, впрочем, была уже почти окончена, и Стульцев скоро появился в зале, поглаживая выбритые места и объясняя, что ему надоела борода, а потому он сбрил ее.

— Зачем же вы оставили этот клок? — спросила Лиза, не стараясь удерживаться от душившего ее смеха.

— Так,— небрежно отвечал Стульцев, поглаживая пребезобразнейший клок волос, оставленный под подбородком и придававший ему, в особенности в сумерки, такой вид, как будто у него что-то стекает с бороды.

— Сбрили бы и этот козлиный клок,— заметил я.

— Если сбреет, он погубит и себя и меня,— объявил Андрей.

— Ну! зачем же сбривать! — пробормотал Стульцев, толкая в бок Андрея, чтобы тот замолчал.

Натешившись вдоволь над Стульцевым, Лиза и Аннинька начали собираться в школу, и Андрей неожиданно вспомнил, что мы с ним тоже члены просвещенного общества для распространения грамотности в беднейшем классе жителей города Р.

— Сходим, пожалуйста, посмотрим, что они там делают,— предложил мне Андрей.

Мы ни разу не бывали в пресловутой школе, и обозрение ее обещало быть любопытным. Стульцев, получив от Андрея второе предостережение не сбривать клока, очень кстати начал прощаться. Он вышел вместе с нами и скоро

расстался, пробормотав, что идет в университетский музеум, куда его приглашали осмотреть какого-то недавно привезенного мастодонта — родоначальника фамилии Стульцевых, как предположил Андрей.

Школа помещалась довольно далеко, почти около гимназии, в старом доме Буровых, который в древние времена считался загородным. В нижнем этаже помещалась кухня, где кормили приходящих ребятишек, а вверху происходило самое обучение. Когда мы взошли на крыльцо, там сидело и стояло до полдюжины мальчишек и девчонок разного возраста: были даже такие, которые очень нетвердо держались на двух ногах и имели большое стремление поползать на четвереньках.

Андрей, поднявшись на крыльцо, увидал большущий колокол, висевший на матице, и не утерпел, чтобы не попробовать, громко ли он звонит.

— Ну, что ты? — с неудовольствием сказала сестра, но уже мальчишки и девчонки, заслышав звонок, бросились к лестнице.

— Все равно,— обратилась к ним сестра,— идите в классы.

— Мы вот вас проберем сегодня! — крикнул им вслед Андрей.

— Перестань, пожалуйста, дурачиться или уйди отсюда,— сердито сказала Лиза.

Мы взошли на лестницу вслед за бежавшими ребятишками, которые очень бойко работали своими босыми ногами, улепетывая от нас. В совершенно пустой нетопленной зале, с обитой и натоптанной на полу штукатуркой, собралось довольно много ребятишек, и, снимая шубу, я как-то нечаянно натолкнулся на одну ученицу, тащившую на руках необыкновенно пузатого мальчишку. За отсутствием стульев, столов и вообще какой бы то ни было мебели, верхнее платье учеников было свалено на полу в кучу, и на эти же безобразные лохмотья мы должны были положить свои шубы.

Раздевшись, Лиза отомкнула дверь в следующую комнату, и мы пошли туда.

— Без шуму! садитесь! — крикнула Лиза, между тем как Аннинька отперла шкаф и начала выгружать из него разной величины картонки и коробочки.

В комнате было до пяти обыкновенных столов, вокруг которых на табуретах присели ученики и, в разных позах,

с разинутыми ртами, «повесили уши на гвоздь внимания». Мы с Андреем сели на подоконник и приготовились смотреть и слушать.

— Господи, что-то будет! — шепнул мне Андрей.

Лиза раздала ученикам одного стола какие-то маленькие брошюрки и, видимо желая похвастаться, заставила лучшую ученицу читать. Это был анекдот под названием «Снисходительность Потемкина», написанный для большей понятливости, как все народные издания, безграмотным, коверканным языком. Девочка бойко прочла, как однажды Потемкин не мог дозваться своих спящих слуг и сам сходил, за чем ему было нужно, с такой осторожностью, что не разбудил ни одного лакея.

— Даю тридцать копеек тому, кто понял этот анекдот! — вызвал Андрей.

Лиза с укоризной взглянула на него.

— Нет, в самом деле. Ты поняла? — спросил Андрей у читавшей девочки.

— Поняла,— потупившись, отвечала ученица.

— Что же поняла?

— Ночь,— проговорила девочка.

— Какая ночь? — возмутилась Лиза.

— Рассказ темен, как ночь,— она ничего не поняла,— пробормотал себе под нос Андрей.— Ну, кто же понял?

— Господин, я понял! — выскочил ухарский мальчишка, вероятно, быстро сообразивший, что на тридцать копеек можно купить шестьдесят гнезд бабок, а имея шестьдесят гнезд, легко обыграть весь город.

— Ну! — понукнул его Андрей.

— Лакеи не должны спать,— сказал мальчишка,— потому... потому — господа...

— Бьют их за это? — подсказал Андрей.

— Так точно,— рассмеявшись, ответил мальчишка.

— А ты понял? — спросил Андрей другого мальчика, одетого в такой сюртук, один рукав которого мог бы с излишком прикрыть все его тело.

— Понял. Они спали...

Ученик говорил очень робко. Очевидно было, что он чувствует к нам некоторое недоверие и опасается проврать ся.

— Нельзя же требовать: они еще недавно научились читать,— вступилась Лиза, сильно покраснев от досады.

— Напрасно учились,— сказал Андрей.

Лиза посыпала на него кучу самых яростных возражений, и между ними возгорелся один из нескончаемых споров. Ученики, оставшись без дела, начали зевать и ковыряли в носу от скуки, а один мальчишка залез даже под стол и с большим искусством и ловкостью привязывал к табурету ногу своего товарища, который, ничего не замечая, беспечно водил глазами по сторонам. Под шумок Аннинька тайком жала мою руку и шептала мне на ухо разные нежности.

— Что же ты их не учишь? — спросил я у нее.

— Ну их! Они голодные, бедненькие,— дожидаются билетов... Пойдем в зал,— прошептала она.

Я хотел было идти, но в соседней комнате раздались несколько звонких женских голосов: явились новые учительницы, и очень кстати, так как педагогический спор Андрея и Лизы грозил перейти в личности по поводу Песталоцци,[1] которого брат защищал всеми силами, а Лиза называла гарусным колпаком. Когда мы с Андреем помогли дамам раздеться и учительницы пошли в класс, Ольга остановила меня и что-то очень заинтересовалась моим здоровьем. Очевидно, она хотела поговорить со мной о чем-то.

— Что же вы не идете преподавать? — спросил я, чтобы сразу вызвать ее на объяснение.

— Надоело,— сказала она.— Все это, кажется, пустяки. Обязанность очень мелка, не завлекает... Хотелось бы чего-нибудь покрупнее, а обучать ребятишек могут попы и дьячки... Не так же мы в самом деле тупы, что не можем сделать для общества ничего полезнее, кроме обучения грамоте двух-трех ребятишек...

Ольга сказала мне на эту тему довольно длинное предисловие, прежде чем приступила к главному сюжету своего разговора. Испытав неудачу на исправительном приюте, она задумала послужить отечеству каким-то кооперативным обществом швей и теперь хотела посоветоваться со мной. В последнее время со мной советовались очень многие, и я, при помощи маленьких хитростей, совершенно оттеснил Володю на задний план в деле либерализма. Я давно сообразил, что наши бестолковые споры ведутся из-за петушьего первенства, и инстинктивно

---

[1] Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — выдающийся швейцарский педагог.

понял, что это ложный путь для достижения цели. Так как молчать, когда все говорят, очень оригинально, я уже своим молчанием обращал на себя некоторое внимание; но, кроме этого, я приучился говорить отрывочные резкие фразы и задавать непобедимые вопросы. Здание всего нашего либерализма было построено на песке, и потому под него нетрудно было не только подкапываться, но даже порой потрясать его до основания одной резкой фразой или вопросом. Для этой цели такие вопросы, как: *для чего это? по какой же причине? чего же вы, собственно, хотите?* и проч., были особенно драгоценны, и редкий умел ответить, *для чего* нужно освободить крестьян или *по какой причине* нам нужно приносить для них жертвы; последний же вопрос (что вы, собственно, хотите?), оставляемый всегда в запас, как тяжелая осадная артиллерия, имел поразительное действие, и я мало-помалу завоевал репутацию умного, немного циничного, но непобедимого спорщика. Моя неотразимая резкость особенно нравилась женщинам, которые, не исключая и Ольги, всегда слушали меня с большим удовольствием.

— Я знаю, что вы отнесетесь к моему предложению враждебно,— сказала мне Ольга,— но потому-то мне и интересно знать ваше мнение.

— Знаете ли,— смеясь, сказал я,— мы, право, похожи на людей, которые ни с того ни с сего начали собираться в дорогу: сложили вещи, отслужили напутственный молебен, простились с родными... запряжены лошади, как вдруг оказывается, что мы не знаем, куда ехать. Остаться, после всех приготовлений, дома — стыдно, а в путешествии нет никакой определенной цели. Вот теперь мне так и кажется, что вы, в положении подобной путешественницы, спрашиваете меня, куда лучше съездить, в Москву или Пятигорск.

— Положим, так! Мне стыдно оставаться дома,— смеясь сказала Ольга,— нужно же решить вопрос, что лучше — Москва или Пятигорск. Я предполагаю, вот что...

Ольга начала развивать мне проект швейной артели — проект, во всем подобный множеству позднейших проектов этого рода, остановившихся у нас на первых же шагах к осуществлению по той причине, что шагали не прямо ногами, а высокими ходулями, на которых ходить, как известно, очень трудно.

Без особенного труда я скоро заставил ее сознаться,

что если она будет делить заработок поровну, мастерицы будут считать ее дурой.

— Я их хитростями доведу до того, что они сами потребуют у меня того, что нужно,— улыбаясь, сказала Ольга.

— Это будет интересная партия в дураки. Они — дети, не умеющие играть, а вы — нянька, желающая потешить их выигрышем... Но нужно много хитрости, чтобы у вас не выходил розыгрыш и чтобы вы всегда оставались...

— Дурой,— досказала Ольга.

Я заметил еще, что вообще хозяин, заботящийся о том, чтобы рабочие вынудили от него прибавку жалованья, должен иметь ласковую душу быка на вывеске мясной лавки, взор которого всегда говорит: «Сделайте милость, убейте меня, сдерите шкуру, зажарьте и съешьте», и спросил Ольгу, продолжает ли она заниматься русской историей.

— Нет, я бросила,— разочарованно отвечала она.

Ольга была замечательной женщиной в том отношении, что «у ней была всегдашняя зубная боль», как охарактеризовал Андрей ее постоянное беспокойство о том, что бы из себя такое сделать и к чему бы приспособить свои таланты. Взявшись за одно дело, она тотчас же находила, что гораздо полезнее заниматься другой работой, и бросала первую. Она училась попеременно живописи, музыке, химии, математике, посвятив каждой науке именно столько времени, сколько нужно для охлаждения первого пыла. Ее комната представляла из себя какую-то лабораторию сумасшедшего. Тут торчал мольберт, валялся муштабель, висела скрипка, стояла целая корзина битых колб, пробирных цилиндриков, разных банок и склянок, был даже пистолет-монтекристо, которым Ольга училась одно время стрелять в цель. Нечего и говорить, что я без всякого удивления узнал, что она потеряла желание сделаться русским Маколеем.

Мы несколько времени молча ходили с ней по пустой зале, где под нашими ногами хрустели кусочки штукатурки, которые нам случалось на пути растаптывать. Ольга задумалась и в рассеянности, сомкнув пальцы рук, шагала, не обращая на меня никакого внимания.

— Что же мне так больно и так трудно — жду ль чего, жалею ли о чем? — задушевно продекламировала

она в забывчивости, что не одна в комнате, и почти вздрогнула, увидев, что я иду подле нее.

— В монахини бы поступить,— сказала она,— я, право, когда-нибудь выброшусь из окошка; мне хочется сделать с собой что-нибудь решительное.

Она хрустнула суставами своих пальцев. Я понял, что мне угрожает откровенный разговор.

— Так все это надоело,— продолжала она.— Вы не поверите! мне до боли иногда хочется убить кого-нибудь или себя убить. Ужасно скучно!

— Это идеализм в вас ходит.

— Нет. Я сама не знаю, впрочем, что это такое. Мне хочется чего-то чрезвычайного, и как-то все мелко вокруг... Ужасно скверно. Отравиться, утопиться — надо что-нибудь сделать такое,— с отчаянием опустив руки, проговорила Ольга.— Если б нашелся сильный человек, который протянул бы руку, я бы пошла за ним в ад...

Ольга выжидающе посмотрела на меня. Я понял, по какому, может быть и безотчетному, побуждению она затеяла этот разговор.

— Не отпустить ли ребятишек; они, я думаю, есть хотят? — поспешил сказать я.

— Да,— в изнеможении вздохнула Ольга.

Она, зажмурив глаза и стиснув зубы, тихо подошла к веревке, протянутой на крыльцо, и позвонила.

V

ВОЛОДЯ ШРАМ ВЛЮБЛЯЕТСЯ

В своих бесконечных войнах с сестрой и Ольгой брат беспрестанно начал ссылаться на Софью Васильевну, как на живой укор девицам, которые умеют только мучить невинных ребятишек, обучая их грамоте и отравляя потом щами из прокислой капусты. Лиза так заинтересовалась этим пресловутым образцом трудолюбия, что однажды, возвращаясь со мной откуда-то и встретив на улице Софью Васильевну в ее большой старомодной шляпе, почти насильно притащила к себе бедненькую гувернантку, хотя та и отговаривалась, что и не одета и не расположена теперь идти в шумное общество.

Я заметил, что Софья Васильевна, столь неприну-

жденная с нами, относилась к сестре несколько свысока, почти с презрительной снисходительностью, и мне очень не понравилось в ней это школьническое желание выказать свое превосходство. Сестра, вероятно, этого не заметила, потому что продолжала закидывать Софью Васильевну самыми любезными вопросами — и о том, какие она дает уроки, и о том, зачем она удаляется от знакомств, и не страшно ли ей жить одной. Радушие, выказанное при этом сестрой, кажется, подействовало на Софью Васильевну, и она объясняла, что привыкла жить одна и ей не страшно и не скучно.

Скоро, впрочем, Софья Васильевна опять попала на рельсы, с которых было соскочила: угнетенная улыбка заиграла на ее лице, взгляд заблестел свойственным ему ласковым покорством, и вся ее укромная фигурка приняла свой настоящий, до крайности симпатичный вид.

— Посмотрите, как вам понравится этот ситец,— сказала она, подавая Лизе сверточек, который тащила обеими руками.

— Ах, какой старушечий рисунок! Неужели вы это для себя купили?

Ситец был черный, с белыми горошинками; в таких платьях ходила наша покойная нянька Федосья, и Лиза, естественно, не могла чувствовать к этому цвету большого уважения.

— А я сколько времени искала этого ситцу и едва нашла; мне он очень нравится,— с простодушной усмешкой сказала Софья Васильевна.

— Нет, мне не нравится. Если б белый с черным горохом — еще ничего, а это что-то отжившее...

— Я очень люблю все отжившее и старомодное! Да, впрочем, на кого бы я походила, например, в казаке и круглой шляпе!

Софья Васильевна засмеялась.

Когда мы пришли домой, застали там Володю. К моему удивлению, увидев Софью Васильевну, он на секунду очень смутился, губы у него побледнели и дрогнули, но он тотчас же оправился и поспешил поздороваться с гостьей.

— Я вас, кажется, где-то видала, а, впрочем, может быть, я ошибаюсь,— сказала Софья Васильевна, знакомясь с ним. Когда она здоровалась или прощалась, то, протягивая руку, немного приседала и улыбалась, что к

ней очень шло.— А вот и обманщик! — приветствовала она Новицкого.— Где же Андрей Николаич?

Андрей Николаич не замедлил явиться, и началась болтовня, в которой особенно картинное участие старался принять Володя. Но, как всегда почти бывает, особенно усиленные старания отличиться не имели должного успеха: остроты выходили неуклюжими, и самая манера разговора отзывалась какой-то неприятной галантерейностью.

— Вы будете обедать у нас и останетесь до вечера. Да? — сказал Андрей.

— Я уж обедала.

— Софья Васильевна никогда в чужих людях не обедает,— сообщил Новицкий.

— Мы — свои,— сострил Володя.

— Разве это не показано в расписании? — спросил Андрей.

— Опять это несчастное расписание! — улыбаясь сказала Софья Васильевна.

— Действительно, расписание тут ни при чем. Софья Васильевна не будет обедать с нами потому, что боится заразиться аристократическими привычками,— пояснил Новицкий.

— И это ни при чем,— кивнув подбородком, возразила Софья Васильевна.— Я ему действительно говорила раз, что не буду есть каких бы то ни было лакомств после обеда, не буду пить за обедом никакого вина, не стану есть с чаем ничего, кроме простых сухарей.

Андрей пробормотал какой-то каламбур из слов, сухари, сухие правила, сушат тело и проч., но Софья Васильевна не слыхала его.

— И вовсе я не боюсь аристократических привычек,— тоном ласкового недовольства продолжала она,— а я боюсь всяких привычек. Я раз привыкла курить и просто страдала, когда не было табаку. Ну, я однажды рассудила, что не всегда же в жизни у меня будет табак, и, следовательно, по милости глупой привычки, мне придется часто страдать. Я промучилась три дня и отвыкла от табаку. После я мучилась привычкой есть что-нибудь сладкое после обеда и ее бросила... Теперь я боюсь привыкнуть ко всему, что не могу доставить себе ежедневно. Привыкни я, например, пить за обедом вино, пришлось бы или мучиться, или ходить по чужим обедам. А я его

не пью — мне и не хочется,— с простодушной ужимкой заключила Софья Васильевна.

— У вас на всякий стих своя закладка,— сказал Андрей.

— Чем скромнее наши привычки, тем мы счастливее,— проговорил Шрам.

— Совершенно верно,— улыбнулась Софья Васильевна.

Володя, почти никогда не обедавший у нас прежде, на этот раз остался и пробыл бы до вечера, если б за ним не явился посланный с известием, что приехал его дядя.

Этот дядя был хорошо известен в акционерном мире, жил постоянно в Петербурге и печатал иногда в газетах маленькие политико-экономические заметки за своей полной подписью. Теперь он проезжал к себе в имение и должен был пробыть у нас, в Р., не больше одного дня. Нечего и говорить, что мы не хотели пропускать случая посмотреть «петербургскую модную картинку последнего выпуска», как выразился Андрей об акционере.

На другой день мы имели счастие ему представиться, и он принял нас довольно ласково, сказав что-то вроде того, что нам — молодому поколению — предстоит вступить в сад, только что расчищенный, в котором будет много интересной работы. Около него юлила в это время Катерина Григорьевна, заигрывая с ним на тему о петербургской литературе. Но акционер отделывался полуответами и не позволял ощупать себя во всей подробности, как бы нам этого хотелось. На первый раз мы узнали только, что он презирает все русское (к тому времени добрый русский мужичок вышел из моды и на сцену выступил самовар как символ тупости русского народа к разным полезным изобретениям) и восхищается Европой, признавая даже полезным — о, верх нелепости! — существование балета.

— Да, пожалуй,— сказала Катерина Григорьевна,— он отчасти способствует увеличению народонаселения.

Акционер как-то странно посмотрел на нее, и она закусила губы, поняв, что сказала величайшую глупость.

С петербургским Шрамом ехал какой-то молодой человек, которого я видел только мельком, именно в то время, когда Катерина Григорьевна выразила свое замечательное предположение о том, что балет, может быть, влияет на увеличение народонаселения. Я слышал, как

он прошептал на ухо Андрею: «Барыне, кажется, хотелось бы увеличить народонаселение».

— Ей тут содействуют в этом желании многие гражданские и военные чины, да что-то без успеха,— тихо отвечал Андрей.

— Излишнее усердие всегда вредит делу,— громко сказал молодой человек таким комическим тоном глубокого убеждения, что я не мог не засмеяться. После такого замечания он, с величайшей свободой движений, взял Володю под руку и увел в другую комнату.

Больше я его не видал; они уехали с акционером на другой день, и я не вспомнил бы об их посещении, если б оно не имело громадного влияния на судьбу почти всех героев моего рассказа.

Через несколько дней, вечером, Андрей пришел ко мне несколько озабоченным. Видимо, брат затруднялся, с чего начать какое-то пикантное объяснение. Наконец он заговорил, что нам нужно взяться за настоящее дело, что обстоятельства слагаются благоприятно и надо ковать железо, пока оно горячо. Андрей имел глупое намерение купить городской театр, и я подумал, что он хочет сообщить мне о какой-нибудь очень важной для него перемене условий покупки. Но я ошибся.

— В феврале объявят указ об освобождении крестьян,— с важностью сказал он.

— Что ж из этого? У нас с тобой нет крестьян.

— Не то,— с досадой сказал Андрей.— Ты знаешь, на каких условиях их освободят?

— На каких?

— С тем, что они еще десять лет должны работать на помещиков... Словом, это полумера, и будет множество недовольных. Понял?

— Ничего не понял.

— Все равно, после поймешь. Дело в том, что благомыслящие люди решились не упускать этого случая...

Андрей начал говорить, что благомыслящие люди соединились в обществе, которое располагает в Петербурге громадными силами, и, кроме того, во всех губернских городах есть «способствующие ветви»... Такая ветвь есть и у нас, в Р., и так как она недавно основана, то должно прежде всего заботиться об увеличении своей силы посредством присоединения соумышленников. Андрей как член этой ветви делает мне честь, присоединяя меня

тоже к своему обществу... Он говорил довольно долго и с большим эффектом, видимо дожидаясь, что я вскочу с кровати и брошусь плясать от радости. Но, когда он кончил, я нарочно молчал.

— Что же, ты согласен? — спросил Андрей.

— Нет... Как ты ни любезно приглашаешь в каторжную работу, а уж позволь отказаться.

— Этого не придется; но что ж, если бы даже и в каторжную работу — во имя общего блага! — неловко сказал Андрей.

— Какого общего блага?! — презрительно спросил я.

— Серо-немецкого драпу с лампасами... Ты точно о штанах толкуешь.

Андрей сердился. Я решился рассердить его еще более.

— Что такое общее благо? Дичь, вроде искусства для искусства,— сказал я.

— Я не ожидал. Даже Новицкий, и тот признает необходимость службы обществу...

— И я признаю. Кроме людей, решившихся умереть от голода, служат: палачи, воры, будошники, писатели, губернаторы... Ты, верно, предлагал Новицкому свою ветвь?..

— Да. Он сомневается в успехе,— нехотя сказал Андрей,— но он все-таки не думает, что для общественной пользы не вредно принять на себя обязанности палача или вора...

— Если б я не сомневался в успехе, я бы на коленях просил тебя принять меня в свое общество. Ты сделаешься министром, а я все был бы губернатором... Так же и Семен.

— Нет, он еще не зашел в отрицаниях так далеко, как ты,— насмешливо сказал Андрей.

— И дурно, что не зашел...

— Зайти не мудрено, в особенности если порой заходит ум за разум так, что ни того, ни другого не видно.

Андрей с неудовольствием встал и хотел уйти.

— Постой! — остановил я его.

— Ну?

— Все это глупости,— серьезно сказал я,— но ты лучше бы сделал, если бы бросил свою «ветвь». Из этого ничего путного не будет.

Андрей поддался задушевности разговора и, смеясь, сознался, что едва ли ему не придется после содействующей ветви вкусить березовой ветви.

— Но все равно,— сказал он, перестав улыбаться и приняв самый серьезный вид,— я пошел и пойду до конца. Такими вещами не шутят, и ты, пожалуйста, не покушайся разубеждать меня. Это вопрос решенный...

— Ну, если тебе уж пришла такая охота сломить голову, так по крайней мере не тащи за собой других. Во-первых, ты дашь мне честное слово, что ни сестра, ни Малинин, ни Аннинька не будут знать ничего про ваши заговоры. За остальных, за Софью Васильевну — я не боюсь.

— Напрасно не боишься,— сквозь зубы сказал Андрей.— Малинин и Стульцев у нас... и Софья Васильевна.

— И Стульцев! Господи!

— Это уж виноват этот поганый Шрам.

Андрей даже плюнул и рассказал, что поганый Шрам вместе с Ольгой, от счастия быть членом «ветви», получил легкое умопомешательство, которое обнаруживается теперь вырезыванием символических печатей и устройством какого-то масонского обряда.

— Не завербовали ли вы и Оверина? — спросил я, когда брат замолк на минуту.

— Нет. Черт с ним — я боюсь ему и предлагать. Чего доброго он убежден, что наше общество вредно,— и тогда все погибло...

— Ну!

— Ты не знаешь Оверина: он — человек убеждений, для него все нипочем...

— Кто же из вас присоединил Софью Васильевну?

— Мы оба со Шрамом. Я и не думал, что в ней столько энтузиазма. С ней чуть не сделалась истерика, когда она начала строить разные предположения. Я ее взял за руку, чтобы посадить на стул, так она даже дрожала вся, бедненькая. Славная женщина!

— Это все Ротарев устроил? — спросил я.

— Честное слово, нет, он даже ничего не знает,— горячо сказал Андрей.

— Этот молодой человек, который был с ним?

— Да.

Брат назвал имя, приобревшее впоследствии довольно громкую известность.

— Ну, ты помни, что ничего мне не говорил,— сказал я, повертываясь в постели, чтобы прекратить разговор.

— Боишься?

— Да.

Когда я остался один и начал соображать все переговоренное, намерение мое— держаться как можно дальше от Андрея и его компании — еще более утвердилось. И не от страха только, а просто потому, что я уже сознал, что гораздо выгоднее быть благонамеренным гражданином...

Утром мы с братом сошлись, впрочем, довольно дружелюбно, и он без всяких возражений согласился даже на мою просьбу возвратить Малинина на путь добродетели и невинности. С Малининым в последнее время случилось маленькое несчастие. Катерина Григорьевна затеяла благородные спектакли в пользу бедных студентов. Давали на первый раз «Ревизора», причем Андрей играл роль Хлестакова, Лиза — Анну Андреевну, а Володя — городничего, и во время последней немой сцены Малинин, исполнявший должность суфлера, поторопившись собрать книгу, опрокинул себе на колена керосиновую лампу, перепугался взрыва и закричал из своей будки во все горло. Впрочем, это обстоятельство не испортило гордо-отрадного расположения духа, которое внушали ему милости сестры, сделавшейся из жалости или от чего другого значительно внимательнее к его горькой судьбе. Малинин даже как будто официально заявил мне об этом.

— Ты, пожалуйста, откажись от этой глупости и не связывайся с ними! — сказал я ему по поводу Андреева общества.

— Я и сам думал отказаться, тем более что теперь... Знаешь, если б я был один, так это — ничего, а то, я хотел тебе давно сказать, Лизавета Николаевна подает мне некоторые надежды.

— К чему?

— Может быть, мои дела как-нибудь устроятся: кончу курс, поступлю на службу, тогда, может быть... конечно, неравенство...

Малинин не посмел докончить. Он смотрел очень пристально на переплет окна, и глаза его были полны слез. Я поспешил, как мог, утешить его, что особенного нера-

венства нет и что он вполне может питать надежды на брак с Лизой.

— Только откажись от этих затей,— повторил я ему.

— Как же отказаться? Ведь неловко же сказать, что я влюблен и потому не могу собой пожертвовать вместе с ними...

— Я уж устроил это. Если они тебя будут что-нибудь спрашивать, ты притворяйся, что ничего не знаешь.

— А ты? — спросил Малинин.— Неужели ты не с ними?

— Я не дурак,— резко сказал я.

— Впрочем, может быть, у тебя тоже...

Малинин не договорил своей глупости, так как в это время явился Стульцев с своим заветным козлиным клоком и, дергая очками, начал рассказывать, что какой-то купец, выходя из казначейства, обронил с полпуда радужных бумажек. Стульцев поднял их и чуть не загнал извозчичью лошадь, догоняя хозяина денег, который тотчас предложил ему в награду за честность фунтов десять радужных, но он, Стульцев, само собою разумеется, отказался.

— Как вы думаете, сколько было в этой пачке — право, без преувеличения,— фунтов десять? — спрашивал Стульцев,— а? сколько?

— Столько же, сколько правды в ваших словах...

— Всегда ты врешь, Стульцев,— с оттенком сокрушения заметил Малинин.

Стульцев тоже принимал участие в спектаклях и, не смея сбрить клока, принужден был ограничиться ролью купца (главные действующие лица «Ревизора», как известно, чиновники, а потому эти роли совершенно недоступны для артистов с какими бы то ни было украшениями на подбородке). Впрочем, он легко утешал себя, уверяя всех, что Мочалов[1] ему близкий родственник с материной стороны, а потому он, без всякого затруднения, мог бы сыграть и роль Хлестакова, но не хочет.

Я заметил как-то у Стульцева на самом видном месте часовой цепочки небольшой чугунной брелок — адамову голову, которую он беспрестанно щупал, тут ли она.

— Должно быть, этот брелок вам очень нравится? — сказал я ему.

---

[1] Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — великий русский актер-трагик.

— Да. Это знак (Стульцев наклонился к моему уху) старшего мастера в масонской ложе. Здесь есть ложа... Я вас приму.

Адамова головка была действительно знаком, но только не масонской ложи. Ее начали носить почти все мои знакомые, не исключая и женщин. Раз как-то я зашел к Софье Васильевне, и мне сразу же бросился в глаза лежавший на комоде чугунный браслет с адамовой головкой.

— Откуда это у вас? — спросил я.

— Подарил ваш знакомый — Шрам.

Софья Васильевна, произнося эти слова, почему-то отвернулась от меня в другую сторону. Вообще она в последнее время стала со мной очень холодна, так же как и все почти ее сочлены и сочленки по *ветви*.

— Вы знаете,— что же спрашивать? — проговорила она, когда я обратил особенное внимание на адамову голову.

— Все это очень глупо,— сказал я, недовольный ее невнимательным ответом.

— Что делать?! глупо так глупо, но глупая честность все лучше умной подлости,— колко сказала Софья Васильевна.

— Извините, я не привык к таким резким выражениям и не совсем вас понял: вы, кажется, называете подлостью то, что я не иду вслед за другими.

— Да, в настоящее время *подло*... как это?.. «идти во стан безвредных, когда полезным можно быть»,— с горячностью сказала Софья Васильевна.

Я ее решительно не узнавал. Она покраснела, и все детские члены ее корчились, точно в судорогах.

— Можете ли вы выслушать меня хладнокровно? — спросил я самым серьезным тоном.

— Могу, хотя, кажется, это совершенно бесполезно,— презрительно скорчившись, проговорила Софья Васильевна.

Действительно, я взялся за бесполезное предприятие: Софья Васильевна решительно не хотела меня слушать и ответила под конец такой резкостью, что мне ничего больше не оставалось, как взять шляпу и уйти.

— Вы слишком разгорячены,— сказал я уходя.— Слова в этих обстоятельствах действуют, как стакан воды, вылитой на горящий дом.

— Не хотите ли призвать пожарную команду? От вас все сбудется,— задыхаясь, выговорила Софья Васильевна, и, затворив дверь, я услышал за собой бесконечный истерический кашель.

Вообще на меня все как-то начали коситься и даже делать вид, что остерегаются меня. Ольга почему-то находила остроумным кстати и некстати выражать сомнения в моей храбрости. Володя, любивший обо всем относиться с модной презрительностью, как-то заметил, что Николай Негорев и Новицкий учатся раскладывать пасьянсы, чтобы не скучно было проводить время с людьми своего образа мыслей.

— Завидую вам, Владимир Александрович,— сказал ему на это Новицкий,— вас никто не попрекнет за образ мыслей; вы не имеете этого глупого образа...

— Я действительно не имею такого образа мыслей, к которому идет подобный эпитет,— брюзгливо проговорил Володя, уставившись с выжидающим превосходством на Новицкого.

— Играйте, Владимир Александрович, комедии с дамами, а мы вас хорошо знаем,— сказал Новицкий тоном легкого нравоучения.

— Знаете? вам и книги в руки! Люди *вашего* образа мыслей на том и стоят, чтобы хорошо знать других,— скорчив презрительную улыбку, сказал Володя.

Новицкий вспыхнул.

— Будьте осторожны в таких намеках: за них бьют! — тихо проговорил он и тотчас же ушел домой.

В феврале прочитали указ об освобождении крестьян...

. . . .

Андрей как-то сказал мне, что лбом стены не прошибешь, а ногтями процарапать ее можно, и решился начать это царапанье, для первого опыта, маленькими брошюрками. Царапанье, конечно, происходило в очень невинных размерах. Так, Андрей сочинил «Азбуку-самоучку», где, для шутки, сопоставлены были разные пословицы, так что между ними выходила некоторого рода связь, но такая натянутая, какая обыкновенно бывает в акростихах:[1] об ней даже многие и не догадывались. Кроме этого, Андрею еще раз удалось показать местному цензору кукиш в кар-

[1] Акростих — стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют слова или фразу.

мане какой-то брошюркой, где доказывалась бесполезность памятников великим людям. Все эти произведения были, впрочем, написаны довольно бойко и местами, пожалуй, не без остроумия, но царапанье шло слишком медленно и, вероятно, очень не понравилось Шраму, так что он решил появиться на литературном поприще самолично. Это был печальный опыт прошибания стены лбом, и притом такой неискусный, что даже местная цензура, несмотря на связи Шрама, решительно отказалась пропустить его, как думали, «якобинское сочинение». Читателю, я полагаю, известно, что часто самые невинные вещи, написанные яростным, растрепанным слогом, ужасают своей либеральностью. Муза Володи отличалась именно этим набатным свойством греметь о лихоимстве будочника, точно проповедуя вооруженное восстание.

Вследствие этого обстоятельства Володя значительно поохладел к *ветви* и проводил целые дни у Софьи Васильевны.

— Я не знаю, чего он ей надоедает,— говорила мне сестра, тоже бывавшая чуть не каждый день у Софьи Васильевны.— Как ни придешь — он сидит там и смотрит на нее, как кот на мышь. Он даже глуп как-то при ней делается. Неужели он думает, что она когда-нибудь полюбит его?

— Отчего же и нет?

— Она очень странно смотрит на это. Даже смешно! Я, говорит, не женщина, а человек, и у меня нет брачных инстинктов. Одним словом, она, если и полюбит, то никогда не признается из гордости. Кстати, отчего ты не ходишь к ней? Она постоянно меня спрашивает о тебе. Признайся, ты тоже любишь ее?

— Если б я и любил, мне все-таки нет надобности таскаться к ней для созерцания ее прелестей. Я не Шрам. Пусть она придет, если хочет.

— А она что-то боится Шрама и, кажется, очень не доверяет ему.

Я никогда из-за любви не выпивал ни одной чашкой чая меньше или больше обыкновенного; но есть люди, которые, как пьяница в кабак, готовы бежать на любовное свидание от постели умирающего отца,— люди, судьба и общественная деятельность которых иногда всецело зависят от благосклонности или равнодушия женщины. Такому человеку нельзя много доверять: он — раб своей

страсти и не может противостоять ее искушениям, как пьяница не может воздержаться, чтобы не пропить рубль, который доверили ему разменять. Таким человеком был Володя Шрам. Влюбившись в Софью Васильевну, как настоящий герой какого-нибудь допотопного романа, он бросил даже свое участие в благородных спектаклях в пользу бедных студентов и просиживал по целым дням, не в состоянии будучи оторвать глаз от любимого предмета. Он был искренне жалок в своем беспомощном горе, и никто даже не смеялся над ним...

VI

ОВЕРИН ИСПЫТЫВАЕТ СВОЕ ТЕРПЕНИЕ

К весне у нас умерла тетушка, которая, впрочем, уже давно не жила, будучи разбита параличом. После нее я остался законным главой дома. Особых перемен от этого, впрочем, не произошло. У нас бывали те же гости, время тянулось так же ровно.

Я довольно долго не видал Софью Васильевну и не без радостного удивления встретил ее как-то в университете.

— Здравствуйте, Софья Васильевна,— сказал я ей, не в состоянии будучи удерживаться от некоторой холодности и даже упрека в тоне моих слов.

— Здравствуйте,— смущенно отвечала она мне, боязливо глядя во всю ширину своих чистых, кротких глаз.— Отчего вы ко мне не ходите? Вы, пожалуйста, извините меня...

Последние слова она произнесла очень тихо, почти шепотом. Я взял ее за руку: рука у ней была холодна.

— Я о вас вовсе не думаю того, что говорила,— с усилием сказала Софья Васильевна.

Лицо ее было бледно, грудь высоко вздымалась — недоставало, казалось, одной капли, чтобы она зарыдала. Я понимал это и поспешил успокоить ее, отозвавшись легко и шуточно о причине перерыва в нашем знакомстве.

В этот день я дожидался в университете Новицкого, чтобы идти в таможню за книгами, и мне нельзя было проводить ее. Софья Васильевна рассчиталась с швейцаром, у которого купила какие-то записки, и мы расстались очень весело и дружелюбно.

На другой день мы с Андреем отправились навестить

ее и встретили на дороге Стульцева. Осведомившись, куда мы идем, он состроил какой-то таинственный вид и задергал очками, что означало его нетерпение преподнести собеседникам какую-нибудь забористую ложь.

— К этой беременной невинности?..— сказал наконец Стульцев.

При брате он уж давно воздерживался от вранья, и я не мог не удивиться, что Стульцев затевает тут же историю, из-за которой лишился бороды.

— Что? — спросил Андрей.

— То, что у ней постоянно ночует ее любовник Шрам, а может, и еще кто-нибудь...

— Ну, брат, я тебе за это полголовы обрею,— сказал брат.

К моему удивлению, Стульцева не смутило и это обещание.

— Мне сам Володя говорил. Он всем ее показывал на улице. Было человек пять студентов и какой-то офицер. Он сказал, что ночевал у ней.

— Ты врешь?

— Я никогда не вру,— обиделся Стульцев, смакуя, повидимому, всю прелесть сказанной им правды,— ему так редко приходилось ее говорить!

— Когда это было?

— Третьего дня. Ну! Мы вышли из кондитерской и встретили ее. «Что, хороша?» — спросил он. Ну. Я говорю: это — Софья Васильевна, а он говорит: «У ней синие подглазицы, я у ней ночевал сегодня, ты никому не говори». Ну, ты понимаешь, я тебе по секрету, как другу.

— Ах, черт тебя возьми! Но что, если ты врешь? Честное слово, я тебе полголовы обрею...

— Обрей, если я вру! Обрей! — с какой-то радостью вскричал Стульцев.

Очевидно, он, против обыкновения, говорил правду.

Когда мы с Андреем пришли к Софье Васильевне (Стульцева она уже давно не пускала к себе), она с каким-то нетерпением ходила по комнате, видимо, что-то соображая.

— Как поживаете? — спросил Андрей с своей обыкновенной веселостью и беззаботностью.

— Очень скверно,— сказала Софья Васильевна, печально улыбаясь ему.— Знаете, я вчера подумывала да-

же напиться пьяной — так тяжело. Говорят, в вине утопают все неприятности...

— Но не все пьющие утопают в блаженстве. Вот один мой знакомый...— начал было Андрей, но Софья Васильевна смотрела так грустно, что он невольно остановился.

— Что с вами такое? — серьезно спросил брат.

— Извините за нескромный вопрос, не замешан ли как-нибудь в вашу неприятность Шрам? — сказал я.

Нечего и говорить, что я ни на минуту не сомневался в том, что все слышанное нами от Стульцева — гнусная клевета.

— Нет... вообще обстоятельства — все. Впрочем, и он тут помог.

— Софья Васильевна, откровенность — первое условие дружбы, а так как мы с вами друзья...

Софья Васильевна вдруг оживилась, с энергией откинулась на спинку дивана, и глаза ее заблистали одушевлением.

— Да,— порывисто заговорила она, обращаясь исключительно ко мне,— я сама чувствую потребность высказаться. Видите ли, какая история. Некто либерал Шрам сделал мне честь — влюбился в меня, встретив на гулянье, первого мая, за городом. Вы еще тогда не знали меня. Он принял меня, должно быть, за какую-нибудь сговорчивую модистку и позволил себе маленькую наглость. Я, впрочем, оборвала и пристыдила его. После этого я возобновила с ним знакомство в вашем доме. Он начал приставать ко мне; его страсть заметили, и о ней даже знает мой отец. Он...

Софья Васильевна сжала свои пальцы с такой отчаянной энергией, что хрустнули кости.

— Он составил уже план уйти из тюрьмы, заняться разными коммерческими делами и сделаться миллионером; для этого нужно всего пятьсот рублей. А достать пятьсот рублей легко: в меня влюблен Шрам.

Софья Васильевна с горьким озлоблением засмеялась совершенно неестественным смехом.

— Ну-с, это не все. Приходит ко мне несколько дней назад некто либерал Шрам, приходит поздно вечером и хромает так, что жалко смотреть. Ногу ушиб на лестнице, не может сам сойти назад. Я ему предлагаю ночевать на диване; ночью он является ко мне, за ширмы. Я прошу

его уйти. Он просит быть тише и замечает, что для меня будет неприятно, если пришедшие на шум люди застанут нас вместе, в одном белье. Я начинаю кричать, поднимаю шум, и он уходит домой, совершенно переставши хромать. У отца есть шпион за мной — здесь, в этой же квартире,— который все ему подробно доносит. Отец узнал все и убежден, что я имела глупость отдаться Шраму, не выманив пятьсот рублей. Нечего и говорить, что упрекам и площадным ругательствам нет конца... Все это, конечно, пустяки, но я как-то не могу быть хладнокровной.

— Нет, это не пустяки! — сказал Андрей.

— Нет, я как-то глупо устроена. Я, право, порой от глубины души завидую уродам. Да и действительно, я была бы в тысячу раз счастливее, если бы имела совершенно отвратительную наружность... Я уж уколота в сердце, если замечаю, что мужчина, увидев меня, подумал: «А ведь недурна». Как это унизительно быть вещью, телом, которое может нравиться другим и возбуждать у людей желание приобресть тебя! Скверно быть женщиной!

Софья Васильевна говорила эти слова, как будто рыдала. Зубы ее лихорадочно стискивались и почти стукали при остановках, глаза безумно блестели, а на щеках волновался пурпуровый чахоточный румянец. Она находилась в высшей степени раздражения.

— Ах, как это оскорбительно видеть, что бьешься, бьешься и все ты не выше котенка, на которого каждый встречный имеет претензию изливать свои ласки. Тебе хочется учиться — все думают, что это делается для того, чтобы больше заинтересовать мужчин. Ты отталкиваешь его от себя, кричишь, что не хочешь его видеть,— он улыбается, объясняя это делом кокетства. Я теперь раздражена и говорю все это; мне больно, больно, а может быть, мое раздражение имеет свою прелесть в ваших глазах и вы думаете: «К ней ничего, это — идет». Кокетство все, кокетство!.. кокетство...

Чаша переполнилась. Скоро слова Софьи Васильевны перешли в рыдания; с ней сделался истерический припадок. Она, впрочем, скоро очнулась и как-то дико посмотрела на нас.

— И это — кокетство,— проговорила она в полусознании.

— Ради бога, Софья Васильевна, успокойтесь; лягте в постель, вы больны,— говорил Андрей.

— Да, я лягу. Вы извините, господа... я больна; все это не от меня.

Она посмотрела на нас таким умоляющим взглядом, что я ясно слышал, как Андрей скрежетнул зубами.

Я сказал ей несколько официально-утешительных фраз. Она, значительно успокоившись, простилась с нами и пошла за ширмочки, чтобы лечь в постель.

— Зайдем хоть к Шрамам — рано еще домой,— в раздумье сказал Андрей, остановившись у ворот, когда мы вышли с ним на улицу.

Мне очень не хотелось видеть Володю, но Аннинька была больна и, не выходя из своей комнаты, уже давно беспокоила меня своими записками. Я пошел. Мы молчали всю дорогу. Андрей насвистывал какие-то марши, а я думал о Шраме, решившись осрамить его при первой возможности. Я был даже немного расстроен неприятной сценой у Софьи Васильевны. Вообще я не терплю видеть людей в ненормальном состоянии их духа, бурно взволнованных какой-нибудь страстью, и вынес теперь от Софьи Васильевны очень тяжелое впечатление.

Когда мы пришли к Шрамам, Володи, к моему удовольствию, не было дома. Ольга, одна в зале, возилась около микроскопа, недавно полученного из Петербурга. На полу валялись куски разрезанных пробок, и она при нашем появлении с досадой бросила на стол бритву. Судя по груде раскрошенных стеблей и листьев, лежавших на столе, опыты ей не удавались; и не мудрено: микроскоп был уставлен совершенно неверно.

— Ничего не ладится,— с досадой проговорила Ольга, когда мы объяснили ей это.

— Вы, ей-богу, походите на моего Сеньку, извините за сравнение,— сказал Андрей.— Он имеет неодолимую страсть писать, но у него недостает терпения выучить азбуку, и он все-таки не унывает — пишет. Напачкает всяких каракуль на бумаге и спрашивает: «Что я написал?» Дескать, другие пишут, у других выходит, и у меня должно же что-нибудь выйти... Вы, кажется, тоже пытаетесь сделать великое микроскопическое открытие, не умея уставить микроскопа.

Андрей начал возиться около микроскопа. Ольга выходила из себя от злости, передергивала своими костлявыми плечами, но ничего не говорила. Я пошел к Анниньке;

она еще не совсем оправилась от болезни; ко всему тому недавно поссорилась с Ольгой и была очень бледна и расстроена.

— Господи ! хоть бы выйти скорее замуж, выбраться из этого проклятого ада,— проговорила она, рассказав мне про свою ссору.

— Мне нельзя еще жениться,— сказал я, приняв ее слова за намек.

— Я и не пойду за тебя. Мужа ненавидят и обманывают, а я хочу тебя любить,— страстно глядя мне в глаза, проговорила Аннинька.— Если бы у меня теперь был муж, мне бы еще приятнее было тебя целовать. Нет, и теперь хорошо, хорошо, хорошо!

Когда я воротился от Анниньки в залу, между Андреем и Ольгой шло уже довольно сложное препирательство, и в зале присутствовали: Катерина Григорьевна, офицер — племянник Бурова — и какая-то старушка. Между ними шел стереотипный разговор о крестьянской реформе — тогда все говорили о ней. Я пристал к их разговору и не заметил, как пришел Володя. Он был, казалось, в очень веселом расположении духа и тотчас же сказал какую-то небрежную остроту насчет возни с микроскопом.

— Вы давно были у Софьи Васильевны? — спросил его Андрей, оставив микроскоп и стирая с своего жилета крошки приставших пробок и стеблей .

— Нет, не так давно. А что? Она нездорова?

— Нет, ничего, здорова. Вы тот раз ночевали у ней? — серьезно спросил Андрей.

— Зачем вам?

— Я вас спрашиваю. Вы говорили другим, что ночевали у ней. Скажите же мне, ночевали ли вы у ней?

В тоне Андрея заключалась угроза. Володя слегка побледнел, губы его дрогнули, и он сделал движение, чтобы уйти, но Андрей остановил его, взяв за кончик рукава.

— Ведь вы ночевали у ней? да?

— Что ж вам до этого? — презрительно усмехнувшись, сказал Володя,— ну, ночевал...

Андрей размахнулся, и треск оглушительной пощечины заставил нас вздрогнуть. Удар был так силен, что Володя покатился на пол, обливаясь кровью. Андрей, опустив руку, как будто самодовольно улыбнулся, гля-

дя на кровь, лившуюся на паркет. Он повернулся и среди всеобщего ужаса эффектно, медленными шагами пошел к дверям, стараясь еще просвистать сквозь зубы какой-то марш. Подойдя к роялю, он с рассчитанной неторопливостью начал там рыться, отыскивая свою шляпу и, по-видимому, выжидая, чтобы его кто-нибудь оскорбил. Но на него никто не обращал внимания: все были заняты Володей. Его усаживали в кресло и суетились кругом, отыскивая графин. Ольга побежала за каким-то спиртом, хотя Володя вовсе не был без чувства и осторожно вытирал платком кровь, лившую из носа.

Я с досадой сунул Андрею в руки свою шляпу.

— Чего ты дожидаешься? чтобы позвали лакеев и выгнали тебя? — сказал я ему.

Андрей взял шляпу, вытер ее рукавом и, проговорив сквозь зубы: «Совсем новенькая,— прямо с болвана»,— вышел в дверь.

Я отыскал его шляпу под роялем и догнал его на лестнице.

— Я думал, ты остался дожидаться лакеев,— проговорил Андрей, обмениваясь со мной шляпой.

Я был сердит — не на то, что Андрей побил Володю,— а на то, что он эффектничал при этом своей силой и храбростью. Кроме того, мне было немного неприятно, что, идя к Шрамам устраивать скандал, он не сказал мне об этом ни слова.

— Хорошо устроил! — сказал я.

— Отлично!

— Что, если он потребует от тебя удовлетворения?

— И удовлетворение могу дать.

— Тебе бы не следовало выходить из корпуса,— колко сказал я.— Офицером было бы сподручнее устраивать буйства и скандалы...

Но Андрей, вместо того чтобы рассердиться, повернулся ко мне и крепко пожал мою руку.

— Ну, уж каков есть,— сказал он.— Оставь это, пожалуйста; будем говорить о чем-нибудь другом. Я в отличнейшем расположении духа. Если б мне попались теперь Малинин или Стульцев, я бы расцеловал их. Пойдем сыграем партию на биллиарде.

— Нет, благодарю, я пойду домой — мне хочется есть.

— Ну, как хочешь,— весело сказал Андрей.— Я пойду один.

Мы расстались.

Вечером, когда я читал что-то в своей комнате, вошел Савелий и доложил, что буровский племянник офицер желает переговорить со мной о важном деле.

— Здравствуйте,— сказал он мне, громыхая своими шпорами,— ваш брат, надеюсь, не откажется...

— Нет, не откажется. Его теперь нет дома, а завтра я переговорю с ним,— сказал я, принимая на себя некоторым образом официальную роль.

— Поймите, что мне крайне неприятно,— пробормотал, расшаркиваясь, офицер.

— Во всяком случае,— остановил я его,— кроме меня, со стороны брата, вероятно, потребуется еще свидетель. Потрудитесь и вы с своей стороны приискать...

— Хорошо-с.

Мы раскланялись самым официальным образом. Совершив очень серьезно эту китайскую церемонию, я даже рассмеялся. У меня вертелось в голове слово *удовлетворение* и как-то особенно веско чувствовалась вся нелепость правила чести, по которому человек, получивший пощечину, должен или умереть на дуэли, или, убив своего противника, сидеть в тюрьме. Но делать было нечего, и мне не пришло даже самой легкой мысли о возможности отклонить дуэль.

Андрей воротился домой поздно ночью, и мне пришлось увидаться с ним только утром.

— Ну,— сказал я,— дело плохо; тебе придется с ним драться.

— Уж были? Очень рад.

Я объяснил Андрею, что нам надо пригласить еще хоть Новицкого, так как мне, в положении брата, неловко быть одному свидетелем их *удовлетворения.*

Офицер приехал спозаранку и, как человек, опытный в этих щекотливых делах, с самым серьезным видом начал обсуждать мои предложения. Андрей часто стрелял в нашем саду в цель, прибитую на заборе, поэтому посторонние, если таковые будут, не удивятся, заслышав выстрелы, и я предложил устроить дуэль в нашем саду. Рану или даже смерть одного из противников можно будет свалить на несчастный случай при стрельбе в цель. Кроме этого, близость дома обеспечи-

вает скорую помощь... Офицер согласился на все и, заметив, что чем скорее воспоследует удовлетворение, тем лучше, предложил окончить дело завтра, часов в десять утра. Наконец, рассыпавшись в извинениях по поводу неприятности своего поручения, он ушел.

— Завтра,— сказал я Андрею.— Приготовься.

— Я давно готов,— небрежно ответил он, одеваясь, чтобы идти к Новицкому.

— Скажи, пожалуйста, неужели ты не чувствуешь теперь некоторого неприятного чувства? — спросил я его.

Мы сходили с лестницы; Андрей напевал какой-то мотив, очень нравившийся ему в эти дни.

— Как тебе сказать, не солгать? Я убежден почему-то, что будет мой верх, и мне даже немного жаль Шрама, а бояться я ничего не боюсь... так разве чуть-чуть. Да нет! и того не боюсь,— весело сказал Андрей.

У него был счастливый характер, который действительно не позволял ему скучать или быть печальным хоть двадцать минут сряду. Я сказал ему это, и Андрей ответил мне комплиментом, что мой характер еще лучше, так как я не только никогда не печалюсь, но не веселюсь и не сержусь. В назидательном разговоре на эту тему мы незаметно дошли до Новицкого, и, только взявшись за звонок, я спросил Андрея: «А что, если Новицкий не согласится?»

— Найдем другого: в чем другом, а в секундантах и собутыльниках у нас нет недостатка.

У Новицкого с Овериным была большущая холодная комната, испещренная множеством окон с трех сторон. Железная печка у них топилась постоянно, и от этого сухой воздух воспринимал какой-то неприятный запах гари. Этому не помогали даже два горшка с водой, поставленные Овериным на окнах для сообщения воздуху надлежащей влажности.

Мебель была очень бедна, и ко всему тому неряшество и беспорядочность Оверина сообщали комнате какой-то нежилой характер. Продавленный диван стоял далеко от стены, так как Оверин находил полезным в гигиеническом отношении спать середи комнаты. Тут же торчала его доска, около которой пол, аршина на три в окружности, давно побелел от мела. На потолке были прибиты какие-то гвозди и протянуты веревки; на одной из них висели даже чьи-то брюки. Книги у

Оверина валялись и на полу, и на диване, и под столом, и на подоконниках. Когда мы пришли, оба хозяина лежали с книгами в руках — каждый на своем логовище. Оверин, кроме того, держал в руке длинную палку, на конце которой был привязан, кажется, мел.

Между тем как Андрей начал объяснять Новицкому, в чем дело, я сел к Оверину на диван и поднял одну из валявшихся на полу книг. Это было «Philosophie du progrés, une programme»[1] Прудона. Под ней лежал оттиск статьи Оверина о лейденских банках, напечатанной в каком-то немецком специальном журнале. Я плохо знал немецкий язык, да, кроме того, статья была испещрена какими-то бесконечными вычислениями, похожими на гиероглифы, и я ее бросил.

— Что это вы, читаете Прудона? — спросил я.

— Читал. Ужасная дичь! — невнимательно сказал Оверин, повертываясь на бок и начиная писать своей палкой на доске.

Мне ничего не оставалось, как положить книгу на диван и отойти от него.

— Что за нелепость,— говорил Новицкий,— неужели ты в самом деле будешь с ним стреляться?

— Конечно, буду. Что ж тут удивительного?

— Коли ему охота драться — взял бы поколотил его хорошенько, а то еще церемонии какие-то выдумали! — презрительно сказал Новицкий.

— Надо же ему дать средство смыть, так сказать, оскорбление...

— Зачем? ведь он стоил плюхи — нечего ее и смывать, ее ничем не смоешь...

— Ну, словом, ты не хочешь быть свидетелем?

— Нет. Из-за того, что подлецу не нравится оплеуха, я не хочу таскаться по судам, да и тебе не советую.

— Ну, нечего толковать, значит! Прощай!

— Куда же ты, посиди — успеешь еще.

— Надо же найти человека...

— Да вон человек лежит,— кивнул Новицкий на Оверина.— Он теперь вычисляет круг обращения исторических событий в России. Он пойдет.

---

[1] «Философия прогресса, программа» — работа Пьера Жозефа Прудона (1809—1865), французского мелкобуржуазного экономиста и социолога, одного из основоположников анархизма.

— Что это нос-то у него разбит? — спросил я.

— Нос пал жертвой, или не пал, а еще падет — жертвой раннего вставания. Не хотите ли посмотреть наш будильник?

Новицкий поднял с полу довольно тяжелый кулек с бельем и всяким другим хламом и начал объяснять устройство оверинского будильника. На стене, пониже часовой гири, были прибиты крючок и дощечка, прилаженная так, что, как только гиря становилась на нее и начинала надавливать, с крючка срывалась веревка и на голову Оверина падал почти с потолка кулек со всем его имуществом: тремя парами белья, сапогами и парой платья.

— Для чего это у него в руках палка? — спросил я.

— Это чтобы меньше двигаться и как можно меньше тратить фосфора в физических движениях, а больше сберегать его для умственной работы.

— А вам, должно быть, здесь весело! — сказал я.

— В особенности вечером, когда начинается пристройка будильника и развешивание свечей и простынь сообразно с законами отражения лучей. Но и день имеет свои приятности. Мы непрестанно заняты разными глубокими соображениями. Колбасы, например, какую, кажется, могут дать пищу для ума? Но мы и их не оставили без внимания. Прежде мы питались колбасами, а теперь сообразили, что лучше всего брать пример с первобытных людей: пить невареные яйца и есть сырую говядину. Вон...

Новицкий открыл шкаф. Там на блюде лежал огромный кусок сырой говядины. Из-под нижней полки выглядывало лукошко с яйцами.

— Днем мы занимаемся стряпней либиховского бульона (вон серная кислота) и для опыта кормим этим питательным веществом кошек и едим сами: кошки издыхают, а мы бегаем поминутно зачем-то в кухню. Чаю мы не пьем — он раздражает мозг, и кофе также. Пьем молоко пополам с шампанским: выходит очень хорошо. За обедами и вообще за едой, чтобы было не скучно, мы передаем друг другу свои открытия и изобретения по разным отраслям наук и искусств. Так, например, мы недавно выдумали целую новую науку — «Историческую алгебру», и теперь занимаемся ее разработкой. Это

трудная наука: в ней есть дворянство в квадрате и интеграл народной зависти, но мы не смущаемся трудностями — уповаем на бога, и по его бесконечной благости наши вычисления всегда венчаются успехом: получается, что дворянство равно нулю.

Стоя с Новицким у шкафа, мы долго не замечали, что Оверин сидит на диване, улыбается и внимательно слушает Семена.

— Что вы слушаете этого филистера,— смеясь, сказал Оверин,— через пять лет он будет в бане мыться с Анной на шее.

— В свободные минуты мы занимаемся дружескими спорами о филистерах и энтузиастах, но, впрочем, по множеству занятий, не успели еще привести к концу ни один из этих споров,— проговорил Новицкий, продолжая свой очерк оверинских похождений.

— Сергей Степаныч! вот какое дело — дуэль,— начал Андрей, но Оверин остановил его.

— Что ж вы, думали, что я совсем рехнулся или сплю, что ничего не слышу? — смеясь, сказал он.— Я все слышал. Слышал, как филистеры не хотят таскаться по судам из-за исключительного случая... Хочешь, я буду твоим секундантом?

Андрей с восторгом схватил Оверина за плечи и начал трясти его. Последний энергическим толчком выразил свое неудовольствие.

— Ну, без медвежьих нежностей,— проговорил он.

— Черт возьми, какой секундант! Он стоит двенадцати секундантов!

— Примет ли только его противная сторона? — усумнился Новицкий.

— Ничего, когда мы отчистим с него меловую кожуру, он будет довольно близким подобием человека,— засмеялся Андрей и опять начал трясти Оверина.— Как твой сапожник?

— Сапожник умер от пьянства,— холодно известил Оверин, отстраняя от себя ласки Андрея.

— И он перенес этот удар как ни в чем не бывало! Даже ни слезинки о друге. Так непрочны человеческие чувства! — сказал Новицкий.

— Сапожник не был филистером. Ему хотелось пить, и он пил, презирая все, даже смерть, а не только суды и приличия,— с убеждением объявил Оверин.

— У тебя есть какое-нибудь платье, кроме этого? — спросил Андрей.

— Есть,— ответил за него Новицкий.— Он теперь богат. Мы до сих пор не знали, да и он не знал, что владеет двумя стами душ и кругленьким капитальцем. Поздравьте. Его уж ввели во владение.

— Никто не введет и не вводил никогда,— обиделся Оверин.

— Положим, крестьян вы бросили, а деньги-то все-таки ведь взяли? — сказал Новицкий.

Оверин смутился.

— Да...— в затруднении проговорил он,— конечно... Необходимость. Что же бы я стал есть, если б не взял?

— Я не говорю, что не надо было брать: хорошо сделали, что взяли, а то бы сидели без либиховского бульона. Но, видите ли, в чем дело: люди отдают деньги на проценты, а мы, как Бальзаминов[1], сообразили, что тридцати тысяч хватит на шестьдесят лет, по пятисот рублей в год, и отдали их на хранение.

— А вы думали, я обрадуюсь тридцати тысячам и сделаюсь ростовщиком?

— Но, однако, нам пора отправляться,— сказал я, так как разговор о росте процентов, который Оверин находил делом неестественным и бессовестным, грозил затянуться надолго.

— Пора, пора,— подтвердил Андрей.— Завтра я заеду за тобой рано утром.

Андрей объяснил Оверину главные условия дуэли, и мы воротились домой.

Вечером, когда стало смеркаться и я положил книгу, дожидаясь, скоро ли Савелий принесет свечи, меня взяло нетерпение — посмотреть, что делает брат. Я не ожидал застать его в том беспокойстве, которое заставляет жечь компрометирующие бумаги или писать предсмертные письма, но все-таки думал, что ему теперь не очень весело. Ввиду близкой вероятности умереть присмиреет самый резвый человек.

Я вошел. Он сидел и писал. «Душу свою выкладывает на случай смерти»,— подумал я. Но ни чуть не бы-

---

[1] Герой пьес Островского «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки дерутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова».

вало. Андрей, размышляя о дуэли, случайно припомнил, что Стульцев помогал клеветать Володе и не может остаться безнаказанным. По этому случаю ему пришла в голову блестящая мысль, и он писал теперь любовное письмо к своей жертве от имени какой-то незнакомки, которая назначала Стульцеву свидание около дома купца Голубева, где недавно поймали поджигателя. В то же время Андрей дружеским анонимным письмом извещал Голубева, что его дом около шести часов намерен поджечь человек, прилично одетый, в синих очках, с русой эспаньолкой и проч. Брат приходил в восторг, воображая, как *молодцы* Голубева свяжут Стульцева и поведут на съезжую.

— Вспомни, что завтра в это время тебя, может быть, не будет в живых! — сказал я, недовольный его неуместной веселостью.

— Что ж такое! Все мы смертны.

Человек горит, как свечка;
Ветер дунул — он погас,—

не плакать же мне от этого!

Брат уселся доканчивать письмо к Стульцеву, а я воротился к себе в комнату, даже немного рассерженный беспардонным легкомыслием Андрея.

Утром меня разбудили брат и Оверин. Оверин был одет франтом (само собой разумеется, не без участия Андрея) и протянул мне руку, не сняв палевой перчатки, которую он, кажется, не замечал. Голубой галстух с золотой застежкой съехал у него набок, а вместо него посередине манишки ползла узенькая дамская часовая цепочка. Он тотчас же заметил мне, что на левом боку спать вредно и что, кроме того, следовало бы отодвинуть кровать от стены.

Был уже десятый час в исходе. Я торопливо оделся, и мы пошли в сад. Там мы сели с Овериным на скамейку, выбрав местом дуэли маленькую площадку, находящуюся прямо против нас, между деревьев. Андрей обвязал платком ствол дерева и выстрелил до десяти раз, не попавши ни разу в платок.

— Дурно стреляю,— сказал он.

— Дрожит рука? — спросил Оверин.

— Да,— недовольным тоном сказал Андрей,— убивать человека нельзя так же хладнокровно, как воробья.

— Это предрассудок. Ни у кого нет больше одной жизни, и для всех она одинаково дорога. Прекращать ее у воробья не меньше тяжело, чем у человека,— задумчиво сказал Оверин.

Я вспомнил, что Шрам с своими свидетелями может пройти в комнаты, думая отыскать нас там, и поспешил туда, но на половине дороги встретил их, идущих ко мне навстречу. Володя был немного бледен, но важно спокоен. Он, не здороваясь ни с кем, снял свой реглан, положил его на землю и с небрежной холодностью сказал: «Я думаю, это место удобно; потрудитесь отмерить шаги».

Офицер отмерил двенадцать шагов и положил вместо барьера свою шинель.

— Ну-с,— сказал Андрей,— становитесь-ка, почтеннейший.

Володя презрительно взглянул на него. Андрей стал на свое место и вытянул вперед руку с пистолетом.

— Когда я скажу *три* и махну платком, вы можете, господа, стрелять! — рисуясь своей небрежностью к такому важному случаю, как дуэль, сказал молоденький студент — второй секундант Володи.

— Ну,— понукнул Андрей.

— Черт знает, сколько церемоний! — пробормотал Оверин, продолжавший спокойно сидеть на скамейке.

— Раз... два-а...

Я пристально смотрел на обоих противников. Оба они стояли неподвижно: Володя — опустив руку с пистолетом к земле, Андрей — вытянув ее против своего врага. Губы Володи лихорадочно дрожали; Андрей принужденно улыбнулся.

Оба выстрела раздались почти сразу. Пистолет Володи отлетел в сторону, и он с криком схватился за руку.

— Ах, немного бы поправее — попал бы в сердце,— с сожалением сказал Оверин, когда Андрей подошел к нему, отирая пот с лица. По случайности пуля Володи попала в платок; навязанный на дереве, и Андрей, снимая его, должен был разорвать.

— У него, кажется, осталась пуля,— прошептал офицер.

— Пойдемте в дом. Я сейчас пошлю за доктором,— предложил я.

— Ох, пойдемте,— в совершенном изнеможении сказал Володя, закрыв глаза.

Офицер предложил ему руку. Студент собрал верхнее платье и понес его за ними. При каждом шаге у Володи вырывался такой болезненный стон, что у меня сжималось сердце. Оверин, шедший возле меня, делал судорожные, нетерпеливые движения. Чтобы отвлечь свое внимание от Володи, я обратился к Оверину и спросил его, что с ним.

— Когда животное стонет, является потребность добить его. Когда собака визжит под ногами, ей невольно даешь пинка,— сказал он мне.

Как ни были дики эти слова, но, проверив свои ощущения, я нашел, что если у меня и нет желания добивать стонавшего человека, то такое желание может явиться.

Положение мое сзади печальной процессии, со стонами подвигавшейся вперед, было крайне неприятно, и я проклинал минуту, в которую впутался во всю эту историю. Вообще я ненавижу присутствовать при торжественных мгновениях, когда требуется выражать чувства, которых обыкновенно никогда не бывает. Тут принимаешь как-то очень близко к сердцу пошлость и неловкость своей чувствительной роли.

Проводив Володю в свою комнату и усадив его на свою кровать, я с большой неловкостью начал отдавать приказания прислуге. Казаться совершенно хладнокровным было неловко, а излишняя хлопотливость очень не шла к моей всегдашней серьезности,— и я был в немалом затруднении, как вести себя. К счастию, Савелий очень усердно занялся Володей, и мне оставалось только смотреть, как он разрезывал ножницами рукав пиджака и готовил уксусные компрессы, чтобы остановить кровь.

Слушая отчаянные стоны Шрама, который, казалось, готов был умереть, я никак не мог успокоить в себе какого-то отвратительного болезненного чувства, производимого малодушием раненого. Оверин смотрел тоже очень недовольно и мрачно.

Скоро явился из ближайшей больницы доктор в сопровождении фельдшера. Это был еще молодой человек небольшого роста с черной бородкой и резкими ухватками. Он пробормотал, что уксус не годится, и на-

чал ощупывать багровую рану, бывшую немного повыше сгиба правой руки. Фельдшер, отдав приказание о тазах с водой, о губках, о ветоши и тому подобном, развернул для чего-то на стуле два готовальника, в которых, впрочем, инструменты были растеряны наполовину. Доктор не совсем нежно давил своими пальцами больные места и резко спрашивал: «Тут больно? больно?»

Володя отвечал громкими криками, которые еще более усилились, когда доктор начал исследование зондом. Фельдшер и буровский племянник принуждены были даже держать ему руки. Раздирающие душу вопли раздавались по всему дому...

Под этот шум я, как во сне, увидел, сам не веря своим глазам, что Оверин подошел к столу, на котором лежали инструменты, взял ланцет и тихо, медленно, точно в доску, начал втыкать его в свою ладонь. Кровь закапала на пол, конец лезвия вышел насквозь и ланцет сломался, но лицо Оверина было неизменно спокойно и важно.

Доктор в это время вынул пулю и со звоном бросил ее в таз.

— Что вы делаете? — вскричал он, увидев Оверина.

Я тут только поверил своим глазам и бросился к Оверину, который в смущении держал еще в правой руке черешок сломанного ланцета.

— Я ничего не делаю,— растерянно пробормотал он, точно школьник, пойманный в курении папирос.

Очевидно, Оверина убивал стыд за неловкость, с которою он сломал чужой ланцет.

— Я совсем не об этом говорю! — с горячностью вскричал доктор, вырвав из опущенной руки Оверина черешок ланцета и далеко бросив его от себя.

Оверин в это время вспомнил, что пачкает кровью чужой пол, и, потерявшись окончательно, растирал кровь ногою. Так как пуля у Володи была уже вытащена, то доктор, поручив перевязку раны фельдшеру, грубо схватил Оверина за руку и повел к свету.

— Как вы думаете — рана от пули больнее? — спросил Оверин.

Он сохранял важность и спокойствие постороннего наблюдателя.

— У вас после этого фокуса сведет пальцы,— сердито проговорил доктор.

— Я вас спрашиваю,— больно ли от такой раны, как у меня?

— Вам лучше знать: я ни разу себе не втыкал ланцетов в руку.

— Мне хочется знать, чья рана чувствительнее: моя или его? — важно спросил Оверин, кивнув на Володю.

Доктор с улыбкой успокоил его, что Шрам должен чувствовать меньшую боль, и, порывшись пальцами в ране, вытащил оттуда сломанный клинок.

Узнав, что его рана больнее Володиной, Оверин, по-видимому, вполне достиг своей цели и уже не обращал больше ни на что внимания. Он доверчиво и покорно, как ребенок, протянул свою руку для перевязки. Я убежден, что у него не было и тени мысли, что он устроил нечто необыкновенное, а не просто выпил, в свое удовольствие, странное питье вроде смеси молока с шампанским, и по его наружности как-то не верилось, что у него хоть немного болит рука,— да и теперь я сомневаюсь, действительно ли он чувствовал какую-нибудь боль. Простота, с которой он калечил себя, отсутствие даже малейшего усилия скрыть боль (Оверин едва ли мог делать над собой усилия) — все заставляло думать, что он не имел неприятной способности чувствовать физические страдания.

Когда все поуспокоилось и рецепты были написаны, а доктор и фельдшер ушли, я проводил Володю до экипажа и воротился в свою комнату, походившую теперь на только что оставленный перевязочный пункт; Оверин стоял перед картиной «Ночь в Обдорске» и задумчиво рвал свою палевую перчатку.

— Как вы думаете, дорого стоит такой пейзаж Айвазовского? — спросил он.

— Зачем вы рвете перчатку?

— Нельзя надеть: больше она не годится.

Я позвал его в залу, так как Савелий пришел убирать комнату. Андрей и Лиза весело болтали там о случившемся. Сестра, казалось, была в величайшем восторге.

— Если б между женщинами были приняты дуэли,— говорила она,— я бы подстрелила Ольгу, и мы бы совсем истребили это баронское отродье.

VII

Я СТРЕМЛЮСЬ НА ВЕРХ БЛАГОПОЛУЧИЯ, А ОВЕРИН КИДАЕТСЯ В БЕЗДНУ

Никто не был так изумлен дуэлью, как Малинин. Он, кажется, долго не верил, что совершилось такое кровавое дело, и, ахая, ходил в наш сад осматривать место происшествия.

— И стрелялись? — спрашивал он меня, не в состоянии будучи представить себе ужасной сцены дуэли.

Он с некоторого времени начал реже ходить к нам, и однажды, придя к нему, я застал его затверживающим записки Герца. Студент шестидесятых годов, твердящий взубряжку, не хуже бурсака, университетские записки, может быть принят за карикатуру, но я должен оговориться, что так делали все, и я впоследствии, чтобы выдержать экзамен, заучивал слово в слово бессмысленный набор фраз юридической энциклопедии. Рассказывать своими словами мысли профессора Герца не было никакой возможности за полным отсутствием каких бы то ни было мыслей в его перечислениях и фразистых бесконечных периодах, где разные ученые термины, путаясь в бестолковой сумятице, производили невыразимую философскую чепуху.

Прилежание Малинина объяснялось, конечно, все теми же надеждами, которые подавала ему сестра. Вставая утром, он, как сам признался, отсчитывал в записках громадное число страниц и клал, вместо закладки, голубую ленточку, может быть служившую Лизе за подвязку,— и до тех пор не вставал с места, покуда не доходил до закладки. Тут он, конечно, с умилением целовал ленточку, а может быть, и не выстаивал против соблазна отрезать от нее небольшой кусочек и полакомиться им после трудов праведных.

Он очень недавно познакомился через Андрея с Софьей Васильевной, но успел вступить с ней в такую дружбу, что при малейшем затруднении шел к ней за советом. Те маленькие тайны, которые он боялся открыть мне или Андрею, но которые мы все равно знали в совершенстве, он поспешил сообщить Софье Васильевне, и та, по-видимому, одобряла его замыслы насчет Лизы, потому что он всегда выходил от своего друга необыкновенно розовый и счастливый.

Через несколько дней после дуэли, когда я пришел к Софье Васильевне, там сидел Малинин. Он был очень грустен, потому, может быть, что его приятельница тоже была в дурном расположении духа. Я сразу это увидел по множеству раскрытых книг, по клочкам изорванных бумаг на полу и вообще по какому-то беспорядку, царствовавшему во всей комнате.

— Кажется, я к вам в недобрый час,— сказал я, здороваясь с Софьей Васильевной.

—Что-то у меня в последнее время мало задается добрых часов,— сказала она, как будто с изнеможением опуская руки.

«Ну, опять пойдут кислые сцены»,— недовольно подумал я, и на языке у меня начали вертеться разные кислые слова: уксус, клюквенный морс, лимонная кислота.

— Что с вами опять? — спросил я, стараясь придать своим словам тон некоторого участия, но они, против моей воли, получили какой-то иронический смысл.

— Все пустяки,— небрежно сказала Софья Васильевна, покраснев от моего вопроса и употребляя все усилия казаться спокойной.— У меня немного болит голова.

Я посмотрел на нее, потом на Малинина, который, казалось, хотел мне что-то выразить своими глазами и подергиваньями плеч, но я ничего не понимал.

Молчание было крайне неловко. Я хотел уже сказать, что не вовремя гость — хуже татарина, и уйти, но Софья Васильевна, сверх всякого ожидания, заговорила очень твердо и спокойно:

— Мне очень повредила эта нелепая дуэль, но я не виню Андрея Николаича, и мы с вами, надеюсь, попрежнему останемся друзьями...

— На правах друга,— сказал я, приняв отчаянную решимость вырвать корень ее печали,— позвольте мне посоветовать вам не обращать особенного внимания на праздные толки и сплетни...

— Я на них и не обращаю, но...

— Ваш отец? Его мнение о вас, мне кажется — извините за резкость — заслуживает всего меньше внимания.

— Мне нет никакого дела до отца! — с жаром вскричала Софья Васильевна.

Она встала, подошла к своему письменному столу, схватила там какое-то заклеенное письмо и подала его мне.

— Прочитайте,— прошептала она, останавливаясь передо мной в выжидающей позе, опустив свои коротенькие ручки по складкам платья.

Я не без изумления вскрыл конверт.

Письмо было писано рукой Софьи Васильевны. Приблизительно в нем заключалось следующее: «Узнав, в чем дело, вы поймете, что на словах я этого никогда не в силах буду сказать; я поэтому решилась написать вам все, что нужно. *Я убедилась, что люблю вас* (прочитав эту фразу, я покраснел и никак не мог остановить дрожь, овладевшую моей рукой). Если вы сочувствуете мне, этого не нужно говорить на словах. Я это пойму и без того. Если *нет,* постарайтесь больше не видеться со мной, так как — вы сами поймете — ваше присутствие будет для меня мучительно. Я долго боролась с собой, решаясь тысячу раз не видеться с вами, но у меня не хватает теперь сил. Уйдите от меня».

Я прочитал еще раз фразу *«Я убедилась, что люблю вас»,* потом еще раз, признаюсь, не без волнения, перечитал все письмо. Я чувствовал, что Софья Васильевна пристально смотрит на меня, и боялся поднять глаза.

— Глупо? — спросила она.

Нечего и говорить, что я ни на секунду не колебался выразить ей свое сочувствие, но какое-то проклятое смущение мешало мне сделать это так ловко и удобно, как бы хотелось.

— Глупо? — повторила Софья Васильевна.

— Напротив, очень, очень...

«Умно», хотел я сказать, но остановился перед этой плоскостью. Я встал с места, зажег спичку и начал смотреть, как горело письмо, брошенное мною на пол. Когда остался один черный пепел, по которому изредка только прыгали огненные букашки, я совершенно успокоился и взял шляпу.

— Завтра утром я зайду к вам,— сказал я.

— Что ты говоришь? — спросил Малинин, ничего не понимая, смотревший на мои поступки, как на какую-нибудь таинственную ворожбу.

— Он сказал, что вы очень добрый и милый чело-

век,— с небывалой веселостью вскричала Софья Васильевна, дернув невинного Малинина за ухо.

— Не может быть! — серьезно изумился Малинин и захохотал.

— Ну, пойдем,— позвал я его.

— Пойдем.

— Заходите! — весело сказала Софья Васильевна, прощаясь с нами.

Малинин вышел очень веселым и тотчас же заговорил со мной о значении женщин. Он признавал безграничную равноправность женщин, а в Софье Васильевне видел некоторое осуществление своего идеала свободной женщины. Малинин так детски воспринимал все *новые* идеи, что как-то всегда вызывал меня обрывать его на каждом слове. Но теперь мне было не до того, и я совершенно равнодушно слушал его упреки в том, что считаю женщину ниже мужчины и признаю законным ее рабство. Мне нужно было подумать о многом. Прежде всего мне, правду сказать, было немного смешно вследствие странной сцены у Софьи Васильевны, но, может быть, я смеялся и от радости. Впрочем, радоваться особенно было нечему, исключая разве поощренного самолюбия. Вообще же письмо Софьи Васильевны поставило меня в некоторое затруднение. Я имел твердое намерение жениться тотчас же по окончании курса, но никогда до этого не думал о женитьбе, и теперь мне предстояло не только подумать о ней серьезно, но еще решить, кто из двух лучше: Аннинька или Софья Васильевна. Во всяком случае я не желал быть развратным и, даже не решая теперь вопроса о браке, должен был непременно сделать выбор. Я обеих любил одинаково, и мне было решительно все равно, которая из них будет моей женой. Мне было жаль огорчить одинаково ту или другую, но огорчить было необходимо: по своей натуре и по своим убеждениям я хотел быть спокойным семьянином и имел положительное отвращение ко всяким любовным интригам.

Но, вместо того чтобы обдумывать теперь строго и серьезно свое положение, я увлекся довольно странным чувством. Веселость, вызванная воспоминаниями о сцене с письмом, скоро заменилась чем-то похожим на жалость, от которой сжималось сердце. Я чувствовал себя бесконечно сильным сравнительно с бедной девушкой, у которой первое чувство смяло все ее бессильные теории

и убеждения, взлелеянные с такой заботливостью. Я испытывал то неприятное сознание своей силы, какое испытываешь, стоя перед гнездом ласточки, где она так заботливо хоронит своих детенышей, когда стоит только протянуть руку, чтобы долговременные заботы и хлопоты разрушились бесследно. Неприятно разрушать. И мне, пожалуй, было немного неприятно, что я разрушил тихие, спокойные дни Софьи Васильевны. Бедняжка училась ботанике и гордилась своим трудом, воображая, что ушла вперед от своих сверстниц; ее идеал девственницы, посвятившей себя на служение наукам, был в ее мечтах почти осуществлен, и вот... Случайно меня вывела из задумчивости громкая фраза Малинина, продолжавшего говорить:

— Она вполне возвысилась над вашим значением женщины: ou menagére, ou courtisane[1],— возвысилась до значения мужчины. За ней всякие ухаживания бесполезны, и следовательно...

— А ты пробовал ухаживать? — перебил я ораторство Малинина.

Он обиделся и что-то промычал.

— Ты попробуй,— посоветовал я.

Мне почему-то попалась фраза: «возвысилась до значения мужчины», и я начал думать на эту тему. «Возвысилась до смелости не скромничать и не дожидаться объяснения, а самой вызывать мужчину — и все тут»,— с какой-то злостью подумал я.

— Замолчи, пожалуйста, меня стошнит от твоей чепухи! — вслух сказал я Малинину.

Малинин смолк, но не вполне, и продолжал что-то мычать под нос, но меня уже это не беспокоило. Я решился объясниться прежде всего с Аннинькой и обдумывал теперь, что ей сказать.

— Ступай к нам,— сказал я Малинину,— Лиза тебя зачем-то давно дожидается...

— Она дома?

— Да, да, ступай. Я скоро приду. Ты не уходи без меня.

Мы расстались, и я поспешно пошел к Шрамам. Чтобы скорее устроить свидание с Аннинькой, я сказал, что пришел за ней: сестра что-то хочет устроить и просила

---

[1] Или жена, или любовница (*франц.*).

зайти к ней. Так как предвиделась сцена с трогательным объяснением, с нежными объятиями, а пожалуй, и слезами, я повел Анниньку в парк. Там была какая-то полуразломанная беседка, украшенная рукописными пакостями местных канцеляристов, пачкавших стены своей неподобной прозой и стихами. Мы там часто видались с Аннинькой, благодаря уединенности и тишине, окружавшим беседку. Когда мы пришли туда, Аннинька, по обыкновению, порывисто бросилась целовать меня, но я остановил ее.

— Вот что, Анюта, — серьезно сказал я,— что ты думаешь о будущности наших отношений?

— Я ничего не хочу думать,— пробормотала она, впиваясь в мою шею.

— Это все ребячество, и его нужно кончить. Мы должны или обвенчаться, или разойтись,— проговорил я, крепко взяв ее за руки и усаживая на скамейку.

Потеряв возможность укусить мне шею, Аннинька, в порыве страсти, грызла себе губы.

— Я — твоя раба,— прошептала она.— Чем ты больше деспот надо мной, тем лучше. Я хотела бы, чтоб ты бил меня, топтал, рвал... Делай со мной, что хочешь.

— Я хочу жениться,— сказал я.

— На другой? — без всякого оттенка печали спросила она.

— Может быть.

— Женись. Я буду твоей любовницей, твоей слугой. Я буду целовать твои ноги; я — твоя раба.

Аннинька вырвалась и бросилась к моим ногам.

Такие сцены повторялись очень часто, а потому я приобрел уже достаточный навык удерживать эти порывы кошачьей страсти, и на этот раз без особенного труда успокоил и усадил Анниньку опять на скамейку.

— Выслушай меня. Если я женюсь на другой, я не буду твоим любовником,— сказал я.

Но Аннинька решительно не хотела слушать меня. Институтское воспитание сделало ее такой, что она, находясь один на один с мужчиной, вполне теряла разум и не помнила себя.

«Нет, это не жена»,— подумал я.

— Ты — мой царь, мой бог,— говорила между тем она, скрежеща зубами.— Я молюсь на тебя...

Она перекрестилась и рванулась, чтобы поцеловать

меня, но я удержал ее и, порядочно рассердившись, проговорил:

— Я больше не знаю тебя. Слышишь, между нами все кончено.

Аннинька захрустела зубами, кажется вовсе не понимая значения моих слов.

— Понимаете,— повторил я,— между нами все кончено, и мы больше никогда не увидимся один на один. Пойдемте, я провожу вас к нам.

Я ожидал, что моя холодность произвела надлежащее впечатление, и вежливо поклонился, думая, что все кончено и остается только соблюдать официальную любезность с дамой. Но я сделал большую оплошность. Аннинька схватила меня за горло и начала душить своими гибкими пальцами.

— Я тебе перегрызу горло,— шипела она, стараясь вцепиться во что-нибудь своими зубами.

Я не без усилия оттолкнул ее и схватил под руку, чтобы вывести из беседки, соображая, что страстный пароксизм скорее пройдет на чистом воздухе. Аннинька без сопротивления пошла со мной, но не успокоилась.

— Я сделаю хуже,— тиская зубами и до крови кусая губы, шипела она,— я найду других...

— Мне совестно слушать эти мерзости,— сказал я.

— Ты их увидишь!

Аннинька ущипнула меня так, что я невольно вскрикнул. Но я не выпустил ее руки и насильно вытащил ее на главную аллею, где уже был народ, и она немного успокоилась, однако ж не переставала злорадно раздражаться, говоря такие цинические вещи, которые мне приводилось в первый раз слышать. Нечего и говорить, что, придя домой, я был очень рад, что наконец избавился от этих бешеных сцен.

— Помните, что все кончено,— шепнул я, провожая ее к сестре.

Аннинька, однако ж, не располагала, как видно, кончить на этом и не дальше как вечером устроила при мне сцену с Малининым. Бедняк совсем ошалел и, ничего не понимая, решительно не знал, что предпринять в то время, как Аннинька целовала его и душила в своих объятиях. Он выставил на вид довольно важный резон, что сердце его принадлежит уже другой, а потому он не может любить никого больше, но она до тех пор мучила

его, пока Малинин не показал тыла, обратившись в позорное бегство.

Вечером я долго не мог заснуть и был рад, когда пришел Андрей с какими-то рассказами о Стульцеве, решительно объявляя, что созвучие «Stultus»[1] и *Стульцев* не может быть объяснено простой случайностью. Но и после ухода Андрея я долго еще ворочался в постели, думая об Анниньке и Софье Васильевне. Мне было с небольшим двадцать лет, я очень мало знал женщин и, блуждая в миллионе незнакомых сомнений, естественно, должен был чувствовать немалое затруднение.

Утром я проснулся очень рано, торопливо оделся и, не дожидаясь чая, отправился к Софье Васильевне.

Не было еще девяти часов, и она только что встала. Я хорошо обдумал, как нужно вести себя, и не чувствовал ни малейшей неловкости, но Софья Васильевна смутилась до последней степени, так что, когда я, наклонившись, поцеловал ее в темя, она слегка вздрогнула.

— Нам придется поговорить довольно подробно,— сказал я, взяв ее за руки и усаживая на стул. По лицу ее разлился широкий румянец, глаза блестели кротким участием. Она, казалось, не могла и не хотела говорить.

— Согласны ли вы быть моей женой? — спросил я, пожимая ее маленькую ручку.

— Да, но подождите, дайте мне немного вздохнуть! — с своей больной улыбкой сказала она, слегка коснувшись своими тонкими пальцами моей руки.

— Месяца через два,— сказал я,— я выдержу экзамен, и мы тогда можем обвенчаться. Поцелуемтесь.

Софья Васильевна с улыбкой подняла голову, и мы поцеловались, если можно так сказать, рассудительным поцелуем, вовсе непохожим на бешеные институтские лобызания Аниньки. Мне очень понравилось в невесте отсутствие всякого нахальства страсти и разнузданности чувств. Я пожал ей руку и сказал, что мы будем счастливы.

— Знаете что, напьемтесь чаю и пойдемте куда-нибудь отсюда,— с живостью сказала она мне.— Моей веселости тесно в этой комнате. Я хотела бы увидать Лизу и сказать ей все: она будет рада.

— Пойдемте к нам.

---

[1] Глупый (*лат.*).

— Да. Знаете, я хотела так устроиться, чтобы не переезжать даже из этой комнаты к своему мужу и жить по-прежнему на свой счет, но...

— Но... все это глупости,— сказал я.— Постараемся быть счастливы, как удастся, без теорий.

Я взял ее под мышки и высоко поднял от земли: Софья Васильевна была легка, как ребенок. Она покраснела и боязливо съежилась. К ней очень шел страх; она в это время как будто хотела свиться в клубок своим гибким телом, слегка наклоняясь вперед. Я сел на диван и начал смотреть, как она своими ловкими руками проворно перекладывала книги со стола, чтобы опорожнить место для чайного прибора.

— Откуда вы приобрели такие пугливые ухватки? — спросил я, любуясь ее маленькой уютной фигуркой.

— Я совсем не пуглива; не знаю, отчего это кажется. Так создана,— с улыбкой ответила она.

— Может быть, детство...

— О нет! — с живостью прервала Софья Васильевна.— Я вовсе не была загнанным ребенком; я пользовалась даже властью над отцом, когда он не бывал пьян. Вот пьяных я... признаться, и теперь очень боюсь...

Во время чая я серьезно заговорил о том, что она должна отказаться от недозволенных начальством затей, так как семейное счастье немыслимо, если одному из супругов будет угрожать опасность...

Софья Васильевна смутилась.

— Знаете,— краснея, сказала она мне,— я бы скорее решилась навсегда расстаться с вами, но не пожертвовала бы своими убеждениями, если б сама уж давно не отказалась от того, что вы называете затеями.

Слова эти она произнесла очень серьезно, даже с оттенком некоторой обидчивости, давая мне понять, что имеет свои убеждения и намерена поступать сообразно им, независимо от моих желаний. Мне это немного не понравилось, но я не сказал ничего.

— Все это случилось очень странно,— говорила Софья Васильевна, разливая чай,— Лиза и Андрей Николаич очень удивятся. Как мы будем жить? — рассмеявшись, воскликнула она,— я никак не могу себя представить в другой комнате и при другой обстановке. Мне даже как-то смешно вообразить два знакомых се-

мейства: ведь, я думаю, Лиза выйдет замуж за Малинина...

— Она его будет держать под башмаком,— сказал я.

— Да, да, да!

Веселое расположение духа сделало Софью Васильевну очень болтливой. С лица ее не сходил яркий чахоточный румянец, и она, не останавливаясь, рисовала сцену за сценой, комические отношения двух предполагавшихся семейств. Дело доходило до того, что Малинин, в старости, с крестом на шее, обвожжанный своим собственным чадом, прытко бегал в роли лошадки по комнатам, соблюдая при этом осторожность, чтобы не услышала старуха жена и не распекла за дурное поведение. Почему-то Софья Васильевна, изображавшая Лизу, окруженную множеством детей, не могла вообразить себя матерью, и я бесцеремонно заметил ей это. Она пришла почти в такое же смущение, в каком я застал ее, войдя утром в комнату. Она съежилась, закашляла и ответила мне пугливым жестом, чтобы я не трогал ее подобными вопросами.

— Лучше пойдемте скорей к Лизе,— сказала она, приветливо улыбаясь мне.

Я подал ей шляпку(она носила старомодные черные бархатные шляпки), и она, завязывая ленты, смеясь сказала мне:

— Однако ж наше объяснение вышло очень прозаично.

— А вы хотели чувствительного объяснения с коленопреклонением? — улыбаясь, спросил я.

— Чем меньше поэзии, тем ближе к делу,— засмеялась Софья Васильевна.— А все-таки я желала бы посмотреть вас коленопреклоненным, пожалуй, даже с пистолетом в руках, отъезжающим на погибельный Кавказ...

Всю дорогу Софья Васильевна смеялась и болтала без умолка всякие пустяки и чтобы живее говорить, взяла от меня свою руку, сказав, что не привыкла ходить под руку, но постарается приучиться, сделавшись моей женой.

Мы вошли в садовую калитку и, проходя через сад, неожиданно встретили Анниньку под руку с Андреем. Она горела, как вакханка, и я со страхом отворотился, чтобы не встретить ее взгляда. Андрей сказал, что они гу-

ляют перед завтраком, и шепнул мне, что получил неожиданно наследство по восходящей линии, за которое, впрочем, благодарит меня.

«Будет скандал,— подумал я,— но все равно, нужно выйти из ложного положения. Лучше сразу».

— Я женюсь,— сказал я,— вот моя невеста.

— Прошу любить и жаловать,— съежившись поклонилась Софья Васильевна, выжидательно глядя на Андрея, точно она просила его о чем и боялась, что он откажет.

— Ваш жених, не примите за комплимент,— величайшая свинья,— сказал Андрей.— Он разговаривал со мной вчера и не сказал об этом ни слова.

— Пойдемте,— потащила его Аннинька.

— Постойте, мой ангел,— такой неожиданный случай!

— Мы пойдем к Лизе,— кланяясь, сказала Софья Васильевна.— Она дома?

— Дома, дома. Ступайте, а мы погуляем и сейчас придем! — крикнул вслед нам Андрей.

Он так относился к Анниньке, что мне стало даже жаль ее, и я невольно оглянулся назад. Они быстро шли; Андрей что-то громко болтал и ерошил рукой ее прическу.

Лиза очень обрадовалась, когда я сообщил ей, что Софья Васильевна будет моей женой; она долго тормошила свою маленькую приятельницу в объятиях и, несмотря на препятствие, оказываемое шляпкой, успела нацеловать ее до одышки.

— Как же вы объяснились? — спросила она, когда Софья Васильевна, освободившись от ее ласк, начала развязывать и снимать шляпку.

— Не умно... как делаются вообще все эти вещи,— улыбаясь, сказала Софья Васильевна,— я написала Николаю Николаичу письмо.

— Вроде того, как ты писала к Оверину,— объяснил я.

— Нет, лучше,— настойчиво кивая головой, поправила Софья Васильевна, — у меня было нечто вроде просьбы об определении на вакантную должность законной супруги...

Началась веселая болтовня, которая с появлением Андрея приняла бесконечные размеры. Мы все были счастливы.

Софья Васильевна пробыла у нас весь этот день, и не случилось никакого скандала, хотя я очень ожидал его со стороны Анниньки. Но она, найдя поклонника в лице Андрея, кажется, считала себя отмщенной и показывала ко мне презрительное равнодушие.

Вечером я отвез Софью Васильевну домой и на прощанье поцеловал у ней руку.

— Знаете,— сказала она мне,— не будем никогда говорить друг другу *ты*. Это сближение очень пахнет халатом и двуспальной периной...

Я ответил, что ее слова пахнут теорией супружеской жизни, но согласился, что нам не к чему менять привычного обращения на *вы*.

— Завтра я рано утром приду к вам. До свидания,— весело проговорила Софья Васильевна, скрываясь в воротах со своим легким и юрким поклоном.

С этого времени мы начали видаться каждый день, как и подобает жениху с невестой. Аннинька окончательно перешла во власть Андрея и не беспокоила меня больше.

Намереваясь держать скоро экзамен, я очень усердно присел за книги, возбуждая благоговейное изумление Малинина, считавшего меня, должно быть, порядочным гением за дерзкое намерение держать кандидатский экзамен через три месяца. Действительно, с моей стороны, как я теперь соображаю, был немалый подвиг зубрить бессмысленную галиматью наших университетских записок, и у меня нередко кружилась голова от наплыва собственных имен и трескучих фраз, но, имея довольно хорошую память, я не отчаивался. Мне даже удалось убедить Малинина, что через три месяца всякий простой смертный, вроде его, может сделаться кандидатом юридических наук. Он не посмел, подобно мне, подать прошение об увольнении из числа студентов, но начал готовиться вместе со мной.

Я помню веселые вечера, когда мы до полуночи изумляли Софью Васильевну и Лизу дрессировкой своей памяти, без запинки прочитывая слово в слово целые страницы нечеловеческих измышлений профессора Герца. Сестра, глядя на Софью Васильевну, начала шить себе какое-то платье, и они очень внимательно следили за нашими успехами, сидя с шитьем в моей комнате. Порой являлись к нам Новицкий и Андрей. Последний до совер-

шенства копировал профессоров и до слез смешил нас, выкрикивая восторженные реплики Слепцова о молодом поколении или шамкая о том, что Гайм не понимает Гегеля, наподобие беззубого Герца... Новицкий нисколько не сомневался, что мы выдержим экзамен, но не хотел к нам присоединиться, говоря, что по выходе Малинина надеется получить золотую медаль и уехать за границу. Для хорошего настоящего не следует жертвовать лучшим будущим, тем более, что три года не пропадут даром, так как, получая стипендию, можно спокойно учиться помимо университета.

В эти счастливые дни мы часто не замечали, как проходило время до полуночи, и в этих случаях Софья Васильевна оставалась ночевать у Лизы, а Малинин ложился в моей комнате и начинал рассказывать, что нехорошо быть бедным человеком, но что, впрочем, личные достоинства иногда могут с избытком вознаградить недостаток состояния.

В это время из уездов начали получаться слухи о крестьянских беспорядках, и в городе много толковали по поводу наивных русских бунтов, над которыми в то время смеялись еще очень немногие. К этим немногим, конечно, не принадлежали ни Андрей, ни его сотоварищи. Скоро, однако ж, дело дошло до того, что для водворения тишины и спокойствия потребовались воинские команды, которые, даже при содействии розог, не вдруг обращали заблудшихся на путь истины...

Вдруг начали кричать о каких-то прокламациях.

— Хочешь, я подарю экземплярчик,— сказал мне раз Андрей, давая какой-то литографированный листок.

Несмотря на мою твердую решимость отдаляться от всех вещей этого рода, я не утерпел посмотреть в этот листок. «Собирайтесь под наши знамена, мы достаточно сильны, нас много...» — успел я пробежать в первых строках, но тотчас же скомкал в руке бумагу и бросил ее в печь.

— Для кого это писано? — презрительно спросил я.

— Для всех...

— И для крестьян?

— И для крестьян.

Не знаю, какое впечатление произвела эта прокламация на крестьян, но она сразу решила судьбу одного человека — Оверина. Прочитав ее несколько раз, он прохо-

дил всю ночь из угла в угол, не давая спать Новицкому, и, когда последний проснулся под утро, ни Оверина, ни кулька с его имуществом уже не было. На столе лежала записка.

«Извините, что я мешал вам спать,— писал Оверин,— я больше не буду жить на этой квартире. Книги на всякий случай сберегите. Если узнаете о моей смерти, можете воспользоваться как книгами, так и бумагами. Тут есть записка о периодах поколений. Вычисления не кончены, но основная мысль довольно ясно высказана вначале. Я хотел сделать попытку вывести исторический закон периодов возрождения. Дело в том...» Тут было довольно подробно объяснено, *в чем дело,* но оно вовсе не интересно для людей, не занимающихся периодами возрождения, и я охотно пропускаю конец записки.

Оверин исчез.

Скоро мы начали получать об нем известия, и почти все рассказы крестьянских беспорядков стали украшаться его именем.

Переходя из деревни в деревню, он как-то случайно забрел в свое поместье. Там Оверин встретился со стариком лакеем, который когда-то нянчил его на руках и сразу преисполнился к своему барину какой-то собачьей привязанностью. После этого старик уже не разлучался с Овериным, и, может быть, благодаря его опытности, первый скрывался так долго от поисков. Приходя в деревню, старик с благоговением предупреждал крестьян, кто к ним пришел и как следует его слушать. Тут он иногда со слезами умиления вспоминал, что сам когда-то носил Оверина на руках...

После этих приготовлений выступал на сцену Оверин. Желал бы я его послушать! Само собой разумеется, крестьяне очень мало понимали, но горячность оверинского убеждения заставила их верить ему...

У меня до сих пор сохранилось письмо одного из бесчисленных буровских племянников, помещика дальнего уезда, который следующим образом описывает свое свидание с Овериным: «Человек, о котором кричит теперь вся губерния, вовсе не имеет тех свойств, какие я предполагал в нем встретить (помещик писал к своему дяде — Бурову, не зная, что последний несколько раз видал Оверина). Я ожидал увидеть зверя с необыкновенной силой, со всклоченной бородой, очень похожего на разбойника

с большой дороги. Оверин не имеет в своей наружности ничего ужасного; глаза его даже довольно симпатичны; только очень строгий очерк рта свидетельствует о фанатической неумолимости и непреклонности этого человека. Он среднего телосложения и очень бледен, впрочем, может быть, вследствие голода и дальних переходов. Старик, его сопровождающий, тоже очень худ и бледен; он высокого роста и совершенно седой. Они встретились со мной в лесу, и, признаюсь, я очень испугался; старик схватил под уздцы пристяжную,— лошади бежали тихой рысью,— Оверин подошел ко мне и задумчиво, даже как будто рассеянно спросил, нет ли у меня хлеба? У меня был с собой погребец, но в нем ничего не было, кроме чаю, сахару и немного рому. От страха, не помня, что я делаю, я открыл погребец. «Извините, мы у вас возьмем сахар: мы ничего не ели два дня»,— сказал Оверин и высыпал сахар в полу своего оборванного сюртука. Старик взял и графинчик с ромом. Только отъехав с версту, я вздохнул свободно».

Это письмо ходило по рукам чуть ли не по всему городу. Оверин наделал в Р. много шуму, и его слава отразилась отчасти и на мне как его ближайшем товарище.

Получая удивительные известия о похождениях Оверина, Адрей хохотал, как сумасшедший, и весело потирал руки. Он находил, что Оверин имеет теперь большое сходство с Дон-Кихотом, которое еще более дополняет его седой Санчо Пансо, и строил юмористические предположения разных сцен оверинского путешествия. Тут было и стадо, перед которым Оверин произносил речи, и лодка без весел, на которой он отплывал на остров Томаса Мура,[1] и пастушья собака, которую Оверин принимал за переодетого агента, и проч. и проч. Андрей решительно объявлял, что из всех этих происшествий можно составить очень порядочный роман.

Катерина Григорьевна находила, что Оверин может быть героем современной эпической поэмы во вкусе Байрона. Володя, который все еще очень рисовался своей рукой на перевязке и, кажется, вовсе не сердился на Анд-

[1] Мур Томас (1779—1852) — английский поэт-романтик; в книге стихов «Ирландские мелодии» воспел Ирландию; здесь, вероятно, имеется в виду утопический роман английского писателя Томаса Мора (1478—1535) «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии».

рея за то, что тот доставил ему такой прекрасный случай поэффектничать, хотя они продолжали дичиться друг друга, Володя отзывался о подвигах Оверина с оттенком некоторой презрительности, находя, что все это не больше не меньше, как выходка сумасшедшего. Зато Ольга и все р-ские дамы были без ума от оверинских деяний.

С карикатуры, набросанной Андреем, где Оверин, нарисованный довольно похоже, ехал на ободранном Россинанте, в сопровождении изнуренного Санчо Пансо, с котомкой за плечами, сделали фотографический снимок, и многие женщины, кажется, не пожалели бы половины своего имущества, чтобы приобресть этот рисунок. Словом, Оверин, жевавший где-нибудь в лесу черствую корку хлеба, никогда не поверил бы, сколько женских сердец готовы пасть к его ногам по первому призыву.

— Кажется, он такой смирный был и никогда не дрался,— говорил Малинин, пожимая плечами.— Ну, происшествия нынче случаются!

— А что?

— Да как же! Тут дуэль, а тут опять Оверин!..

— Я уверена, что крестьяне считают его за блаженного, тем больше, что он в последнее время начал ходить босиком, в одной рубашке, как калика перехожий,— говорила Ольга.— Этакая сила воли!

— Ему недостает только вериг,— замечал Новицкий.

— Что, если он соберет войско, начнет чеканить монету и лить пушки! — восклицал ко всеобщему смеху Малинин.

— И тебя позовет отливать пули,— смеясь говорил Андрей, ероша у Малинина волосы.

Между тем беспорядки становились серьезнее и серьезнее. Крестьяне почти везде отказались работать; кроме того, прошел слух, что дворяне скрывают настоящий манифест, в котором желающим предлагается выселиться на какую-то отменно плодородную землю, подаренную государем. Где эта земля — никто не знал, но тем не менее целые селения неожиданно собирались и выезжали куда глаза глядят. Становые приезжали в пустые деревни и, изумленные этим сюрпризом, отправляли за странниками в погоню, но очень редко возвращали совратившихся на путь добродетели без особого скандала, вроде поголовной порки или внушения казачьими нагайками. Об Оверине крестьяне думали, что он тоже был в загово-

ре с прочими дворянами, но побоялся бога и, ради спасения своей души, решился открыть злокозненные замыслы своих товарищей. Слыша в речах Оверина такие слова: «Вас обманывали, против вас всегда был гнусный заговор, вступитесь за свои законные права» и проч., они еще более убеждались в своих предположениях относительно оратора. Влияние Оверина становилось очень ощутительным, и начальство догадалось наконец употребить все усилия, чтобы изловить его.

. . . .

Наконец Оверина поймали, причем старик, его спутник, ранил из пистолета одного казака, и тот, не помня себя от гнева, убил на месте оверинского спутника. Оверин продолжал сопротивляться до того, что откусил палец одному казаку уже в то время, как его вязали. В город его привезли ночью под строгим караулом...

— Погубил себя ни за грош! — сокрушался Малинин.— И для чего это он все затеял?!

— Однако ж его комедия будет иметь, кажется, трагическую развязку,— сказал раз Андрей.

— Не будет ли это уроком для других комедий? —намекнул я.

— Да-а,— задумчиво сказал Андрей,— и другие комедии близятся к развязке. К эпилогу, кажется, все сойдемся в одном месте.

Он указал в окно на видневшуюся вдали башню.

VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

В Петербурге начались университетские «истории»; предусмотрительное р-ское начальство решило, что и мы не должны отставать от столичного города, и тотчас же озаботилось принять меры к устройству «историй», наподобие петербургских.

Прежде всего в университете, без всякого повода, заколотили двери в курильную комнату, затем около главного подъезда расставили полицейских.

В университет, с городской стороны, на которой жили почти все студенты, нужно было проходить через небольшой мостик. В одно прекрасное утро мы с Новицким, от-

правившись зачем-то в университет, были задержаны на этом мосту. Будочники, стоявшие на одном краю мостика, не пропускали к университету даже кухарок и чиновниц, шедших на рынок, находившийся за университетом. Мы остановились; никто ничего не понимал, но все ждали, что будочники скоро освободят вход.

— Что такое? — с недоумением спрашивали друг друга.

Я полагал, что это какое-нибудь недоразумение и что во всяком случае через минуту мост должен освободиться. Но недоразумения никакого не было. Мы прождали с полчаса и когда начальство увидело, что толпа достаточно велика для того, чтобы можно было заключить о ее неблагонамеренности, явились жандармы.

— Расходитесь, извольте расходиться!

Но разойтись не было никакой возможности. Единственный выход оставался — через перила мостика — в воду, куда и начали прыгать благоразумнейшие из толпы. Поднялись крики, визг, толкотня и давка невыразимые... Мне нельзя было двинуться: что-то свистнуло в воздухе, и я слышал, как Новицкий яростно закричал какое-то ругательство. Крик этот, кажется, был сигналом к еще большей сумятице...

Я решительно безумел во всей этой бессмыслице, но мне как-то инстинктивно удалось добраться до перил моста, и я, не рассуждая о последствиях, соскочил в воду. Речка была очень мелка, и я сильно ушиб себе ногу о каменистое дно.

Множество людей, бросившихся подобно мне с моста, несмотря на ощутительный холод, брели, по колено в воде, вдоль по течению речки, не смея выйти на берег, который строго охранялся. Я побрел за другими, едва дыша от бессильного гнева. Холодная вода жгла мои ноги, сапоги скользили по галькам, которыми было усыпано дно, и мы подвигались вперед очень медленно, торопясь и спотыкаясь на каждом шагу...

Нечего и говорить, в каком состоянии духа я вышел на берег, сел на извозчика и приехал домой. Мне не хотелось даже ни с кем видеться; я переменил белье, запер дверь на замок и лег в постель. Я крепко стиснул зубы, зажмурил глаза и укрылся одеялом, стараясь задавить в себе беспокойные мысли. Но они насильно лезли в мою голову.

Не помня себя от гнева, я скоро встал и начал писать

о случившемся в Петербург... С величайшим жаром я испачкал большой лист почтовой бумаги, но, начавши перечитывать, сообразил всю нелепость моего предприятия и изорвал письмо.

После этого я начал ходить по комнате, будучи не в состоянии никак обнять бездну зла и глупости последних обстоятельств.

Своими размышлениями я увлекся до того, что отправился было к обеду в халате, но вовремя опомнился и велел подать себе что-нибудь в комнату, сказав, что я нездоров.

— Дома брат? — спросил я Савелья, когда он явился накрывать на стол.

— Нет-с, они в театре, с Софьей Васильевной...

— Когда придет Андрей Николаич, скажи, что мне нужно с ним поговорить,— сказал я, не совсем понимая что говорю и делаю.

Мне на минуту даже стало почему-то досадно, что брат в настоящую торжественную минуту присутствует на репетиции какого-нибудь водевиля.

К обеду я почти не касался и велел его поскорее убрать.

Оставшись снова один, я на всякий случай начал разбирать свои бумаги...

Часов в двенадцать меня разбудил Сенька с зажженной свечкой в руке.

— Барин, Андрей Николаич велели вас разбудить... за ними пришли-с! — пробормотал он, бросив свечу на столик у кровати, и убежал куда-то.

Я вскочил и начал одеваться. Андрей постучал мне в стену. В его комнате происходил великий стук, шум и шарканье.

— Прощай. Может, не увидимся,— крикнул мне он.

Одевшись второпях, я вышел в залу. Там на столах горели зажженные свечи, в суматохе расставленные по разным местам, так что вовсе не освещали комнаты. Савелий, бледный от страха, торчал у дверей. Два полицейских лениво и осторожно ходили из угла в угол, отдельно друг от друга.

— Извините, что обеспокоил, — встретил меня полицейский, вытаскивая какую-то бумагу (оказалось, что Стульцев донес подробно обо всем, куда следует). — Сделано распоряжение о вашем арестовании. Я имею

честь говорить, кажется, с господином Андреем Негоревым старшим.

— Он сейчас выйдет. Вероятно, есть приказ и о моем аресте? — как только мог холодно, спросил я.

— Да-с, и вашей сестрицы... Вы господин Негорев второй?

— Вот, господа, теперь можете пожаловать, если угодно, в мою комнату: я одета, — весело проговорила Лиза, отворяя дверь.

— Мы должны сделать обыск, — в виде извинения проговорил полицейский.

— Я могу присутствовать при обыске?

— Можете.

Мы прошли в комнату сестры, полицейский офицер попросил ключи от комода и шкафа, и началось бесцеремонное разрыванье вещей и книг. Сестра, вероятно, не ожидала, что ее арестуют, да я и сам не мог этого предвидеть, и потому все ее бумаги, не исключая и писем Оверина, попали в руки полиции. Их сложили в портфель, обвязали шнуром и заставили Лизу запечатать своей печатью. После этого полицейский на клочке бумаги, припечатанной к портфелю, попросил написать Лизу: «Бумаги в сем портфеле, запечатанные моей печатью, которая находится при мне, принадлежат мне».

— К чему это, я и так не отопрусь, — сказала Лиза, которая, по-видимому, не только не смущалась своим арестом, но еще радовалась ему.

— Нет-с, уж, пожалуйста, напишите и печать возьмите с собой в карман...

Лиза, смеясь, исполнила это требование и спрятала печать в карман.

— Ну, теперь все кончено? — спросила она.

— Да-с. Теперь пойдемте к господину Андрею Негореву...

— И мне можно? — спросила сестра.

— Сделайте одолжение...

— Monsieur Негорев! — крикнул один полицейский, пробуя запертую на замок дверь Андреевой комнаты.

Ответа не было.

— Он спит, потому что убежден в своей невинности, — насмешливо сказала Лиза и громко захохотала.

— Он ушел! — вскричал полицейский и начал стучать ногою в дверь.

— Что это значит? — в раздумье проговорил другой незнакомец. — Он не мог уйти. Вы знаете наверно, что ваш брат ночует сегодня дома?

— Мы за ним не следим, — дерзко ответила Лиза.

В это время, как черт из табакерки с пружиной, выскочил откуда-то в коридоре солдат и крикнул:

— Лаврентьева подняли при смерти! Должно — они ушли.

В комнате послышался стук; кто-то спрыгнул с подоконника на пол.

— Здесь никого нет, ваше благородие, — сказал грубый голос за дверью.

Лиза залилась умышленно громким, бесцеремонным хохотом.

— Вот сюрприз-то! — восклицала она.

Обшарили сад и все окрестности, покуда догадались спросить у будочника, стоявшего на углу улицы. Оказалось, что мимо его прошли две женщины, пьяный лакей и какой-то молодой человек высокого роста, который свистал и, казалось, прогуливался. По всем приметам, это был Андрей. Солдата, которого предполагали убитым, привели в чувство, и он рассказал, что видел Андрея, выскочившего из окна, но, прежде чем мог закричать, получил удар в голову, от которого впал в беспамятство.

— Теперь нам можно отправиться, — сказал полицейский, взявшись за фуражку.

. . . .

Я лег на жесткую койку и закрыл глаза, чтобы поскорее заснуть. Арест меня не смущал нисколько: я был уверен, что он продлится не более двух-трех дней, но все-таки ночевать вместо своей комнаты в каземате было порядочным наказанием — за что же? Мне начали лезть в голову самые досадные мысли... Где-то теперь Софья Васильевна? арестована? Она в последнее время была не совсем здорова, может серьезно заболеть, прожив с неделю в этаком подвале...

В коридоре шаркали несмолкаемые шаги, порой звучно отдавались чьи-то громкие слова и слышалось звяканье ключей.

«Не Андрея ли привели?» — подумалось мне, и с этой мыслью я заснул.

. . . .

Мало-помалу ко мне доставили столы, стулья, само-

вар, стаканы, тарелки, так что я очутился там с целым домом.

Мне было не скучно, так как книги были со мной, и я очень усердно читал в то время с лексиконом «Векфильдского священника»[1], а потом, сообразив, что поэзия есть везде, не только в уединении жизни деревенского священника, но даже в одиночном тюремном заключении, решился изобразить в небольшой повести всю прелесть и поэзию жизни в четырех стенах каземата. Я очень увлекся работой и в неделю измарал с десть бумаги. Но тут мое поэтическое вдохновение значительно охладилось перед вопросом: зачем я сижу?

. . . .

Наконец началось следствие.

Довольно большая светлая зала была убрана довольно роскошно. Было очень много красного сукна и синей шелковой материи. Презус[2], еще очень молодой человек, сидел у стола в креслах; около него стояло несколько человек, и они о чем-то с живостью разговаривали. Впрочем, при моем появлении разговор прекратился.

— Это ваши бумаги?

— Мои.

Портфель вскрыли и начали разбирать университетские записки и тетрадки с немецкими переводами и русской диктовкой.

— Ничего нет подозрительного, — проговорил презус, отталкивая от себя кипу тетрадей.

— Вероятно, все-таки есть какое-нибудь подозрение, что меня держат другую неделю под арестом. Я желал бы знать, — сказал я.

— Узнаете.

Презус с торопливым деловым видом схватил лист бумаги и начал что-то поспешно писать. Как оказалось, это были вопросы, которые он и передал мне.

Я начал переписывать первый вопрос. Он, как теперь помню, заключался в следующем: какие сведения имею я о намерениях Андрея Негорева и не принимал ли в этих намерениях участие? «Ни о каких противозаконных намерениях ни от Андрея Негорева, ни от кого другого я не

---

[1] «Векфильдский священник» — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774).

[2] Презус — председатель военного суда.

слыхал и сам участия ни в чем противозаконном не принимал», — не думая, написал я.

Следующие вопросы относились до побега Андрея и моих отношений с Овериным. Между прочим, спрашивалось, что я знаю об отношениях сестры моей, девицы Елисаветы Негоревой, к студенту Сергею Оверину? Я написал, что отношения их ограничивались ребяческой перепиской, существовавшей еще во время пребывания Оверина в гимназии и затеянной сестрой, которая знала тогда Оверина только по моим рассказам. Оверин был в нашем доме всего два-три раза; вне дома они не могли видеться, и между ними не могло быть особенно близких отношений.

Были еще вопросы относительно дочери статского советника Ольги Ротаревой, студента барона Владимира Шрама, вдовы действительного статского советника баронессы Екатерины Шрам, студента Семена Новицкого, дочери отставного ротмистра Софьи Лоховой и др.

Углубившись в писание, я и не заметил, как ввели в комнату Оверина, и только его голос заставил меня оборотиться. Оверин был одет в серую куртку; лицо его, как всегда, было сосредоточенно серьезно и бледно.

— Господин Негорев, — кликнул меня презус. — Знали вы этого человека?

Он указал на Оверина.

— Знал. Я учился с ним в гимназии.

— Как же вы говорите, что никогда не слыхали даже фамилии Негоревых? —отнесся презус к Оверину.

— Неужели вам не надоело все это? А мне надоело хуже редьки, — невнимательно сказал Оверин.

— Вы вредите и себе и другим,— убедительно заговорил презус. — Заметьте, что, покуда я бьюсь тут с вами, люди сидят в тюрьме...

— Так выпустите их, — равнодушно предложил Оверин. — Я не понимаю, зачем вы *бьетесь* со мной? О чем говорить тут?

— Я дописал, — сказал я, подавая мои ответы. — Неужели мне долго придется еще сидеть?

— Извините, я посмотрю ваши ответы, — проговорил презус и начал, шевеля губами, пробегать написанное.

— Два лица, — сказал он, кончив чтение, — свидетельствуют, что вы были на первой сходке членов, но потом отказались.

— Это неправда. Я бы желал иметь с этими лицами очную ставку, чтобы опровергнуть их показания.

— Хорошо. Но вам все-таки придется подождать дня четыре.

— Позвольте мне сказать несколько слов о сестре, — сказал я.

— Это лишнее; она сама тут довольно наговорила, — улыбаясь, сказал презус. — Она теперь освобождена.

— Ваша сестра — храбрая девушка, — заявил Оверин.

Я опять очутился в своем каземате. Теперь не было никаких беспокойств относительно того, что я могу надолго остаться здесь, забытый начальством. Мне даже показались смешны мои недавние опасения, и я спокойно принялся за свою повесть, но приятное расположение духа мешало мне писать. Я встал, начал ходить из угла в угол и думать о Софье Васильевне.

Я давно уже перестал увлекаться мечтами и неосуществимыми планами и рассудительно обдумал, по какой жизненной дороге следует идти к благополучию. Благонамеренным ученым и всеми презираемым профессором я быть не хотел, так же, как далек был от желания сделаться добросовестным тружеником и попасть под надзор полиции. Словом, я давно решил, какую из доступных мне дорог следует выбрать. Сообразно с основным решением относительно своей карьеры я начал теперь обдумывать устройство семейной жизни с Софьей Васильевной. Она была немного фантазерка, но я вполне полагался на свою рассудительность и был совершенно спокоен за наше благополучие, поэтому мне оставалось только рисовать теперь картины нашего будущего семейного счастья. Настроение моего духа вполне соответствовало этому занятию, и я весело проходил весь день из угла в угол по своему каземату...

Прошло четыре дня, пять дней, и я опять начал мучиться ожиданием. Ожидать без срока очень неприятно. Каждый час, каждую минуту прислушиваешься: вот послышатся шаги, звон ключей и солдат скажет: «Пожалуйте в караульную комнату». Ничего не слышно. Хотя бы кто-нибудь так прошелся и раздались бы шаги — ожидание оразнообразилось бы немного: вместо шагов стал бы дожидаться звона ключей. Я промучился так целую неделю, и после этой недели как приятно прозву-

чали в моих ушах грубые слова: «Пожалуйте в караульную комнату!»

Когда мы приехали в губернское правление и меня ввели в присутствие, там собралось на этот раз довольно много народа. Два бедно одетых студента сидели у столов и писали показания. Перед презусом стояли Шрам, Стульцев и еще какой-то незнакомый мне молодой человек. Стульцев смущенно дергал очками, порываясь сказать что-то. Володя был бледен, губы его иногда вздрагивали, и он не мог скрыть трепета, пробегавшего по всему его телу.

— Негорев! — крикнул презус.

Я подошел.

— Он совсем ни о чем не знал, — с живостью выговорил Володя.

— Вы! — позвал презус Стульцева, вероятно брезгуя произнести настоящее имя доносчика. — Вы писали, что он присутствовал на первой сходке...

— Я писал, да, ну, — задергал своими очками и забормотал Стульцев, — кажется, он...

— Я не присутствовал и не знаю даже, когда и где была эта сходка. Вы говорите *кажется;* сообразите хорошенько — может быть, припомните, что вы ошиблись,— серьезно сказал я.

— Да, другой, не он, да, да,—забормотал Стульцев.— Это Малинин, студент... юрист... да...

Губы Володи вздрогнули.

— И Малинин ничего не знал, — выговорил он.

— Как же, ведь и вы говорили, что Николай Негорев был на первой сходке, а потом уже отказался? — отнесся к нему презус.

— Я не помню, что я говорил. Я ошибся — тут были Стульцев, Чеботарев, я, Торопов...

— Чеботарев умер, — с досадой остановил презус перечисления Шрама.

Досада его была вполне основательна. На недавно умершего студента Чеботарева и на бежавшего Андрея указывали теперь все как на главных виновников и как на свидетелей разных неблагонамеренных поступков и разговоров...

Большая часть обвиняемых оправдывалась таким образом: «Я с детства питал дружественные чувства к Чеботареву; вдруг узнаю, что он присоединился к зловред-

ному обществу. Я начинаю обращать его на путь истины (при нашем разговоре был свидетель, который может подтвердить это, — старший Негорев), но Чеботарев не соглашается со мной, и, чтобы яснее, так сказать на самом деле, показать нелепость его увлечения, я решаюсь сам присоединиться к обществу. На сходках я постоянно убеждаю моих товарищей оставить их предприятие, угрожаю даже донести обо всем правительству, но медлю, ожидая, что они образумятся. К сожалению, Негорев старший и Чеботарев постоянно разжигают страсти, и я не могу ничего сделать. Наконец я решаюсь на последнюю меру: донести обо всем начальству, сажусь писать, но вдруг входит полиция и арестовывает меня».

После нескольких незначительных вопросов от меня отобрали подписку о невыезде из города и вручили моему конвойному бумагу о моем освобождении. Очутившись в своем каземате и собирая свои вещи, я испытывал очень странное чувство, похожее на печаль. Прощаясь с тюремными стенами, невольно чувствовалось, что тут проведены три недели жизни, — три недели, которые не воротить больше. Вообще мысли о невозвратности времени внушают грустное чувство. Мне почему-то в это время припомнились глупые стишки: «Глагол времен — металла звон», и я начал припоминать имя изобретателя часов с боем, чтобы наполнить чем-нибудь ощутительную пустоту в мыслях.

IX

В КОТОРОЙ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА И ОВЕРИН ПОЯВЛЯЮТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Воротившись домой, я встретил первым Савелья, который несказанно обрадовался моему освобождению из-под ареста, хотя тут же не забыл сообщить, что Сенька в мое отсутствие большею частью пропадал неизвестно где и оставлял его, Савелья, как без рук. Сестры не было дома, и я прошел к себе в комнату. Там лежало письмо от Андрея с заграничным штемпелем. Он извещал, что принужден был уехать, без моего ведома, за границу. Как удалось ему благополучно выбраться из отечества, он об этом благоразумно умалчивал, и я не мог его не похва-

лить за это. Когда я дочитал письмо, заключавшееся рассказом, что в Германии брат, не зная немецкого языка, счел за лучшее притвориться совсем немым и, к великому скандалу благодушных немцев, ездил по железным дорогам без билета, на правах убогого человека,— когда я дочитал и обернулся, за моей спиной стоял Савелий, очень интересовавшийся судьбою Андрея. Он как старый слуга позволял себе некоторые вольности при обращении с нами и теперь очень сладко улыбался, желая что-то меня спросить.

— Другому государю Андрей Николаич передались? — сказал он наконец. — Лизавета Николавна говорили, что они за границу уехали.

— Да.

— И их, значит, теперь оттуда не выдадут?

— Да. Где Лизавета Николавна?

— Оне у Софьи Васильевны, Софья Васильевна нездоровы. Лизавета Николавна еще вчера ушли туда с Натальей; там и ночуют.

— Не знаешь, сильно она нездорова?

— Должно, сильно-с. Оне в этой напасти (Савелий, конечно, подразумевал под этим деликатным выражением тюрьму, в которой и сам посидел за барские грехи) тоже были, так ее оттуда по болезни и выпустили. Больно строг этот генерал. Как меня допрашивали, так я видел Владимира Александрыча: весь трясется, даже плачет, бедный.

Мне надоела эта нелепая фамильярная болтовня обрадовавшегося чему-то сдуру старика, и я крикнул на него, что он лучше бы делал, если бы чище держал в мое отсутствие комнату. В комнате у меня действительно лежали целые слои пыли: вероятно, Савелий думал, что я ворочусь из тюрьмы нескоро.

Старик спохватился, куда завела его глупая радость, покраснел и начал неловко соваться из угла в угол. Я оставил его рассеивать свое смущение с щетками и метелками в руках и вышел в залу, где застал Савушку-управляющего. Он позировался перед зеркалом, корчил рожи и выделывал очень хитрые выверты всем своим телом.

— Вы можете теперь ехать в деревню,— громко сказал ему я.

Зала и все комнаты смотрели такими печально-пусты-

ми, что мой голос очень странно раздался даже в моих собственных ушах. Савушка вздрогнул и, кажется, немного испугался.

— Слушаю-с,— пробормотал он, по-лакейски вытягиваясь в струнку.

В воротах мне попался кучер, ехавший в телеге за моими вещами, и я пожалел, зачем ему не велел заложить лошадь для себя. Я очень торопился и чуть не бегом пробежал с полверсты, пока встретил извозчика.

В квартире Софьи Васильевны была глубокая тишина, и мой стук в дверь отдался звучнее, чем я желал.

— Можно войти? — спросил я.

— Войдите,— глухо отвечал голос сестры.

Я вошел. Ширмы были отодвинуты, и мне прежде всего бросилась в глаза белая постель, столик с лекарствами, медный таз, стоявший у изголовья, и запах можжевельного дыма в комнате. Сестра сидела у постели; руки ее свесились к полу, и она какими-то безумными глазами смотрела на Софью Васильевну, которая неподвижно лежала на спине. Беспорядок, царствовавший в комнате больной, спущенные сторы, запах можжевельника и отчаянная поза Лизы поразили меня. Не здороваясь с сестрой, я подошел к постели и взглянул на Софью Васильевну. Полуоткрытые стеклянные глаза ввалились, нижняя челюсть отвисла, рот был открыт, губы черны — нет сомнения, это был труп. Я приложил руку ко лбу: лоб был холоден.

— Она умерла,— сказал я.

— Да,— не двигаясь, тихо отвечала Лиза, точно она боялась разбудить покойницу.

Я поспешно накинул одеяло на лицо Софьи Васильевны и отвернулся.

— Что ж ты сидишь тут? — сказал я сестре, окончательно потерявшись и не зная, что я делаю и говорю.— Надо позвать людей. Где Наталья? Лиза, где Наталья?

Я начал трясти сестру за плечо; она была точно сонная. Затруднение мое достигло крайних пределов, и я решительно потерялся. К счастию, в это время в дверь вошла Наталья со склянкой какого-то лекарства; она ходила в аптеку.

— Она умерла,— сказал я,— лекарство не нужно.

«Если умерла, конечно, не нужно: всякий знает, что

мертвые не пьют лекарства — это плеоназм»[1],— ни с того ни с сего подумал я.

— Господи! — вскричала Наталья, поставив склянку и начиная креститься.— Надо воды,— по-христиански,— ох, господи!

Наталья, очевидно, приготовилась выразить свое соболезнование слезами и уже начала куксить. Мне не понравилось ее выражение *по-христиански,* как будто выражавшее подозрение, что я дурной христианин.

— Делай по-христиански, только без причитанья,— строго сказал я ей и в ту же минуту почувствовал, что сделал глупость.

«Может быть, она в самом деле сочувствует,— думалось мне,— но все-таки слезы тут ни при чем. Однако ж я не у места холоден».

— Позови кого-нибудь помочь тебе,— проговорил я и тотчас же стал думать, что еще глупее замазывать ласками свою строгость.

Наталья засуетилась. Сестра продолжала сидеть, неподвижно глядя на труп. Я подошел к окну, чтобы скрыть от них свою неловкость. Но и там я не нашел покоя; меня почему-то смущала Наталья, и мне хотелось сказать ей что-нибудь.

— Наталья,— сказал я,— закрой глаза и подвяжи платком челюсть.

«Вот глупость-то! Кому закрой глаза? себе? Покойнице. А ты сам боялся закрыть ей глаза?» — продолжали беспокоить меня мои собственные мысли, и я укусил себе до крови губу. На стене, прямо против меня, было приколото булавкой к обоям расписание Софьи Васильевны. «Эту булавку не так давно держали те проворные пальцы, которые сгниют теперь через шесть дней». И отвратительное чувство, известное под названием страха и тоски, овладело мной.

«Какой сегодня день? Четверг,— соображал я.— Два часа. В четверг, в два часа (я посмотрел в расписание) Софья Васильевна должна читать русские журналы. А она умерла и не читает, не может — и не будет читать *никогда больше».*

Эти простые, понятные вещи наводили на меня невы-

---

[1] Плеоназм — сочетание слов, близких друг к другу по значению, из которых одно или несколько являются лишними.

разимо тоскливые думы о том, что когда-нибудь и мне не понадобятся ни русские, ни иностранные журналы.

— Барин, вы бы вышли, мы будем обмывать покойницу,— тихо сказала мне Наталья.

Я, ничего не понимая, пошел к дверям. Труп, закрытый одеялом, лежал на прежнем месте. Подле кровати стояло корыто и суетилась хозяйка-чиновница; сестра попрежнему сидела неподвижно. Я взял ее за руку; рука у ней шевелилась, как у сонной, повинуясь только закону тяготения.

— Лизанька, голубчик, пойдем отсюда,— сказал я.

Она молчала. Я обнял ее за талию, поднял со стула, и она машинально вышла за мной из комнаты. Мне было жаль сестру, я поднял ее голову за подбородок и нежно поцеловал.

— Полно, голубушка, успокойся.

Лизу тронула эта нежность; она крепко обняла меня и начала рыдать. Я осторожно свел ее в комнату хозяйки и посадил на диван. Почему-то мне показалось очень полезным заставить ее выпить стакан воды и натереть виски уксусом; она исполнила это весьма покорно, заметив только, что вода чем-то пахнет. Возня с Лизой очень помогла мне оправиться от замешательства и принять свой настоящий, нормальный вид.

— Как она умерла странно! — задумчиво сказала сестра, когда совсем успокоилась и перестала плакать.— Все говорила со мной о посторонних вещах, вдруг замолчала и начала стонать. Потом так скоро, как здоровая, повернулась на спину и сказала: «У него безнравственные мысли». Я спросила, про кого она это говорит, но она только глубоко вздохнула. Я посмотрела, а уж у ней отвисла нижняя челюсть. Как скоро!

— Чахоточные всегда так умирают,— сказал я.— У тебя красные глаза: ты, верно, не спала ночь; поедем домой — теперь ей твои услуги бесполезны.

— Да,— согласилась Лиза, отирая платком заплаканные глаза.

— Наталья! — крикнул я, но она не явилась, и я сам отправился в комнату покойницы.

Приотворив дверь, я только мельком видел маленькое, сухое тело Софьи Васильевны, над которым Наталья, в бурнусе и головном платке (в том виде, в каком пришла из аптеки), совершала вместе с хозяйкой, по-види-

мому, какой-то обряд, но вся эта картина стоит теперь перед моими глазами, и мне слышится запах гнили, еловых веток и ладана. При виде белого маленького трупа мне пришел почему-то в голову вопрос о седалище умственных способностей. «Китайцы думают, что разум заключается в животе»,— мелькнуло у меня в голове, но тут я сообразил все неприличие своего положения перед голым трупом женщины и крикнул Наталью.

Она вышла ко мне все еще в бурнусе и платке, повязанном на голову.

— Ты останешься здесь,— сказал я ей,— известишь полицию и распорядишься похоронами. Вот тебе деньги. Что ты не разденешься?

— Ох, господи, я и забыла! — засовалась Наталья, сдергивая с себя бурнус и роняя на пол деньги.

— Я вас не смею обременять хлопотами,— в виде извинения сказал я хозяйке, которая с большим любопытством выглянула в дверь. Она была чиновница, а к этим особам, ругающимся из-за трех копеек на рынке, я вообще питаю большое недоверие.

— Все это как будто мне не верится,— сказала Лиза, когда мы вышли.— Как-то это странно, что жила-жила — и вдруг умерла...

— Мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий! — проговорил я, не находя ничего более утешительного в своих мыслях.

— Про кого это она сказала — *у него безнравственные мысли?*

— Когда ты освободилась?— спросил я, чтобы развлечь как-нибудь Лизу и переменить разговор, так невыгодно для меня касавшийся человека с безнравственными мыслями.

— Недели полторы, вместе с Натальей.

— Разве она тоже была арестована?

— Как же. Она так перепугалась, что только плакала, и от нее ничего не могли добиться.

— Ты, кажется, не так испугалась.

— Я вовсе ничего не пугалась. Я так замечталась одна, что мне даже хотелось, чтобы меня обвинили...

— Вместе с Овериным,— подсказал я, вводя, так сказать, ее мысли в покатое русло, по которому они должны были покатиться вдаль от картин болезни и смерти.

— Да...— рассеянно проговорила она.

— Он очень похож на протопопа Аввакума[1],— ему недостает только жены,— сказал я.

Разговор перешел на Оверина, и сестра начала рассказывать, как он уговаривал членов следственной комиссии отказаться от тлена мира сего и пожертвовать собой для общего счастья. О Софье Васильевне сестра, казалось, забыла, но я продолжал против воли думать о ней. Неожиданная смерть, сначала не очень сильно поразившая меня, теперь не выходила из головы, и я щипал себе руки, чтобы не впасть в столбняк от тьмы и хаоса, царствовавшего в моих мыслях. Чувствовалось только одно понятие о совершившемся факте, и я не мог ослабить или осмыслить это понятие: оно сидело каким-то гвоздем, вбитым в голову. Я никогда не давал воли своим чувствам и приучился вполне господствовать над ними; но на этот раз я не без труда заставил себя отнестись хладнокровно к потере, которую никакая печаль не могла воротить.

Мне было так тяжело в своей комнате, где все напоминало счастливые вечера со свечами, в присутствии маленькой ловкой швеи, когда мы смеялись над плоскостями университетских записок,— так было тяжело сидеть в этой комнате, с холодным убеждением о невозможности воротить прошлое, что я велел перенести свои вещи в комнату Андрея и поселился там.

Я начал с каким-то изуверством мучить себя университетскими записками и должен принести им теперь искреннюю благодарность за то, что они обессмысливали меня и отвлекали от печальных мыслей Мы с Малининым проводили за книгами целые дни, почти не выходя из комнаты, так что даже его терпение и прилежание иногда не выдерживало, и он уходил от меня «подышать свежим воздухом».

Прошло с месяц времени. Кости Софьи Васильевны давно гнили в земле, мы почти были готовы к экзамену, а следствие по нашим делам все еще продолжалось. Дело так затянулось, что окончание его совпало с началом экзаменов.

---

[1] Аввакум Петрович (ок. 1621—1682) — протопоп, старообрядец; за выступление против церковных нововведений был сослан в Сибирь, жена его последовала за ним.

Мне стоило большого труда убедить Малинина подать прошение об увольнении из университета (без этого, в качестве студента, его не допустили бы до кандидатского экзамена). С его стороны это было действительно большим риском, так как, не выдержав экзамена, он лишался стипендии, а вместе с тем и куска хлеба. Но Лиза сказала ему, что она все равно выйдет за него замуж, выдержит или не выдержит он экзамена, и любвеобильный Малинин больше не сопротивлялся. На этом условии он, я думаю, готов бы был подать прошение о наказании себя плетьми чрез руку палача, с наложением узаконенных клейм.

Экзамены пошли очень быстро; Малинин с изумлением начинал верить, что он действительно вскоре будет кандидатом юридических наук. Я без смеха не могу вспомнить его смущение, когда, воротившись с последнего экзамена, я поздравил его кандидатом, а Лиза в награду за прилежание и успехи позволила ему поцеловать руку. Она находила, что много баловать таких людей, как Малинин, не следует большими поощрениями.

— Что же теперь делать? Диссертацию писать? А после надо на службу,— вслух размышлял Малинин, стоявший, растопырив руки, точно он оделся в парадное платье для парадного выхода.

Малинин как жених стал очень серьезным и раз сделал мне намек в длинной речи о свадебных обычаях у разных народов, что ему надо бы сделать невесте какой-нибудь подарок. Я посоветовал ему употребить для этой цели хорошо переплетенный экземпляр «Домостроя».

Его очень смущала некоторое время диссертация, и он тогда только успокоился, когда я заплатил Крестоцветову пятьдесят рублей за сочинение двух наших диссертаций. Этот практический товарищ Новицкого не только писал для всех желающих за умеренный гонорарий кандидатские диссертации и сочинения на программы, но выдержал уже в разных русских университетах до тридцати кандидатских экзаменов за разных лиц. Он находил, что науки должны питать юношей, и открыл с этими экзаменами целую отрасль промышленности, так что ему случалось держать экзамен за двух сразу и выходить, под именем Иванова, толстяком, с бородой и в очках, давая ответы басом, а потом являться Петровым, со своей обыкновенной наружностью, во фраке и пищать ответы дискантом.

Будучи заняты экзаменами, возясь с записками и книгами, мы очень мало интересовались судьбой следствия, и только чрез несколько дней по окончании экзаменов я с живым любопытством узнал, что дело уже окончилось.

— Хорошо бы навестить Оверина — посмотреть, что с ним делается,— сказала мне как-то сестра.

Несмотря на свое формальное обручение с счастливым Малининым, Лиза не считала нужным скрывать участие, которое чувствовала к судьбе героя своего бывшего романа. Я сам очень интересовался Овериным и, как только узнал, что с ним можно видеться в остроге, немедленно отправился туда.

Меня без всякого труда впустили в ворота, обшарив, впрочем, не несу ли я арестантам чего запрещенного, и я не без смущения очутился в темной и грязной приемной, уставленной по стенам черными деревянными лавками. Несколько арестантов в черных кафтанах разговаривали с какой-то женщиной-посетительницей, державшей в руках саквояж. Я знал, что это *дворянская* приемная и что, следовательно, между арестантами не могло быть убийц, но темнота и самый характер комнаты со сводами все-таки производили неприятное впечатление, близкое к страху.

Когда я назвал фамилию Оверина, за которым тотчас же пошел один из бывших тут служителей, арестанты начали о чем-то с живостью перешептываться между собой, поглядывая на меня. Я не сомневался, что разговор шел о моей особе, и вполне убедился в этом, когда один из арестантов подошел ко мне такими тихими и робкими шагами, что я подумал, не хочет ли он попросить у меня маленького вспомоществования на похороны только что умершей жены.

— Вы, кажется, к Оверину пришли? — спросил он меня заискивающим, подхалюзистым тоном.

— Да. А что вам угодно?

— Вот мы сейчас говорили об этом. Знаете ли, он такой думчивый — ни о чем не заботится. У нас есть тут кухня, мы складываемся по рублю в неделю и питаемся, потому — казенное кушанье ничего не стоит. Господин Оверин не имеют при себе денег, но мы уж все равно приняли его: видно благородного человека! Это не господин барон Шрам, что переехал сюда с бархатными кушетками да козетками. Извините — он, кажется, вам родствен-

ник... А Оверин — это что дитя думчивое: об себе он не заботится: покормят — ладно, не покормят — также.

Я подумал, что речь клонится к тому, чтобы выманить у меня немного денег в уплату за внимание к задумчивому дитяти, и взялся за бумажник, размышляя, достаточно ли будет на этот предмет одного рубля или приличнее дать три.

Но арестанты были лучше, чем я думал.

— Мы вас хотели попросить, чтобы вы похлопотали за него,— заключил арестант свою речь об Оверине.

— Я могу дать очень немного денег,— сказал я, вынимая бумажник.

— Нет, зачем же? Вы лучше принесите немного белья и сходите к его попечителю. Он говорит, что отдал попечителю на хранение около двадцати пяти тысяч: может, он побоится бога — согласится помочь ему теперь. Мы его все жалеем: он такой чудак,— думает мир посвоему перевернуть.

— Кажется, господин Негорев? — робко спросил меня другой тщедушный арестант, с длинной рыжей бородой.

— Да.

— Лохов. Позвольте познакомиться. У нас общая печаль,— пробормотал он, несколько смутившись тем, что я не дал ему руки.— Я говорю, что Оверин...

Но тут эта речь его была прервана появлением самого Оверина. Оверин был в черном кафтане, волосы его были по обыкновению всклокочены в очень красивый шиньон, и он подошел ко мне тем же рассеянным шагом, каким подходил когда-то, в гимназии, рассказать, что русскую армию следовало бы одевать в красное платье для вящего устрашения неприятелей.

— А, это вы! — приветливо сказал он, здороваясь со мной.— Вот хорошо, что пришли. Мне нужно вас о многом попросить.

Оверин был очень весел, он даже с некоторой игривостью взял меня за руку и усадил на скамейку.

— Как вы поживаете? — спросил я.

— Ничего. Как бы мне узнать последние распоряжения по министерству финансов? — озабоченно спросил он.

— Это в журнале министерства. Для чего вам?

— Знаете вы формулу — нуль, деленный на нуль,

равняется единице? Ну, вот я изобрел великолепную финансовую теорию!

Оверин засмеялся, чтобы показать, что он шутит и что изобретенная им теория вовсе не великолепна.

— У нас, кажется, никто еще не писал учено-сатирических статей. Учено-юмористических — много,— сострил Оверин и опять засмеялся.— Я хочу выдумать смех в цифрах и начну, для опыта, с финансов. Я докажу, что нуль, разделенный на нуль, может равняться не единице, а нескольким миллионам. Нельзя ли достать отчет о ввозе и вывозе товаров, только самый подробный?

— Постараюсь.

Так как меня нисколько не интересовали его будущие учено-сатирические опыты, я хотел спросить Оверина о приговоре, но он не давал мне говорить, перечисляя названия нужных ему книг и ударившись в пояснения главных юмористических струй своей ученой сатиры.

— Что, вы уже приговорены? — спросил я.— Слышали вы приговор?

— Да, как же...

— Какой же?

— В каторжную работу, только не помню на пять или на пятнадцать лет,— рассеянно сказал Оверин, как о предмете для него вовсе не интересном, и задумался о чем-то, может быть соображая, какие ему нужны еще книги.

Я многого ожидал от Оверина, но такое философское презрение к своему положению могло поразить хоть кого. Он сказал про свой приговор так небрежно, как всякий другой не мог бы сказать: «Я дал нищему, не помню — пять или пятнадцать копеек».

«Ему место не в каторжной работе, а в сумасшедшем доме,— подумал я.— Это для него сделали много чести».

— Вас, кажется, нисколько не смущает приговор? — насмешливо спросил я.

— Я, может быть, убегу,— известил меня Оверин с такой легкостью, как будто его упрашивали уж бежать и он не изъявил покуда согласия, но стоит только кивнуть головой, чтобы побег совершился.

— У вас не болит иногда голова? — спросил я, желая его уколоть, но он не понял меня.

— Вы спрашиваете, точно доктор, который свидетель-

ствовал меня, не сумасшедший ли я. Никогда не болит,— с улыбкой сказал Оверин.

Судя по тому, что он не с презрением относился о своей особе и о других ничтожных вещах, которые были не за облаками, я убедился, что он находится в отличнейшем расположении духа.

— Что же, вас не признали умалишенным?

— Нет.

— Должно быть, доктор ничего не смыслил.

— Может быть,— рассеянно этвечал Оверин, решительно не понимая моих острот.

— Я не поколебался бы отправить вас в сумасшедший дом,— яснее сказал я.

— Да-а — видите... только это бесполезно! — сообразил Оверин, беспристрастно обсуждая вопрос, хорошо ли отправить в сумасшедший дом такого субъекта, как он.— Я бы оттуда убежал... Да. Я пожалуй что отчасти сумасшедший,— меня иногда, знаете, до боли беспокоят представления о бесконечно малом и бесконечно большом. Можете ли вы вообразить частичку алмазной горы, стертую мухой в то время, когда она обчищала об эту гору носик? Черт знает, иногда на целый час задумываешься над этакими глупостями! Не признак ли это сумасшествия? как вы думаете? — серьезно спросил Оверин.

— Это еще не особенно,— сказал я,— а вот это уж настоящее сумасшествие — не интересоваться тем, что ждет вас в будущем.

— Да, оно, конечно, любопытно бы знать наверное,— равнодушно проговорил Оверин.

— Как же вы не могли выслушать внимательно даже приговор, в котором вся ваша судьба.

— Черт знает, как-то так,— смущенно пробормотал Оверин, махнув рукой. Выговор на него подействовал.— Это можно все поправить,— вдруг весело догадался он:— можно написать просьбу о прочтении мне вновь...

— Дескать, занят был важными делами — позабыл о таких пустяках, как какой-нибудь десяток лет разницы в годах каторжной работы, а потому прошу уведомить меня, на пять или на пятнадцать лет ссылают меня... О чем вы тогда думали, когда вам читали?

— Они мне ужасно надоели со своими судьбищами, приговорами, допросами, я уж бросил и слушать — ду-

мал, что все пустяки,— добродушно оправдывался Оверин.

Ему было, видимо, совестно, что он не мог серьезно выслушать даже своего приговора, и он слегка покраснел.

— И зачем вы ушли тогда из города, даже не посоветовавшись ни с кем? Еще мальчиками мы были друзьями; отчего вы не хотели быть со мною откровенны? Помните, как вы мне рассказывали свою теорию мира...

— Да, ребячество. Но теперь нечего было советоваться. Я знал, что вы посоветуете мне идти как можно скорее.

— Вот уж этого я никак бы не посоветовал.

— Да! У вас — маммон! — с невыразимым презрением сказал Оверин.— Для того чтобы не остаться без пирожного, вы готовы обречь на смерть миллионы людей! Вы этой партии?

— Извините, я слишком неосторожно коснулся пункта вашего умопомешательства,— колко сказал я.

Оверин добродушно засмеялся, как человек, спохватившийся, что он не понял шутки.

— Вы делаете опыты — не сумасшедший ли я? — сказал он.— Это пустяки. Поговоримте о чем-нибудь другом. Как поживает ваша сестра?

— Сестра выходит замуж за вашего друга Малинина.

— Черт возьми, а я думал на ней жениться,— с досадой проговорил Оверин.— Там все женщины плакали, а она, как торговка, всех забросала словами. Конечно, все готовы умереть за свое убеждение, но нужно уметь умирать без слез. Ваша сестра — храбрая девушка. Нельзя ли с ней повидаться?

— Нет. И я вас попрошу ничего не писать и ничего не передавать ей с кем бы то ни было, даже не думать о ней,— серьезно сказал я.

Характер сестры мне был хорошо известен, и я с испугом гасил поскорее искру, готовую зажечь порох. Если б Лиза слышала признание Оверина, ее судьба решилась бы в одну минуту, и Малинину больше не видать бы своей невесты, как своих ушей.

Но прежде чем дать обещание не сноситься с Лизой, Оверин потребовал от меня продолжительных объяснений вроде того, почему подло отнимать у товарища не-

весту или почему не следует восторженную девушку тащить за собой на всякие беды и лишения. Наконец я решил прекратить словопрения решительным ударом.

— Согласны ли вы для счастья ваших друзей пожертвовать собой или даже не пожертвовать, а немного потесниться? — спросил я.

— Смотря по тому, в чем заключается счастье.

— В жизни. Если вы отнимете у Малинина невесту, он лишит себя жизни.

— Нет, я не хочу. Это другое дело. Я давно уж замечал, что он глуп. Да, да, действительно!

— Ну, теперь покуда — до свиданья! Я на днях принесу вам книги, какие найду.

— Вот что еще. Я забыл было. Нет ли у вас рубашки? Как-то неловко без рубашки, и вшей очень много — нельзя заснуть...

Оверин расстегнул свой кафтан и показал мне грязное тело.

— Какой же человек в здравом уме будет полчаса говорить о книгах, позабывая сказать о рубашке! — засмеялся я.— Про вас нельзя сказать, что вам своя рубашка к телу ближе.

— Сходите, пожалуйста, к попечителю, я вам сейчас напишу адрес,— сказал Оверин, улыбаясь сам своим странностям.— У него есть мои деньги. Купите мне там хоть две рубашки.

Оверин начал торопливо писать в моем бумажнике адрес, и я смотрел на него с некоторой жалостью и удивлением. Он стоял, наклонившись немного к окну, с самой девственной, непринужденной грацией дикаря. В самом деле, все движения его были естественно красивы, как движения дикого животного, не тронутого цивилизацией.

Я простился с ним, насильно навязав ему немного денег, и всю дорогу то смеялся, то глубоко задумывался, воображая моего заблудшегося товарища во всей его целости, каким он был и есть. Под конец я решил, что нет человека на свете счастливее Оверина, так как он положительно лишен способности тревожиться чем бы то ни было, кроме теоретических научных вопросов, которые для него представляются бесконечным гранпасьянсом на всю жизнь.

Прямо из острога я отправился к оверинскому попечителю. Он не знал еще, что с его питомцем уже можно

видеться, и тотчас же начал собираться к нему, как только узнал, что Оверин очень нуждается. Он был слишком богат, чтобы, по примеру других попечителей, нагревать руки около ничтожных оверинских крох.

Воротившись домой, я самым наглым образом наврал Лизе, что Оверин отзывается о всех женщинах с презрением и ненавистью, а в особенности не желает видеть ее, так что, когда я упомянул при нем ее имя, он пришел в неописанный гнев и ярость. По всему видно, что она своим посещением может его сильно обеспокоить.

— Никто и не думал его беспокоить! — с досадой сказала Лиза.

«Ну, и слава богу»,— подумал я.

Малинин, я и Новицкий начали ходить в острог довольно часто и, кажется, в самом деле сильно беспокоили Оверина, отрывая его от книг, которыми он теперь мог невозбранно наслаждаться, накинувшись на них после долгого поста с особенной жадностью.

Добродушный Малинин разрывался от жалости, глядя на своего друга, и старался облегчить его несчастия, покупая и принося ему пирожное, которое, впрочем, как и следовало ожидать, производило мало впечатления. Оверин говорил о сатирах, о нелепостях современной финансовой системы, о красноречии цифр и окончательно сокрушал своею беспечностью Малинина, не зная, имеется ли у него теплое платье для дальней дороги в Сибирь.

— Ему все нипочем,— скорбел Малинин и начинал размышлять, не следует ли сходить к оверинскому попечителю и похлопотать о человеке, для которого все нипочем.

Наконец в один прекрасный день мы прочитали в местной газете, что чрез три дня на Сенной площади будет происходить объявление конфирмации студенту Сергею Оверину, приговоренному за разные преступления к лишению всех лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке в каторжные работы в рудниках на пятнадцать лет; а на следующий за тем день на той же площади будет происходить такое же объявление барону Владимиру Шраму, приговоренному в каторжную работу на заводах на десять лет. В день выхода объявления из города увезли множество лиц прекрасного пола, высланных административным порядком

в разные дальние города. Накануне объявления приговора мы отправились было в острог, но нас почему-то не пустили к Оверину, весьма остроумно объяснив, что завтра мы можем увидаться с ним на Сенной площади. Совершение обряда долженствовало произойти рано утром, и мы не спали всю ночь, играя в преферанс, причем Лиза уже без церемонии, как будущая жена, покрикивала на Малинина, который совершенно не умел вистовать и всегда давал Новицкому лишние взятки. Часов в пять мы сели в извозчичью карету и по утреннему морозу отправились на площадь. Там уже собралось множество карет, колясок и всяких иных экипажей. Довольно большая толпа народа толкалась около позорного столба. Мы вышли из кареты, проталкиваясь сквозь кучку ломовых извозчиков, постоянно присутствующих на рынке.

— Станового зарезать хотел,— слышалось из толпы.

— И попа.

— Значит, уж против царя и бога шел...

Впрочем, разговоров было вообще мало — мешал холод. Оверина привезли очень парадно на черных высоких дрогах. На нем была шляпа-цилиндр, и он сидел очень спокойно, уткнув нос в воротник енотовой шубы. Вообще обстановка была очень театральная, начиная с дощечки, висевшей на груди преступника, до палача в красной рубахе, надетой поверх зипуна. Рота солдат с барабанщиками и множество чиновников в разнообразных мундирах. Сойдя с своего эшафота и оставшись один у позорного столба, так как палач, засуетившись, отлучился куда-то,— Оверин, не зная, что делать, с самым глупым видом начал озираться во все стороны на солдат и чиновников, образовавших около него большой круг. Церемонией медлили; кто-то пустил слух, что неосторожный палач сломал нечаянно подпиленную шпагу, назначенную для преломления над головою преступника, и вице-губернатор принужден был уступить для этой надобности свою шпагу, которая в настоящее время будто бы подпиливается у ближайшего слесаря. Эти слухи возбудили в толпе некоторую веселость, и появление палача все приветствовали громким хохотом.

— Не беги: упадешь и эту сломишь,— гаркнул какой-то ломовик, и смех усилился до того, что велели бить в барабан, что несколько успокоило толпу. Начали чи-

гать приговор, и Оверин очень покорно, по приказанию палача, снял шляпу, но пришел в большое смущение, не зная, куда ее девать: он некоторое время перекладывал ее из одной руки в другую, но потом это ему, должно быть, надоело, и он хотел уже надеть ее на голову, когда догадливый палач услужливо взял у него шляпу и поставил на приступок позорного столба. Когда чтение приговора кончилось, Оверин надел свою шляпу и, может быть, думая, что все кончено, что он, достаточно потешив публику, может с ней раскланяться, хотел, кажется, уйти с места казни, но палач остановил его на первом же шагу, грубо дернув за руку. Обряд еще не был кончен; после преломления шпаги, которое произвело большой эффект, Оверина привязали к столбу, и на площади воцарилось молчание. . . . .

Из толпы к приступку позорного столба полетел букет. . . . .

В этот же день Оверина увезли куда следует, и я его не видал больше.

На другой день у нас была малининская свадьба, которая прошла очень скромно и даже, пожалуй, печально, так как почти все наши знакомые не могли присутствовать на ней.

Дня через три, когда Малинин совершенно устроился в нашем доме и начал уже ходить на службу в губернаторскую канцелярию, я простился с опостылевшим, после всего этого погрома, городом и выехал в Петербург, снабженный самыми лестными рекомендациями к разным более или менее именитым особам.

Малинин был твердо убежден, что я сделаюсь министром, и просил не оставить его напредки своим высоким вниманием и покровительством.

X

Я СОЗДАЮ СВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Последующие за тем события так близки ко мне, что я не могу их рассказывать равнодушно и принужден быть кратким, чтобы не нарушить в рассказе беспристрастного тона, который я везде старался сохранять. Кроме того, подробности были бы даже утомительны. Тут я являюсь

человеком, уже вполне убродившимся, и вступаю в спокойную колею жизни, без тревог и случайностей.

Между разными рекомендациями я имел, между прочим, письмо к генералу Горелому, который мог быть мне очень полезен как родной брат другого Горелого, занимавшего тогда очень видный пост.

Генерал жил большим аристократом, в Морской, в собственном доме, и принял меня очень любезно, но, впрочем, как всегда бывает, не сказал мне ничего положительного. Он пригласил меня бывать у него в доме, но почему-то не представил своей дочери (генерал был вдов), которую я мельком видел в одной из богато убранных комнат, подле рояля, с каким-то гвардейцем, посмотревшим на меня очень презрительно в свою одноглазку.

Меня, очевидно, сочли заискивающим ничтожеством, и я прекратил бы навсегда это знакомство, если бы, гуляя перед обедом, не встречал генерала почти ежедневно на Невском. Впрочем, все наши отношения ограничивались взаимными поклонами.

Я поступил на службу в канцелярию одного министерства и начал правильную, регулярную, но довольно скучную жизнь образованного чиновника *из молодых*.

Прошел год; прошли два года; служба моя немного оразнообразилась, но в перспективе я все-таки не мог видеть ничего отраднее далекой смерти от маразмуса в чине действительного статского советника. Чтобы отогнать от себя бесполезные мысли о будущности, я начал больше работать и — нет сомнения — переломил бы себя, если бы не вышел один случай.

В газетах как-то начали появляться статьи об одном учреждении, подведомственном нашему министерству. Учреждение это требовало радикальных преобразований, и я написал проект. По случаю, таким же точно проектом назначено было отличиться одному маменькину сынку, очень редко являвшемуся на службу,— и мне возвратили мою работу, даже не посмотревши. Все это нисколько не опечалило бы меня, если бы я не узнал, что проект моего счастливого соперника, составленный (конечно, не им самим) по поверхностным газетным статьям, принесет многим очень значительный вред. Мысль моего труда меня очень увлекала, и я отправился с объяснением к своему конкуренту.

— Я, ей-богу, знаете, и не читал, что там такое написано,— простодушно сказал он, узнав, в чем дело.

Я предложил ему, для поправления зла, представить мой проект, и он тотчас же согласился, решительно не понимая, из-за чего я хлопочу.

— Вы там место хотите получить? да? — спрашивал он, почему-то чувствуя некоторую неловкость.

— Нет,— сказал я,— мне просто хочется видеть осуществление мысли, которую я считаю полезной.

— Ха, ха, ха! вы — чудак! ей-богу, чудак!

Он замахал руками от восторга, но тотчас же успокоился, когда заметил, что я сохраняю серьезный вид. Мне не понравилась его фамильярность.

— Мы будем с вами знакомы? пожалуйста! — упрашивал он через секунду, с живостью протягивая мне обе руки.— Я люблю таких людей.

— То есть каких? — с улыбкой спросил я.

— Таких... как бы вам сказать? Ну, да черт их... извините! бог их знает. Вообще чудаков. Да? Мы будем знакомы? Я к вам заеду. Можно?

— Сделайте милость.

Стерн (это была его фамилия) действительно очень часто начал ездить ко мне, являясь всегда на минуту,— иногда даже исключительно за тем только, чтобы поздороваться и проститься. Впрочем, его краткосрочные визиты не помешали ему в короткое время выболтать о себе всю подноготную. Он был беспримерно откровенен, и я в самом начале знакомства подробно узнал, как он выманивает у матери деньги, как надувает купцов, как имеет непозволительные отношения с разными молодыми людьми и проч. и проч.

— Ведь это мерзко и подло,— с улыбкой говорил я ему.

Он был так мил, что с ним не нужно было даже церемониться.

— Вот подите! Ха, ха, ха,— вы, ей-богу, чудак! — восторгался он и хохотал, как сумасшедший.

Стерн воспитывался в Училище правоведения и в первое свидание наивно выложил мне свою ученость, заключавшуюся в двадцати латинских названиях, хохотал до слез, изумляясь, как я могу читать до сих пор книги, которые, по его мнению, годны только в детстве, да и то очень надоедают.

— Иногда мне, знаете ли, приходит в голову чему-нибудь поучиться,— говорил он, наморщивая брови, чтобы изобразить серьезную физиономию,— но как-то, черт знает... все пустяки! «Прощай, Москва — золотые маковки»! До свидания!

Вообще это было невинное и совершенно невоспитанное чадо.

Раз, когда я брился, только что встав с постели, Стерн, явившийся ко мне спозаранку, напевая и насвистывая что-то, вдруг остановился.

— Черт знает, зачем я живу? Небо копчу! — решил он, схватил у меня из ящика бритву, раскрыл ее и нанес себе довольно серьезную рану на шее. Но, увидав кровь, Стерн начал так отчаянно кричать, что очень перепугал и меня.

Эта шутка уложила его на целый месяц в постель.

— Бить бы надо такое животное, как я,— объявил он мне вскоре после выздоровления.— Отчего вы не отдуете меня когда-нибудь? Черт знает, что такое! Славное выражение: «Городничий нипочем, коли будочник знаком». Отчего вы ни с одной женщиной не знакомы? а? отчего?

— Не хочу.

— Устроимте афинский вечер. Ха, ха, ха!

Объяснение на этом и кончалось: свистом, пеньем и кривляньями.

Раз зимой, возвращаясь откуда-то поздно вечером, мне захотелось съесть чего-нибудь соленого, и я зашел в фруктовую лавку. Задняя комната была занята; оттуда слышался громкий говор и веселый смех. Я сел в передней, не совсем довольный этим шумным соседом.

До меня долетали отрывочные русские и французские фразы, из которых я понял, что тут присутствуют дамы очень легкого поведения, хотя их называли самыми аристократическими фамилиями, часто с прибавкой *княжна* или *графиня*. Но больше всего меня удивляло то, что не было слышно ни одного женского голоса и княжны ругались очень густым басом. Среди шума я разобрал и крикливый голос Стерна.

Я хотел уже уйти, чтобы не попасться ему на глаза, но в это время кто-то сказал, что рюмками можно только полоскать рот. Стерн с хохотом закричал, что он хочет полоскать душу стаканами и, выйдя с приказанием относительно стаканов, увидал меня.

Несмотря на отчаянное сопротивление, пришлось отправиться в полупьяную компанию и выпить там бокал шампанского. Тут был гвардеец, которого я видел у Горелых, был юнкер Горелый (сын генерала), еще один юнкер, два правоведа (воспитанники) и трое статских — все сливки нашей молодежи лучшего круга. Я перезнакомился со всеми, но сидеть с ними, несмотря на их добродушие и любезность, не мог долго и ушел, как только явились тройки, которых они тут дожидались, чтобы ехать куда-то за город.

Сверх всякого ожидания, наше знакомство на этом не остановилось, и почти все молодые люди начали бывать у меня, занимая по временам деньги, само собой разумеется, без отдачи. В особенности, очень часто стал навещать меня от нечего делать гвардеец, виденный мной у Горелых. Его звали фон Крон, и он был такой же добродушный малый, как Стерн.

Я в то время очень серьезно работал над обширной запиской о преобразовании административного управления одного *края* и часто без церемоний гнал от себя моих новых друзей, извиняясь, что мне некогда болтать о всяких пустяках.

Труд был очень серьезный.

Проработав над своей запиской с полгода, я наконец ее окончил и вместе с печальным чувством расставания с любимой работой испытывал некоторую досаду, соображая, что, по всей вероятности, судьба этой записки будет мало отличаться от судьбы моего первого проекта, осуществившегося только благодаря сговорчивости Стерна. Между тем я вполне понимал, что при маленькой протекции моя записка могла бы составить мне блистательную карьеру. Я подумал о Стерне, но он получил назначение куда-то в провинцию, и нельзя было рассчитывать на его помощь, если б даже он и мог сделать что-нибудь для меня. Через несколько дней случай выручил меня из затруднения.

Ко мне явился по обыкновению блестящий и веселый фон Крон и начал болтать о всяких пустяках. Скоро речь как-то незаметно перешла к тому, что он теперь крайне нуждается в трехстах рублях.

— Представьте,— говорил он,— в одном из моих бесчисленных имений (тут была острота: у фон Крона не было никакого имения) случился мор. Мрут люди, как

мошки, и ничего поделать нельзя, да и понятно: в главной администрации нет никаких медицинских средств. Управляющий с отчаянием извещает меня, чтобы я озаботился присылкой разных медикаментов, и я с его письмом отправляюсь в аптекарский магазин. Там под вексель — чего вернее обеспечение! — отпускают мне всяких медикаментов на восемьсот рублей. Я, конечно, отправляюсь и сбываю всю мою аптеку за триста. Теперь мне недостает трехсот рублей, чтобы сделаться заводчиком. Честное слово, покупаю мыловаренный завод — нужно только внести шестьсот рублей задатку. Но завтра же его можно заложить за три тысячи! Я уверен, что вы мне поможете. Решительно не к кому обратиться.

— Управляющий может известить вас, что медикаменты были плохи, мор усилился и требуется тысяча гробов. Гробы можно сбыть не хуже медикаментов,— посоветовал я.

Фон Крон нашел эту мысль очень остроумной и, потирая руки от восторга, клялся, что он был несправедлив к гробовщикам и, забирая в кредит всякие товары, ни разу не просил в долг гробов и похоронных принадлежностей.

— Это так ново, что они рады будут открыть какой угодно кредит! — говорил он.— Но, в ожидании будущих благ, вы поможете? Завтра же устроим купчую крепость, а послезавтра я закладываю завод за три тысячи и с благодарностью возвращаю вам мой долг. Поможете? да?

Он мне был уж порядочно должен, и на этот раз я решительно отказался исполнить его просьбу.

— Поймите! Обстоятельства скоро переменятся,— говорил он.— Я войду в зенит. Женюсь.

Фон Крон с комически отчаянным жестом выдернул бумажник и торопливо начал в нем рыться.

— Вот! — торжественно вскричал он, протягивая мне листок почтовой бумаги.— Читайте.

Я посмотрел. M-lle Горелая (женского пола) извещала фон Крона, что лекарь ее обманул и она напрасно мучилась рвотой: беременность скоро может обнаружиться. Она умоляла его спешить.

— Старик *ломался,* но когда узнает, что она беременна... будет *кривляться!* Ха, ха, ха!

— Знаете, продайте мне это письмо,— серьезно предложил я.

— Фи! За кого вы меня принимаете! — пошутил фон Крон, не придавая моим словам никакого значения.

— Нет, серьезно. Я дам за него триста рублей...

— Да для чего же вам оно?

— Это слишком долго объяснять. Представьте, что вы потеряли это письмо, а я нашел...

— Вы потеряли триста рублей, я нашел. Представляю. Давайте триста рублей. Tout est perdu fors l'honneur![1],— трагически крикнул фон Крон.— Для чего же вам его?

— Я припугну генерала, он представит меня брату, а тот мне поможет кой в чем.

— Отлично. Это ускорит целым месяцем мою свадьбу. Вы решительно бриллиантовый человек в золотой оправе. Но, до свиданья! Спешу обзавестись заводом... Там есть такие большие трубы, что не мудрено, если теперешний хозяин вылетит в трубу...

Но радость фон Крона относительно того, что я могу ускорить его свадьбу, была преждевременной. Дело устроилось так, что он навсегда потерял невесту.

Хотя старик Горелый был настолько сообразителен, что сразу понял, что дело о вытравлении плода, несмотря на его связи, замять невозможно, но за всем тем сказал, что не согласен представить меня брату.

— Значит, больше нам нечего объясняться? — вставая сказал я.

— Напротив, нужно, нужно объясниться! — с испугом вскричал старик, хватая меня за руку, как будто я хотел у него ускользнуть.

Я сел.

— Я эти вещи знаю,— печально сказал он.— Временно поправлять беду не стоит. Через месяц, через год — удар все будет не легче...

— Что же вы хотите? — холодно спросил я, чтобы уничтожить всякое намерение разыгрывать чувствительные сцены.

— Я вас не представлю иначе, как ее женихом или даже мужем,— проговорил старик, опуская руки.

— Но фон Крон...

— Э-э! — презрительно протянул старик.— У этого —

---

[1] Все потеряно, кроме чести! *(франц.)*.

ни тут, ни тут, ни в голове, ни за пазухой. Этаких много... Согласны вы?

— Пожалуй.

Старик представил меня невесте, и через месяц, когда мы венчались, я уже был членом особой комиссии, назначенной для рассмотрения моего предложения. В каких-нибудь четыре недели я двинулся настолько вперед, насколько не подвинулся бы при других обстоятельствах в четыре года.

Вскоре после свадьбы мой тесть скончался и не оставил детям ничего, кроме долгов. Я купил с аукциона его дом, продававшийся за долги, и переехал в великолепную генеральскую квартиру. Относительно жены я поставил себя с первого дня так, что у нас царствовало полное спокойствие, которое нарушал ее братец. Этот юноша, оставшись без отцовской помощи, сел на мою шею и вздумал было заставить меня платить свои долги. Но я вовсе не боялся скандалов и раз навсегда прекратил ему всякие денежные пособия с своей стороны. Он вышел из полка и поступил на содержание к какой-то старой развратнице. Кончилось тем, что он украл у меня как-то столовое серебро и заложил его в ближайшей ссудной кассе. Тут разыгралась очень неприятная сцена, так как я послал за полицией и попросил составить протокол о краже. Жена упала сначала в обморок, но скоро очувствовалась, назвала меня тираном и объявила, что соберет семейный совет и о всех бесчеловечиях узнает дядюшка. Но дядюшка в это время был уже мне не страшен — я сам мог повредить ему, так как меня считали за необыкновенно умного и дельного человека такие люди, которые никого не боятся.

Шурина арестовали, а через несколько дней я проводил жену за границу, где легче было скрыть ей свой стыд.

Я остался один в большой великолепной квартире и начал работать без отдыха. Я значил уже нечто в государственной машине, а при сознании важности своей работы очень приятно работать. У меня недоставало даже времени отвечать сестре на ее многочисленные письма.

Сначала Лиза писала мне все об Анниньке, которая ударилась во все тяжкие и занимала сестру, как больная. Но все лекарства, как и следовало ожидать, не про-

извели желаемого действия; Аннинька умерла для нас навсегда, замотавшись окончательно и поступив в публичный дом После Анниньки Лиза была занята своим ребенком и писала мне о воспитании детей. Вслед за воспитанием детей явился новый больной — Новицкий.

Его надежды на отъезд за границу рушились, и он, потеряв надежду сделаться ученым, должен был поступить в губернаторскую канцелярию, под начальство Малинина. Это, кажется, его очень обескуражило. Он начал приходить на службу пьяненьким и даже изобижать невинного Малинина. Так, например, однажды Новицкий озаглавил какую-то бумагу вместо *уведомления отношением.* Малинин, конечно, не потерпел такого существенного беспорядка и заметил ему всю несообразность *отношения,* на что Новицкий, будучи пьян, дерзко ответил, что *отношение* правильно, так как «бумага-де идет *от нас*». «Вообще он за что-то все сердится на Мишу,— писала сестра,— и даже перестал к нам ходить. Редко бывает в канцелярии,— сильно начал пить. Очень понятно, это мне крайне неприятно. Нынче как-то он зашел к нам утром, и я оставила его обедать. За обедом он выпил залпом целый чайный стакан водки и начал так смеяться над Мишей, что я чуть с ним не поссорилась».

Наконец Новицкому, вероятно, надоело служить в канцелярии, и он уехал в Петербург.

Когда сестра лишилась, таким образом, и второго пациента, а ребенок подрос, у Малинина, вероятно не без участия Лизы, начались несогласия с губернатором.

Распечатав случайно одно ее письмо, завалявшееся у меня на столе с неделю, я с удивлением прочитал, что она велела мужу подать в отставку и они переселяются в Петербург. Азартный тон письма с ходячими либеральными восклицаниями мне очень не понравился — в нем как будто говорилось: «Посмотри, какая я замечательная женщина и какие подвиги совершаю».

— Господин Малинин! — доложил мне лакей, в то время когда я скомкал письмо и бросил в корзинку.

— Пусть подождет.

Хорошо ли я слышал фамилию? К стыду моему, я должен сознаться, что не только слышал, но даже чувствовал приятное щекотание самолюбия, заставляя своего бывшего товарища дожидаться в приемной. Но я не знал, что он явился вместе с женой.

Когда я вышел, началась буря.

Кроткий Малинин подошел было ко мне с протянутой рукой, но сестра ударила его зонтиком по руке и крикнула: «Мерзавцам не подают руку!»

— Вы сказали подождать, и мы дождались, чтобы объяснить *вам,* что не пришли искать *вашего* покровительства,— раскланиваясь, с злой иронией сказала сестра.

Я не знал, что ответить, и смотрел на ее энергические движения. Она, казалось, немного выросла и очень похорошела, а у Малинина отросло даже маленькое брюшко.

— *Вы* — знатный барин. Поздравляем вас, но кланяться вам не будем! — кричала она.

— Извините,— забормотал было Малинин.

— Молчи, пожалуйста. Мы в нем не нуждаемся. Я пойду в кухарки, буду содержать тебя, если нужно, но мы не будем ему кланяться...

— Сударыня,— сказал я,— я не позволю никому кричать у себя в доме.

— Мы сейчас уйдем.

Лиза сердито повернулась и пошла в переднюю.

— Подай барыне платье,— сказал я лакею.

У Лизы на глазах блестели слезы, и она ломала пальцы, торопясь надеть резиновые галоши. Малинин не знал, что ему делать, и стоял дурак дураком. Мне стало жаль их, но я возвратился в кабинет и начал ходить из угла в угол.

До сих пор я всегда подавлял в себе чувствительность, но теперь мне хотелось вызвать и расшевелить ее. Я был бы очень доволен собой, если б почувствовал расположение заплакать по поводу ссоры с сестрой. Употребляя фигурное выражение, я, так сказать, заморозил все цветы в своем сердце, и мне хотелось теперь отогреть и сохранить последний — мою привязанность к сестре.

Я вспомнил, что в письме она извещала меня, что поручает Савельеву (мы продали остаток земли в Негоревке, и Савушка жил у меня в Петербурге за управляющего домом) нанять для себя квартиру. Я послал за ним и, как только узнал адрес, отправился к Малинину.

Мне отворила дверь сама Лиза и, как бы чего-то испугавшись, остановилась на месте, не пропуская меня в переднюю. Глаза ее были красны от слез, и когда я по-

целовал у ней руку, она так обрадовалась, что кинулась мне на шею и, не выходя из передней, начала звать мужа.

— Я знал, что вы великодушны,— сияя улыбкой, сказал Малинин.

— Говори мне, пожалуйста, *ты*. Я нисколько не переменился.

— Ах, если б ты в самом деле не переменился! — сказала Лиза.

По лицу ее текли слезы, но она их не замечала.

— Покажи же мне племянника,— сказал я, чтобы занять ее чем-нибудь.

Я вообще не люблю очень маленьких детей, но у Лизы был такой хорошенький ребенок, что я поласкал его без всякого притворства.

— Где же твоя жена? — спросила меня Лиза.

— Она больна. За границей. Извини — я долго не читал твоего последнего письма, а то вам не пришлось бы нанимать этой квартиры. Бросьте ее и переезжайте ко мне.

— Ну, нет,— сказала Лиза.

— Отчего же?

— Нет, об этом не стоит и говорить.

Лиза пристально всматривалась в меня.

— А ты сильно, сильно изменился! — грустно сказала она.

Я хотел было ей возражать, но в это время явился Савельев. Он пришел навестить Малинина и захватил с собой какую-то дрянную городскую телеграмму, полученную без меня.

— Вот-с, ваше превосходительство, телеграмма,— сказал он, вытягиваясь в дверях.

Титул превосходительства в настоящее время был так неуместен (не по тому одному, что я находился только в чине статского советника), что я вышел из себя.

— Убирайтесь к черту с вашим превосходительством! — крикнул я на Савушку так, что он согнулся в дугу.

— Видишь, видишь! — сказала Лиза, с грустью качая головой.

Не знаю, в чем я именно изменился, но Лиза, несмотря на мои ласки, не перестала как-то дичиться меня, и мало-помалу между нами установились холодные от-

ношения, да и те поддерживаются теперь только письмами Андрея. Брат как-то написал мне, что хочет воротиться в Россию, и я имел неосторожность спросить — на á la ли K* и D*[1] хочет он воротиться. Этот невинный вопрос послужил поводом к целому граду ругательств, которые Андрей высылает из Женевы, по мере накопления, на имя сестры.

Даже Малинин, кропотливо занятый службой, как будто поохладел ко мне...

P. S. Мне остается сказать несколько слов о несчастном Новицком.

Несколько месяцев назад я встретил на улице Крестоцветова, который так расцвел, что его и узнать нельзя. Оказалось, что он заправляет делами какого-то товарищества, и заправляет, должно быть, не без пользы, судя по великолепной шубе и дорогим перстням, красовавшимся на его пальцах.

Крестоцветов сообщил мне, что Новицкий в Петербурге.

— Странно, отчего же он не зашел ко мне? — спросил я.

— Заходил, да не пустили, а теперь и сам не пойдет, я думаю.

— Я не виноват... Как он поживает? Нельзя ли с ним повидаться?

— Не стоит: пьет горькую чашу.

— Как это — чашу?

— То есть, собственно, я не знаю — чем он пьет: чашами, рюмками или стаканами, а только я его всегда вижу пьяным. Оборвался, как блудный сын... Ходит, должно быть, из кабака в кабак да строчит, каналья, кляузы.

— Это удивительно! Неужели он не может как-нибудь устроиться? — действительно с некоторым удивлением спросил я.

— Не может. Идеалист. Все принимает уж очень близко к сердцу. Вот к вам его не пустили по простой

---

[1] Вероятно, имеются в виду В. Кельсиев (1835—1872) и С. Джунковский (1820—1870), Кельсиев, близкий одно время революционной эмиграции, в 1867 году вернулся в Россию, отрекшись от своих взглядов и рассказав об этом в «Исповеди»; Джунковский, отказавшись от православия, принял в Риме католичество и вступил в орден иезуитов; в 1866 году после покаяния вернулся в Россию.

случайности, а он рассердился на весь род человеческий и пьянствовал две недели...

— И теперь пьет?

— И теперь пьет: чувствительный человек...

Признаться сказать, Крестоцветову я не вполне верил: для красного словца он мог не только преувеличить и приукрасить что угодно, а и целиком соврать; поэтому его рассказ о Новицком не произвел на меня особого впечатления. Но не так давно я уверился, что Крестоцветов не совсем врал.

Как-то мой швейцар с сердечным сокрушением донес мне, что Савелий Савельевич (он же и Савушка), управляющий моим домом, ведет себя крайне неприлично, до того неприлично, что у него в квартире собирается даже какая-то пьяная беспаспортная «банда», которая своими песнями и криками не дает жильцам никакого покоя.

Я сказал, что если подобная «банда» (буде она действительно собирается) соберется, нужно послать за полицией, и тогда все будет хорошо. Швейцар исполнил в точности мое приказание.

Как-то раз Савельев вбежал ко мне бледный и расстроенный, без доклада.

— Ведь он ваш товарищ! товарищ! — прохрипел он.

— Чего? — строго спросил я, с удивлением глядя на Савельева, который совершенно вышел из своего нормально-почтительного тона, которым всегда говорил со мной.

— Новицкого в часть?! — прохрипел Савельев чуть ли не с угрозой.

— Какого Новицкого? — брезгливо спросил я.

— Вы забыли — какого? Вы все забыли! Подлый вы человек...

— Вон отсюда!

Я позвонил и оборотился на кресле к столу. Савельев, разгоряченный до того, что его можно было принять за сумасшедшего, начал выкрикивать мне, что я и все и все виноваты в пьянстве Новицкого, что он, Новицкий, честнее меня и что он сам, Савельев, по этому случаю пойдет таскать кули, не желая иметь никаких сношений с такими людьми, как я, и проч. и проч.

— Выведите его. Он пьян, — сказал я, когда пришел лакей.

— Я не пьян! Врешь! Отправь меня в часть вместе

с Новицким! — совершенно задыхаясь в борьбе с лакеем, проговорил Савельев.

— Позовите полицию и отправьте его,— холодно сказал я.

— Подлец! — заорал он и с этим словом был вытолкнут лакеем из комнаты.

Не знаю, как назвать то чувство, с которым я смотрел в окно на парадное шествие из ворот моего дома... Городовой с дворником вели под руки оборванного, пьяного Новицкого; впереди шел Савельев, размахивая руками и, очевидно, ругаясь...

Господи! когда-то эти были моими товарищами! когда-то мы все были равны!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Библиотека сибирского романа

Том 3

Иван Афанасьевич Кущевский

НИКОЛАЙ НЕГОРЕВ, ИЛИ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РОССИЯНИН

Редактор *Д. Г. Селькина*
Художник *В. И. Кондрашкин*
Художественный редактор *В. П. Минко*
Технический редактор *О. М. Кухно*
Корректор *В. К. Кречетникова.*

Сдано в набор 1 июня 1959 г. Подписано к печати 9 июля 1959 г. Формат 84×108/32—5,5 бум. л., 18,04 печ. л., 19,32 изд. л. Тираж 75000. МН 00216.

Новосибирское книжное издательство, Красный проспект, 18. Заказ № 94.
Типография № 1 Полиграфиздата. Новосибирск, Красный проспект, 20.

Цена 12 руб.

